

Владимир Крайнев

**ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ  
РОССИИ**

Санкт-Петербург

2021 г.

**Крайнев В. В.**

Великие писатели России / Крайнев В. В., –

Санкт-Петербург. – ООО «ГАЛАНИКА», 2021. – 254 с.

**ISBN 978-5-6046542-0-0**

© Крайнев В. В., 2021

## ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ РОССИИ

---

### Глава: Одесситы и одноклассники-однолетки...

#### Предисловие

Когда я взялся писать этот роман, то моя жена Нина спросила меня:

– Володя, зачем тебе нужно ворошить прошлое? Ведь все твои персонажи – классики, и они известны если и не всему миру, то славянскому известны точно.

– Ниночка, – ответил я, – мне пришлось коснуться дел давно прошедших дней, преданьям старины далекой. Взять хотя бы Корнея Чуковского и Бориса Житкова, то они познакомились не в двадцатом, а в девятнадцатом веке. И были они одногодками и одноклассниками в Одесской второй гимназии. Ты же знаешь и помнишь об этом?

Нина усмехнулась и ответила:

– Мне, как учительнице русского языка и литературы эти замечательные люди знакомы. Но ты же прекрасно понимаешь, что у нас на дворе сейчас не 19, и не 20 век, а уже 21. Новые поколения давно мыслят по-другому и действуют не так как мы.

Она хотела продолжить свои доводы, но я перебил ее:

– Все это так, но ведь школьники и в 19 веке, и 21 веке ведут себя также шаловливо и энергично, как ребяташки в 19 и 20 веке, так и 21 веке, сегодняшним.

И Нина, кивнув головой, согласилась со мной и заговорила на другой «волне»:

– Да и Борис, и Корней принадлежали к той компании, к ватаге мальчишек, которая бурлила на задних скамейках, и называ-

лась «камчаткой». Только Борис Житков, в отличие от Корнея Чуковского вел себя надменно.

– А почему Борис Житков вел себя так? – спросил я, а Нина тут же ответила.

– Он был молчаливым и неподвижным, словно отгородился стеной от всех других надменных одноклассников. Ведь у Бориса были все дяди, до одного – адмиралы. Да и сам Житков жил в порту над самым морем среди кораблей и матросов и разрезал волны бухты на собственной лодке под парусом.

Я подхватил хвалебную речь Нины и добавил:

– О, это еще не полный список вещей Бориса Житкова. У него был телескоп на треноге для ночного сеанса изучения звезд и чугунные шары для гимнастики и хорошо отдрессированный пес, который при слове «фас» может броситься на обидчика хозяина. Кроме того, Борис играл на собственной скрипке.

А вот тут-то Нина и утерла мне нос, добавив еще одну пикантную деталь:

– Корнею как-то удалось увидеть не только дрессированного пса, а очень и очень лохматого, который нес в зубах зачехленную скрипку. И Чуковского шокировало, когда Житков наклонился к псу и что-то негромко ему сказал, словно по секрету. Пес помчался стрелой, без оглядки, по Пушкинской в гавани к своим кораблям и матросам.

И мне пришлось только развести руками:

– Может быть, Нина, потому что у Чуковского не было ни дяди адмирала, ни лодки, ни ученого пса его и тянуло к Борису Житкову магнитом?

– Ты прав, – кивнула головой Нина – но неожиданно Корнея и Бориса сблизило одно неожиданное обстоятельство.

– Какое? – коротко спросил я, а Нина быстро ответила мне:

– Однажды директор гимназии Андрей Васильевич Юнгмейстер, учитель русского языка, как и я, повел речь на уроке об устаревших словах, в том числе и о слове «отнюдь», которое вот-вот должно было скоро сгинуть.

– Да разве может слово сгинуть? – удивился я – чем больше словарный запас, тем богаче любой язык. И слово «отнюдь» не может покоробить слух любого русскоговорящего человека.

А Нина, с усмешкой, ответила мне:



– Отнюдь! – когда любое слово очень часто употребляется, то оно становится горче редьки. Вот тогда-то я и вспомнила, как решили поиздеваться над учителем русского языка и литературы школяры с «Камчатки».

– И что же они задумали? – спросил я, а Нина продолжила развивать свою тему:

– Юнгмейстер спрашивает: «Какое единственное число в слове «ножницы», а ему школьники «камчадалы» хором отвечают: «Отнюдь!»

– А что же учитель? – спрашиваю я, а Нина продолжает:

– Учитель словно не слышит розыгрыша школьников и задает новые и новые вопросы: «А склоняются ли слова «пальто» или «кофе»? А в ответ он слышит опять: «Отнюдь!»

– Так зачем же так озорничали ученики? – спросил я Нину, а она сразу же ответила мне:

– Тут не было ни озорства, ни дерзости. Просто ребята захотели спасти приговоренное к смерти такое слово, как «отнюдь».

– Да здравствует не исчезнувшее слово «отнюдь» – воскликнул я. – Но и мне помнится, как Юнгмейстер увидел злонамеренный заговор школьников, главным заговорщиком и бунтарем он увидел Корнея. Ведь именно Чуковский кричал слово «отнюдь» громче всех. Поэтому Андрей Васильевич пригласил его в кабинет и спросил, когда же прекратится этот «бессмысленный бунт».

Тут уж я вклинился в наш разговор с Ниной и сказал свое слово:

– Именно в это время Корней машинально произнес крамольное слово «Отнюдь». А взбешенный и разъяренный учитель стал угрожать такими жестокими карами и оставил на два часа в классе без обеда. И пришлось ему, голодному и сердитому, отсидеть на подоконнике в классе.

– Зато Чуковский – подключилась к разговору Нина – пошел понуро домой, понимая, что эта история может выйти и боком и его матери. И носом в нос столкнулся с Борисом Житковым. Но Борис не выразил никакого сочувствия или одобрения, а пошел рядом с Корнеем. Зато Чуковский понял, что они уже не чужие люди.

И вдруг Бориса Житкова прорвало – сказал я. – Он засыпал Корнея вопросами: «Умеешь грести? Править рулем?» «Не умею – ответил Корней, а услышав от Бориса: «Гербарий собираешь»,

Чуковский честно признался: «Да я такое слово никогда не слышал».

– Да, – продолжила Нина – не знал тогда Корней Чуковский и направление ветров. А для Корнея названия их: «Норд, вест, ост» были пустым звуком, как, например, скороговорка: «Тара-ра-ра-ра-ра...» И Корней уже подумал, что Борис тут же отвернется от такого невежды и тут же уйдет от Чуковского. Но Боря только свистнул и продолжал шагать рядом, не задавая больше вопросов.

– Мне ничего не оставалось делать как произнести какую-то абракадабру «Тары-бары, растабары – к нам приехали татары» – подумал я, а Нине сказал:

– На следующий день, Ниночка, Борис Житков пригласил утречком к себе Корнея и, достав французский астрономический атлас стал показывать на истрепанных страницах всевозможные звезды, созвездия, туманность. Домой Борис проводил Корнея. И Чуковский, взглянув на своего товарища, увидел, что рядом с ним шагает невысокого роста и узкоплечий паренек. Но вскоре он убедился, что он очень сильный и мускулы его железные. Да и шел Житков по-военному – грудью вперед. И вообще в его выправке было что-то военное, армейское. Да и характер у Бориса был властный, деспотичный. Но инициативный Житков по природе был педагогом. В его голове вмещалось столько знаний, и он жаждал учить, объяснять и растолковывать друзьям для него простые истины. В тринадцать лет многие ребяташки называли его Борисом Степановичем.

– Вот это да! – воскликнула Нина. – Но и у меня в запасе есть информация, но уже о Чуковском.

– Какая? – откликнулся я, а Нина ответила:

– Намазано – сухая! Настоящая-то фамилия у Чуковского – Корнейчук. Вот так из этой фамилии родился новый индивидуум: Корней Чуковский.

Пришла моя очередь удивляться Нининой эрудиции. Но она продолжила рассказ о дружбе Бориса и Корнея:

– Вскоре Корней настолько освоился обращаться с лодкой, что Житков вышел из гавани с ним в открытое море. На морском просторе Борис Житков преобразился. Он сказал Корнею: «Я восхищен стихами Пушкина о морской глади, которую «измял с налета вихрь черный». Подумай только, как можно сказать о воде, что она

измята, как бумага, как тряпка! А какой шикарный эпитет: «Черный вихрь!» И это чудное слово «с налета!»

Мне только осталось сказать Нине:

– Не зря же ты, Ниночка, была учительницей русского языка и литературы. Ты о разговоре друзей рассказываешь как будто разбираешь только прочитанный отрывок из романа, который должны были разобрать по косточкам твоими старшекласниками. Но я тебе хочу рассказать об аварии, которая случилась с Борисом и Корнеем на море.

– Расскажи! – коротко ответила Нина и я стал говорить:

– Вечером, когда мореплаватели возвращались домой, морскую гладь как раз и «измял с налета вихрь черный». Сильный ветер погнал лодку на волнорез. Разгулявшиеся волны как бы задались целью швырнуть со всего размаха лодку о гранитный волнорез и разбить суденышко в щепки. И вдруг Корней почувствовал, что Бориса у него нет за спиной. Наверное, утонул...

– Неужели Житков утонул? – машинально спросила Нина, а я ответил:

– Оказывается в тот миг, когда лодку подняло на волне Житков выпрыгнул из нее на мель и оттуда закричал Чуковскому: «Конец!»

– Неужели Борис в такой сложный момент решил поугадать неопытного моряка Корнея? – спросила Нина и я ответил:

– Конец, на морском жаргоне, канат. И Житков требовал от Корнея бросить ему конец веревки, которая была свернута в кольцо. Но Чуковский понял это слово в буквальном смысле и завопил от смертной тоски.

– Да, ситуация безрадостная – вздохнула грустно Нина. – И как же им удалось спастись?

– Им помог сторож – ответил я. – Он, увидав катастрофическую ситуацию, поспешил на помощь мореходам, заорав матерными ругательствами, которые заглушили даже рев бури. Он швырнул конец веревки Корнею и вместе с Борисом вытащил лодку на берег. Он отвёл их к себе на маяк.

– И что же получили по заслугам наши мореплаватели от сторожа маяка? – спросила меня Нина, а мне пришлось рассказать ей про «свирепного» сторожа.

– Он налил друзьям по рюмочке перцовки. Приказал снять с себя мокрую одежду, выжать ее, повесить сушиться, а самих

мальчишек заставил бегать вокруг маяка, чтобы согреться. Затем уложил на кровать в своей каморке и укрыл их одеялом. Вот тебе и матершинник. Добрый и отзывчивый человек.

– Вскоре на дружбу Житкова и Чуковского отозвались и родители Бориса – сказала Нина. – радушие семьи изумляло Корнея. В первый же день, когда он зашел в дом Житковых, Чуковский случайно признался, что никогда не читал «Дон Кихота». И отец Житкова вынес для Корнея издание Сервантеса с рисунками Гюстава Доре и сердито потребовал: «Возьми книгу домой и прочитай ее не как-нибудь, а серьезно и вдумчиво». Но ты скажи мне, Володя, в каком году родились Житков и Чуковский? У тебя же хорошая память на цифры.

– Они и Борис, и Корней родились в 1882 году – ответил я. – А в 1897, когда им исполнилось по 15 лет, Житков пришел к другу и шепотом, как заговорщик, предложил пойти с ним из Одессы в Киев... пешочком. Друзья наскребли по карманам и Корней положил на «алтарь Отечества» три рубля, а Борис рублей семь или восемь.

– Вот ведь какие авантюристы! – то ли восхищенно, то ли предосудительно сказала Нина, а я, пожав плечами, сказал ей:

– Нет, нет, Ниночка, Житков никогда не был авантюристом – ответил я. – Борис был расчетлив и педантичен. Он составил договор между ними: «Не расходиться по дороге ни в каком случае, делить всю еду поровну и так далее...» Но один пункт стал роковым для Корнея. Житков потребовал, чтобы друг подчинялся ему, как командиру. И Чуковский подписал охотно эту бумагу не предчувствуя, как чревато он поступает.

– И что же с ними произошло? – спросила Нина.

– Сначала их донимала жара и Корнея мучила жажда. Но из бутылки с водой нельзя было сделать ни глотка. Потом легли на траву отдохнуть и грянул гром и полил дождь. Пришлось Корнею по приказу Житкова снять ботинки и навесить их на палку и шагать босиком. Ботинки от дождя разбухли, а потом на жарком солнце скукожились и надеть на ногу было их трудно. Но Борис предложил другу: «закалять свою волю».

– И долго они закалили свою волю? – спросила Нина и, усмехнувшись, добавила:

– Я помню, чем закончился поход на Киев друзей. Корней так устал, что, нарушив график движения, улегся отдыхать в придорож-

ной канаве. Житков же убийственно спокойным голосом предложил другу продолжить движение и если он не выполнит его приказ, то он применит пункт договора, и их дружба должна прекратиться. Корней молчал, а Житков молча повернулся на каблуках и пошел вперед вдоль телеграфных столбов. Чуковский пошел вслед за своим другом и увидел на одном телеграфном столбе табличку, прилепленную воском от свечки: «Больше мы с вами не знакомы». А ниже Борис оставил адрес своей сестры Веры Степановны Арнольд, проживавшей в Херсоне. Вот такой он был педант.

– Интересно! – сказал я. – Но знаешь ли ты, Нина, что сестра Бориса Житкова в том далеком 1915 году была разъездным агентом ЦК РСДРП(96)? То-то. И выполняла Вера задание Владимира Ильича Ленина по восстановлению разрушенных связей периферийных большевистских организаций. Когда Корней зашел к сестре Бориса, то в дверях появился и ее брат, усталый и запыленный. И как ни в чем не бывало спокойно заговорил с Корнеем дружелюбно, без обиды. И вскоре они пошли на чердак – спать. Но, когда они очутились одни, как Борис Житков, к ужасу Корнея, сказал: «Я разговариваю с вами только там, на публике, а с вами мы незнакомы». Вот так и закончилась их дружба.

Нина, дослушав мой рассказ, рассказала мне еще одну историю про такую необычную дружбу Житкова и Чуковского:

– Нельзя сказать, что их отношения оборвались. Они остались знакомыми. Житков прятал у себя в погребе в 1903-1904 годах агитационные листки, отпечатанные на гектографе. И постепенно они стали опять сближаться. А Борис дружил не только с Корнеем, но и с легендарным летчиком Сергеем Уточкинским. Потом сбежавшего украинца-подпольщика с сибирской каторги Житков попросил Корея спрятать у себя. Читали оба «Колокол» Герцена и брошюрки Каутского.

– Очень интересно, Нина, – обрадовался я – но и на этом история отношений Житкова и Чуковского не закончилась. Они встретились в 1916 году в Лондоне весной. Корней приехал с Алексеем Толстым и Немировичем-Данченко в составе делегации писателей. Вдруг на ужине в ресторане «Савой» Чуковский увидел как мимо его столика отчетливо военной походкой проходит русский морской офицер в щегольском мундире. И Корней окликнул его: «Борис!» И... наткнулся на холодный взгляд. Значит не

забыл он их размовку. Какого же было удивление Корнея, что Житков зашел к нему в номе гостиницы совсем не накрахмаленный. Оказалось, он приехал сюда, как специалист по приемке корабельных моторов. И торопился на деловую встречу. Расстались они друзьями...

– Да, Володя, – сказала Нина, – я читала переписку Бориса Житкова с Корнеем Чуковским. Борис вернулся из Англии и очень хотел встретиться с Корнеем. Он писал: «Итог впечатлений картофельный. Англичане – туземцы, но об них мне и хочется с тобой поговорить. Ты лучше знаешь про них. Я же их не понимаю. За восемь месяцев пока я жил в Англии, у меня остались подозрительное недоумение и снисходительное недоумение в сердцах лондонских пинкертонов.»

Мне после этого разговора с Ниной осталось только сказать с восхищением:

– Надо же, как пренебрежительно относиться к англичанам Борис Житков. Английские завоеватели, которые на кораблях захватили другие страны, а их жителей называли туземцами, теперь получили эти чопорные джентльмены от Бориса крепкую оплеуху. Для него англосаксы – туземцы. Но при чем тут пинкертоны?

– Так полицейские сыщики всегда в Великобритании следили за иноземцами – воскликнула Нина. – Они всегда суют нос в чужие дела. А ты, Володя, послушай какую открытку отправил Борис Корнею. На ней дата – 5 февраля 1917 года. А вот и текст: «Хочется очень повидаться. Пребываю в тоске и томлении духа. Ей-богу. Пожалуйста, откликнись.»

Выслушав Нину, я сказал:

– В ту пору они очень часто встречались. Но вдруг Житков внезапно уехал в свою любимую Одессу. Корней из-за гражданской войны и блокады ничего не слышал о нем. Встретились друзья в 1923 году. Житков, как всегда внезапно, появился у Чуковского. У него был изможденный и измызганный вид: желтые впалые щеки, обвислая, истрепанная одежонка, а в глазах безмерная усталость. Казалось, что он вдруг потеряет сознание и рухнет около ног Бориса. Его вроде бы обворовали и похитили не только вещи, а и документы. Поэтому его не брали нигде на службу, выгоняя из «народных подъездов». Иногда даже приходилось полежать в какой-то больничке. Нужда у него была такая, что по словам

Бориса: «даже трамвайный билет казался ему недоступной роскошью....»

Нина подхватила мой рассказа и сказала:

– Борис у Корнея пробыл целый день и к вечеру его мрачность рассеялась. Он сел на диван и стал рассказывать детям Корнея Чуковского о его морских путешествиях. Детей он очаровал и, когда он заканчивал свой очередной рассказ, они умоляли Бориса: «Еще!» Но когда Житков к вечеру собрался уходить, то Корней ему подбросил неплохую идею. Он сказал: «Борис, а почему бы тебе не стать писателем? Если ты напишешь про свои морские приключения, то может получится хорошая книжка!»

– Я помню этот момент, Ниночка, – пришлось сказать сразу же мне – Борис замахал руками, пытался замять разговор, но Чуковский настоял. И через несколько дней Житков принес тетрадку с новеллами. Одна из них называлась «Шквал». Каждая страничка сложена вдвое: на первой – текст, а на второй свободной должен был делать поправки текста Корней, профессиональный писатель для «новичка и дилетанта». Но когда Чуковский сел поправлять текст, то редакторскому карандашу нечего было делать. И Корней сказал об этом Борису: «Ты не дилетант, а опытный литератор и законченный мастер с изощренной манерой письма с безошибочным чувством стиля, с огромными языковыми ресурсами». И Корней Чуковский понял, что нет никакого сомнения, что этот начинающий, не напечатавший ни одной строки, прошел очень долгую литературную школу. Чуковский обрадовался. Радость его была безгранична: молодая советская литература для детей и подростков, за процветание которой он страстно боролся со своими коллегами, приобрела в лице сорокалетнего морехода надежную силу. Да и сам Борис Житков писал: «Опытные люди говорил, что я уж больно скоро в ход пошел! Но этому способствовал детский писатель Чуковский, мой приятель, к которому у меня осталось чувство, несмотря на многие годы непогоды...»

– Да, Володя, – сказала Нина – именно Корней Чуковский отнес рукопись Житкова в издательство «Время». Именно в нем работал талантливый издатель Георгий Петрович Блок. Это был двоюродный брат Александра блока. Он одобрил рукопись, но книга печаталась очень медленно и называлась она «Злое море». Может быть название сыграло злую шутку?

– Все может быть – согласился я. – Но помню, как назывались рассказы Бориса Житкова: «Под водой», «Коржик Дмитрий», «Мария и «Мэри». А Борис, пока в издательстве тянули резину, уже принялся писать новую книгу. Так его охватил азарт, что он уже не мог оторваться от письменного стола и работал взахлеб. С Чуковским Борис постоянно советовался: «Прислал кусок начала. Прочти только сам, а другим никому не показывай. Если у тебя есть знакомый мальчик лет 10, то прочитай ему небольшой отрывок. Может быть паренек заинтересуется?» Надо отдать должное Корнею. На него вторая рукопись произвела сильное впечатление. Чуковский даже поделился своим впечатлением с Самуилом Яковлевичем Маршаком. Маршак пригласил Бориса Житкова к себе и встретил нового писателя, как своего давнего друга. Ведь Маршак возглавлял детский журнал «Воробей». Потом Самуил Яковлевич поменял название на «Новый Робинзон»

– Все же связи с писателями, про которые ты сказал, принесли Борису Житкову огромную популярность. Маршак издавал его рассказы, в том числе и «Злое море». В новую профессию Борис ушел с головой. В детской литературе тогда не хватало такого талантливое, большого художника. С жадностью многолетнего голода набросился он на перо и чернила, которым всю жизнь робко тянулся. Я думаю, что любовь Житкова к самодисциплине и закалка воли и привели его к героической мужественности. Потому-то он, пожилой уже человек, оказался в такой гармонии с новой эпохой советской власти.

Мне осталось только развести руками. Но Нина не собиралась прекращать разговор и сказала мне:

– Корней Чуковский не только писал о выдающихся морях той эпохи. Он писал стихи и для детей. Разве ты не читал?

– Как же, Нина, ты обо мне плохо думаешь? – спросил ее я. – Да я про «Мойдодыра» читал с таким усердием, что чуть ли эту книжку глазами просверлил до дырок. А про доктора «Айболита» когда читал, то переживал за него: лишь бы Айболит успел добраться до больных не куда-нибудь, а в Африку. Вот как масштабно мыслил Чуковский. А какие хлесткие названия у писателя: «Мойдодыр» и «Доктор Айболит». Первое название говорит о чистоплотности детей Корнея. Ведь он писал эти стихи детям, в том числе и своим. А Айболит был ветеринарным врачом.



– Каким ветеринарным врачом был Айболит? – удивилась сначала Нина, а потом кивнув головой и махнув рукой, согласилась со мной. – Конечно же он лечил животных. И ты в этом прав. Но как любили дети читать сказки и стихи Корнея Чуковского. Так давай проанализируем с тобой сначала «Мойдодыра».

– Давай, – согласился я и сказал – «Мойдодыр» начинается с бунта!

– С какого же бунта начинается это чудесное стихотворение о чистоплотности детей? – спросила Нина, а я, хитро улыбнувшись, заявил:

– Да ты только вспомни начало «Мойдодыра»: Одеяло убежало, улетела простыня. И подушка, как лягушка, усакала от меня»

Нина заулыбалась и подхватила:

– Я за свечку, свечка в печку! Я за книжку, та – бежать и вприпрыжку под кровать!

– Вот видишь, Ниночка, разве это не бунт вещей?

– Володя, не надо укорять меня – ответила Нина. – Да вещи мальчика убегают от чумазого мальчишки: одеяло, подушка, свечка и книжка не желают испачкаться о грязные руки мальчишки. Но даже самовар, в котором внутри горят деревянные щепки и тот не желает ему дать «напиться чаю». Вспомни ка следующую строфу: «Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю. А пузатый от меня убежал, как от огня!»

– Вот видишь, Нина, ты сама поняла, что бунт вещей в спальне мальчишки продолжается. А поэт Корней Чуковский продолжает перечислять «Бунтовщиков»: «Боже, боже, что случилось? От чего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось кувырком? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушакom. Все вертится и кружится и несется кувырком».

– Вот это катавасия! – восхищенно произнесла Нина. – Мальчишка за голову ладошками ухватился и смотрит на эту карусель из взбунтовавшихся вещей: утюги, сапоги, пироги, кочерга и даже кушак.

– Да, Нина, крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится хочет упасть, а кавалер девушку хочет украсть – сказал я, а она засмеялась и добавила:

– Крадут невест горцы, а ты, мой муженек, меня не украл, а

заворожил. Вот и живем мы с тобою дружно и весело. Поэтому позволь мне прочесть наизусть речь Мойдодыра...

– Хорошо – кивнул я, – но позволь мне сначала прочесть вступление в свои права – умывальника. Вот какую преамбулу произнес для мальчишки он: «Вдруг из маминой из спальни, криконогий и хромой, выбегает умывальник и качает головой.

И Нина тут же подхватила:

– Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, неумытый поросенок! Ты чернея трубочиста, полюбуйся на себя: у тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки, даже брюки, даже брюки убежали от тебя!

– Какая живописная картина! – сказал я. – Неужели мальчик испачкал себе шею ваксой, после чистки сапожной щеткой башмаков, а потом дотронулся рукой до шеи. Да и под носом измазать чернилами – надо умудриться.

– То-то и оно – кивнула Нина. – Но умывальник, хоть и прихрамывал, да не забывал о своей службе – он прочел неряхе целую лекцию о личной гигиене: «Рано утром, на рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался и грязнулею остался. И сбежали от грязнули и чулки, и башмаки.

– Неплохой моралист из умывальника получился – согласился я, а Нина тут же продолжила цитировать речь хромого чистюли: «Я великий умывальник, знаменитый Мойдодыр, умывальников начальник и мочалок командир! Если топну я ногою, позову моих солдат в эту комнату толпою умывальники влетят. И залают, и завоюют, и ногами застучат. И тебе головомою неумытому дадут – прямо в мойку, прямо в мойку с головую окунут!»

Только я произнес слова про мойку, в разговор опять вступила Нина:

– Фи, какая гадость! И это говорит Великий умывальник и знаменитый Мойдодыр. А ведь мойкой называется речка. Когда-то она была чистая и петербургские прачки полоскали постельное и нательное белье в ней. Вот и появилось у безымянной речушки это имя. Но надо для читателей, которые будут читать нашу с тобой книгу, продолжить, что же произошло после высокопарной речи Мойдодыра. Вот что написал дальше Корней Чуковский: «Он ударил в медный таз и вскричал: «Кара-барас!». И сейчас же щетки, щетки затрещали, как трещотки и давай меня тереть приговари-

вать.

Стой! – сказал я Нине. – Дай мне, пожалуйста, рассказать читателям, как щетки стали отдраивать от грязи «трубочиста».

– А кто тебе запрещает говорить – пожала плечами Нина и я стал переводить язык мочалок на русский язык: «Моем, моем трубочиста чисто, чисто, чисто, чисто! Будет, будет трубочист чист, чист, чист. Тут и мыло подскочило и вцепилось в волосы, и полило, и мылило, и кусало, как оса».

– Я в детстве мылась в бане и знаю, как щиплет мыльная пена, когда попадает в глаза – произнесла Нина – действительно чувствуешь, как будто меня укусила оса.

Согласилась Нина и продолжила рассказывать про ужасную погоню за мальчишкой мочалки: «А от бешеной мочалки я помчался, как от палки, а она за мной, за мной по Садовой, по Сенной. Я к Таврическому саду, перепрыгнул чрез ограду, а она за мною мчится и кусает как волчица.

– Вот тебе и мочалка. Она хуже чем палка – произнес я – Заставила парнишку выполнить бег с препятствиями в самом центре Питера эта «бешенная» мочалка. Пробежался он и по Садовой, и по Сенной, перемахнул даже через ограду Таврического сада.

– Ладно ерничать, Володя, – сказала Нина. – Ведь эта мочалка кусалась как голодная волчица. И тут шутки плохи. Голод не тетка. А мальчику повезло – у него появился защитник. Не спрашивай какой? Послушай, что я тебе скажу: «Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Тотошей и Кокошей по аллее проходил и мочалку, словно галку, словно галку, проглотил. А потом как зарычит на меня, как ногами застучит на меня: «Уходи-ка ты домой, говорит, да лицо свое отмой, говорит. А не то как налечу, говорит, растопчу и проглочу, говорит.

– Прекрасный сюжет – усмехнулся я. – Мне Корней Чуковский напомнил одну песенку: «По улице ходила большая крокодила, она, она – зеленая была! Увидела Гаврилу и – хватя его за рыло. Она, она голодная была. А у Чуковского даже крокодил добрый и борется за чистоту тела малышей. Но именно крокодил заставил ребенка умываться: «Как пустился я по улице бежать, прибежал я к умывальнику опять. Мылом, мылом, мылом, мылом умывался без конца, смыл и ваксу и чернила с неумытого лица.

– Наконец-то мальчик понял: чистота – залог здоровья. – сказала

Нина. – И все страсти-мордасти мгновенно утихли, а жизнь ребенка наладилась: «И сейчас же брюки, брюки так и прыгнули мне в руки, а за ним и пирожок: «Ну-ка съешь меня дружок!» А за ним и бутерброд: подскочил и прямо в рот! Вот и книжка воротилась, воротилась и тетрадь, а грамматика пустилась с арифметикой плясать.

– Да, Нина, – согласился я – жизнь у мальчика стала налаживаться. И даже знаменитый «Мойдодыр» похвалил «грязнулю»: «Тут великий умывальник, знаменитый Мойдодыр, умывальников начальник и мочалок командир, подбежал ко мне, танцуя и, целуя, говорил: «Вот теперь тебя люблю я. Вот теперь тебя хвалю я! Наконец-то ты, грязнуля Мойдодыру угодил!»

– На этой бы фразе, Володя, можно было бы и закончить этот шедевр Корнея Чуковского – высказалась Нина, – но именно автор «Мойдодыра» решил лично сам написать послесловие. И я его сейчас с удовольствием прочитаю.

«Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам – стыд и срам! Стыд и срам! Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться в ушате, в корыте, в лохани, в реке, ручейке, в океане, и в ванне, и в бане!»

Тут Нина решила на какое-то мгновение перевести дыхание, но я не выдержал и завопил от восторга:

– Всегда и везде – вечная слава воде!

## Глава: От Алексея Пешкова до Максима Горького

Когда я начал углубляться в дружбу Максима Горького и Корнея Чуковского, то Нина опередила меня и сказала:

– Корней Чуковский встретился с Горьким в Петрограде, когда шла Первая Мировая война зимой 1915 года. Он спускался по лестнице огромного дома и засмотрелся на заигравшихся ребяташек. И в это время в парадную вошел с улицы легкой и властной походкой насупленный мужчина в серок шапке. Лицо у незнакомца было сердитое, даже какое-то злое. Его кончики усов заледелени, закурчавились и он казался седым, пожилым человеком. А в руках у этого человека был огромных невиданных размеров тяжеленный портфель. Разыгравшихся, расшалившихся детей сверху звали: «Пора спать, марш домой!» Но Корней не обращал на ребяташек никакого внимания.

Вот тут-то и я встрял в разговор и сказал:

– А этот незнакомец, не замедляя шагов, подошел к шалунам и произнес четко и громко скороговорку: «Даже кит ночью спит». Испуганных ребяташек от сурового дяденьки будто ветром сдуло, и они побежали домой по крутой лестнице вверх. И в эту секунду увидел Корней Чуковский, что угрюмость мгновенно исчезла с лица незнакомца, а озарила улыбка с горячей синевой его глаз, засияла на его лице. Но он, взглянув на Корнея, опять насупил и мрачно зашагал вверх по ступеням.

– Прекрасно! – одобрила меня Нина. – Но когда Корней познакомился с Горьким, то понял, что эти два выражения на лице Максима чаще всего бывают на его лице. Первое – тоскливо-враждебное, хмурое, что казалось на таком лице невозможна улыбка. И нет у Горького материала, из которого делаются улыбки. Зато другое выражение писателя Алексея Пешкова всегда внезапное и всегда неожиданное: праздничное, застенчиво-умильное и влюбленное.

– Так неужели Максим Горький двуликий Янус или Хамелеон? – спросил я Нину, а она мне ответила:

– Трудно понять эмоции незнакомому тебе человека. И Чуковский не мог долго привыкнуть к этим внезапным чередованиям любви и враждебности. И Чуковский понял душу Максима Горького когда самобытный писатель выступал в Аничковом дворце с лекцией о Льве Толстом. Горький осуждал его жестко, много говорил

об ошибках классика и Чуковского казалось, что Максим Горький не уступит и вершка своей горькой горьковской правды. Голос у него был недобрый, глухой, а лицо его было тоскливое и неприязненное. Но когда он говорил о Толстом как о «звучном колоколе мира сего», то на лице его засияла, появилась такая улыбка влюбленности, какая редко бывает у людей на их лицах.

– Вот тебе и сухой и скупой на эмоции человек – добавил я. – С одной стороны он только что обвинял Толстого за его ошибки и тут же на его лице улыбка влюбленности к мэтру русской литературы Льву Толстому. Но дальше – больше. Как только Горький дошел до упоминания смерти Льва Толстого: «Толстой умер!», то зрители увидели, что Максим Горький беззвучно шевелит губами и плачет. Он не смог договорить эти слова «Толстой умер». Вот какая нежность у него была к Льву. Он ушел с кафедры и скрылся в артистической комнате.

– Да, – сказала Нина, – и Чуковский бросился за ним и увидел, что Горький стоит у окна и плачет сиротливо, сминая пальцами не прикуренную папиросу. Но через минуту Горький вернулся на кафедру и стал хмуро продолжать свою речь. И эти вспышки влюбленности у Максима появлялись, когда он говорил о детях, о замечательных книгах и людях: о «Комволе», о «Русской истории» Ключевского и о «мадам Баварии». И к своим коллегам он относился с огромным участием. Был готов сотрудничать с любым, не щадя свое рабочее время. И если работа у молодых писателей не клеилась, то все они знали, что в СССР есть неутомимый, хотя и тяжело больной человек, который поможет им советами и конкретным трудом. Он кровно интересовался повышать качество нашей словесности.

– А мне, Нина, – сказал я, – понравилось, как Горький относился к писателям, которые просили у Горького материальной помощи. Его ка-то посетила поэтесса Наталия Глушко. Когда она ушла, Корней Чуковский услышал, как возмущается Горький: «Черт знает, что! Нет ни дров, ни хлеба, ни света. И они, как ни в чем не бывало... Извольте!» А оказалось, что поэтесса родила ребенка и ей нужно молоко. И Горький похлопотал о ней. Уже вечером Наташа получила бумагу: «Разрешается молочнице такой-то возить жене Максима Горького молоко. И стоит фамилия поэтессы». Потом прислали Максиму Горькому гонорар с Мурманской желез-

ной дороги, а он попросил отправить его переводчице, которая тогда очень голодала. Его спросили: «А на каком основании?», а Горький сказал: «Запишите, что это моя сестра». Вот так и стал Максим Горький и многоженцем, и братом голодных женщин. А чиновники удивлялись: «Какая у Горького огромная семья». Ворчали, но его просьбы выполняли точно и в срок.

– То, о чем ты мне, Володя, говорил мелочь по сравнению, что создал Максим Горький в 1918 году в Петрограде – издательство «Всемирная литература!»

Я с удивлением произнес:

– Вот это масштаб, ай-да Горький, какой он молодец! Молодая Советская Россия, в Петрограде хлеба не хватает, а Максим замахивается на «Всемирную литературу»! Но доклады делались специалистами. И поэт Николай Гумилёв, муж Анна Ахматовой, написал стихи:

Уж подумал о побеге я,  
Когда читалось нам Норвегия,  
А ныне пущее страдание:  
Рассматривается Испания  
Но, к счастью, предстоит нам далее  
Моя любимая Испания.

И в течении многих лет писатели вели эту работу под предводительством Горького. И тут Чуковский обнаружил в нем такие черты, о которых и не подозревал никто до сих пор. Над Горьким издевались: «Пролетарий не знает ни одного иностранного языка, а председательствует в иностранной коллегии». Но этот пролетарий оказался учение многих профессоров. О ком бы не заговорили мэтры: о Потерне, Шамиссо и Людвиге Тике, а Горький говорит об их научных трудах, как будто он изучал эти труды всю свою жизнь.

– Да, Володя, – добавила к моей реплике Нина. – В голосе максима Горького тогда появилась какая-то веселость. «Народную серию» он принимал к сердцу более всего. И делал работу как бы играючи, шутя. Но среди друзей Максима Горького были и помпезные, и чопорные люди. Но однажды Горький засмеялся, глядя на их ухмылки, и сказал виновато: «Прошу прощения... ради Бога, извините. Это к вам не имеет никакого отношения. Просто одна

дама на вечере Федора Шаляпина на его шутку сказала: «Извините, пожалуйста, но я скоро заржу!» А Александр Блок любил такие смешные рассказы и записывал их, чтобы не позабыть ненароком.

– Записывали рассказы Горького не только Александр Блок – добавила Нина, – он дружил с Чеховым и запомнил вот что: «В Ялте был татарин, который подмигивал всем знаменитостям. Идет и подмигивает. Зашел он к Чехову. Но Антон Павлович удалился в другую комнату, а потом спрашивает свою маму: «Зачем к нам приходил татарин?» «А он, Антоша, хотел спросить у тебя одну вещь». «Какую?» «Как ловят китов!» «Китов?» «Очень просто: берут много селедок и бросают киту. Кит наестся соленого и начинает пить. А пить не дают нарочно. В море вода тоже соленая. Вот и плывет к реке, чтобы напиться пресной воды. Только заберется в устье реки, так рыбаки делают запруду сзади кита, чтобы ему не было ходу назад. И кит пойман. Вот так записал рассказ Горького Корней Чуковский.

– Да, Нина, – добавил я – многие товарищи Чуковского были рады просидеть на работе не только день, а и ночь лишь бы на ближайшем заседании он взглянул на них благодарно и весело. Ведь его речи были речами художника, необычными и красочными. Однажды Александр Блок прочитал египетскую пьесу «Рамзес» и Горький неожиданно сказал: «Надо бы немножко не так. Нужно каждую фразу поставить в профиль. Как на египетских фресках». И Блок понял Максима, его фразеология оказалась оторванной от египетской почвы, то ли яркое Блоковское из поэмы «12»: «Вот идут державным шагом... В алых венчиках из роз. Впереди Иисус Христос!»

Тут и Нина загорелась в наших воспоминаниях и тоже заговорила:

– Принес Горький на заседание журнал «Шут» и один из литераторов с грустью в голосе произнес: «Слишком у нас мало шуток и юмора». А Максим Алексеевич и говорит: «Помилуйте, русские люди прекрасные юмористы. Вот ко мне пришла одна провокаторша. Каялась, что виновата она, грешна, а слезы текли не только из глаз, даже из ушей. На следующий день встречаемся, она как ни в чем не бывало говорит мне: «Здравствуйте Алексей Максимыч». Мое имя и отчество – задом наперед. Разве это не



юмор? Или вот другой случай: «Появилась у меня одна барыня. На ней фунта четыре серебра, фунта два золота. И эта дама просит о своих бывших мужьях, которые попали в тюрьму «по ошибке». Я пообещал выяснить, а она меня спрашивает: «А сколько же вы за эту услугу с меня спросите? «Ну, разве это не юмор? Вот так через суровость и хмурость проскальзывало у Максима Горького и озорство.

– Да я тоже читал про шутки Горького, Нина, могу рассказать тебе одну историю.

И она взмахнула рукой.

– Говори, раз есть желание...

И я заговорил:

– Максим Горький шел в широкополой черной итальянской шляпе. Его голова возвышалась над прохожими. Но он решил пообщаться с девушкой лет девятнадцати, не старше. Лицо у нее круглое, пухлое, ну совсем доброе и детское. Из вод берета у нее выбиваются кудряшки, а на рукаве красная повязка с надписью: «ГОРОХР», то есть городская охрана. Так раньше называлась милиция. И пока девушка прихорашивалась, теребила свои локоны, перед осколком зеркальца. Все женщины любят поправить свою прическу. Но винтовка то ее на брезентовом ремне лежит на отлете от нее в сторонке. Максим попытался похитить оружие, чтобы убедиться в сохранности винтовки, а она увидела его в зеркальце и приказала: «Положи на место!» Он улыбается, но оружия не возвращает. Девушка вскакивает, вытаскивает из кармана свисток и кричит: «Кому говорят. Перестань баловаться!» Прохожие вступаются за писателя и говорят девушке: «Так это же Горький, милочка». А эта милочка говорит: «А мне хоть сладкий!2 Он возвращает ружье и говорит, восхищаясь: «Какая авторитетная дама!» И весело смеется.

– Вот тебе и молчаливый, и грустный Горький – сказала Нина. – А я читала как Алексей Максимович разговаривал с Львом Толстым и Лев сказал: «Вот на этом месте Фет читал свои стихи. Смешным человеком был Фет» Максим удивился: «Смешной?» «Ну да, смешной. Да и все люди смешные. И вы смешной, и я смешной. Все люди смешные!» И тут Шаляпин подошел к Льву Толстому похристосоваться: «Христос воскрес, Лев Николаевич!» Толстой промолчал и дал Шаляпину поцеловать себя, а потом ска-

зал неторопливо, спокойно и весомо: «Христос не воскрес Федор Иванович... Не воскрес...» и покачал головой.

– Его за такие речи – кивнул я – и предали церковнослужители анафема. Никто не знает, что случилось с Львом Толстым в то время. Зато я читал записочки Горького, которые он писал почти ежедневно Корнею Чуковскому. В них были меткие оценки событиям, догадки о развитии их и другие интересные сведения. А иногда и критические: «Корней Иванович! «Фарисеи» Голсуорси – вещь очень слабая, схематическая. Я всецело предпочитаю «Братство». Эта книга написана убедительно и мастерски. Необходимо дать небольшое предисловие о развитии самокритики в английском обществе конца XIX века.

– Да и я читала эти записочки – сказала Нина. – Вот что он писал Чуковскому: «Вы неоспоримо правы, когда говорите, что парадоксы Уайльда – общие места шиворот навыворот. Может быть за этим вы видите сознательное желание насолить миссис Гренди и пошатнуть английский пуританизм?»

– Надо же, – удивился я. – Вот тебе и недоучка Максим Горький. А знает, что англичанка миссис Гренди – это собирательный образ английской ханжи. К тому же он считает, что Уайльд не чужд влиянию Ницше, который относился к мракобесам. И после этого Горький тут же пишет о быте золотоискателей на Аляске и о продаже Аляски Россией. А ведь писал о «Белом безмолвии» в Северной Америки и Джек Лондон. А горькому все по плечу. И все эти стремления писателя помогли издательству «Академия». Но для того, чтобы издавать книги иностранных поэтов в этом издательстве как Эдгар По, Лоне де Вега, Гейне требовались переводчики. А в Питере обнаружилось много лиц, вообразивших себя переводчиками: бывшие князья, фрейлины, пажи, лицеисты, камердинеры, сенатор... Это была вся буржуазная знать выброшенная революцией за борт. Эти люди осаждали «Академию» изо дня в день, чтобы именно им поручили переводы Мольера, Вольтера, Стендаля, Бальзака, Анатоля Франсе и Виктора Гюго. Но одно разговаривать на иностранном языке, а совсем другое – подать читателю мысли этих мастеров слова. А Горький столько вкладывал своей души в эту скрупулёзную работу, что у него не хватало ни минуты для творчества. Он создавал «Всемирную литературу».

– А в 1918 году 30 марта, когда Горькому исполнилось 50 лет,

на его золотой юбилей – сказала Нина – собрались писатели более сорока человек. В бокалы для шампанского был налит жиденский чай без сахара и каждому гостю вручили по роскошной лепешке величиной с пяточек. А Александр Блок записал в «Чупоккалу» Корнея: «Сегодняшний юбилейный день Алексея Максимовича светел и очень насыщен – не пустой день, а музыкальный. Но в конце этого музыкального дня Горький разгневался. Профессор Батюшков упомянул в своей речи будто Алексей Максимович озарил «старика» каким-то ласковым и кротким сиянием. Горький взорвался: «Позвольте... позвольте. Прошу прощения. Это не так. Да, это не так. Униженных и падших я терпеть не могу. А этого старика я не-на-ви-жу!» Батюшков сконфуженно потупил глаза и еле досказал свою речь. Ведь Горький после своей резкой реплики, тут же смягчил ее своей мягкой улыбкой.

– И я продолжи эту тему, когда Нина утихла:

– Оказывается в день 50-летия Алексея Максимовича один заключенный прислал ему из тюрьмы прошение: «Дорогой писатель! Не будет ли какой амнистии по поводу вашего именинства? Я сижу в тюрьме за убийство своей жены. Убил я ее на пятый день после свадьбы за измену. Так нельзя ли мне ускорить амнистию». А через неделю после юбилея Горький слушал доклад по поводу Александра Блока. В нем говорилось: «Теперь колокол антигуманизма громче и звучнее, чем прежде». Алексей Максимович подошел после доклада к Александру Блоку и сказал ему: «Я человек бытовой и, конечно, мы люди разные. Вы удивитесь сейчас, что я скажу... Мне тоже кажется, что гуманизм, именно гуманизм в христианском смысле, должен полететь ко всем чертям...»

После этой фразы стала говорить Нина:

– В начале двадцатых годов в Петрограде возникла группа начинающих молодых писателей «серанионовы братья». Горькому «братья» понравились. И он сказал: «Какого вчера я слушал куплетиста. Талант. Даже потеет талантом. Пел вот такие стишки: «Анархист в сенях стащил полушубок тетки. Ах тому ль его учил, господин Кропоткин?» А тут Федин, вернувшись из Москвы рассказал, что в первопрестольной столице один мужик залез в трамвай с оглоблей. Горький удивился: «И никого не избил?» «Нет – ответил Федин. – Проехал до своей остановки, прошел через весь вагон и вышел через парадную дверь трамвая». Но Горький не

только удивлял людей своей остротой ума: «Человек предан в жертву факта. И мне кажется допущена в умилении человека какая-то ошибка? Даже при коллективизме роль личности – огромна. Например, Ленин. А у вас герой затискан. У нас недостаток внимания к людям. А в жизни человек свою человеческую роль выполняет...»

– А мне, Нина, понравилось переписка Корнея Чуковского с Максимом Горьким когда он был в Италии – продолжил я. – Подражать классикам и учиться на пародиях не стоит. Произойдет «смятение умов». Бесплезная трата времени на поиски вот таких словечек: «верзилу Вавилу бревном придавило». Но чуть раньше в 1916 году Корней Чуковский стал писать детскую литературу. И вот Корней пришел на Финляндский вокзал, чтобы поехать с Горьким вместе к Репину побеседовать о «детских делах». Алексей Максимович сидел в вагоне около окна, не поднимая головы, смотрел на унылые ключья паровозного дыма и ни разу не посмотрел в сторону Чуковского. И Корней затосковал от обиды. И вдруг Горький метнул свой синий взгляд на Чуковского и сказал нажимая в слове на «о» такую фразу: «По-го-во-рим о детях!» И стал рассказывать о встречах с детьми, был благодарен, что существует на свете такое поэтичное, неиссякаемое, вечно обновляющее нашу жизнь, творческое и непобедимое племя детей... Что Горький может быть таким, Корней раньше даже не подозревал.

После такого восхищения моего, заговорила и Нина:

– Детскую литературу, говорил Алексей Максимович Корнею, у нас делают прохвосты и ханжи. Это факт – ханжи и прохвосты и разные перезрелые бараны. Вот вы все ругаете Чарскую, Клавдию Луканевич «Подводные огоньки», «Светлячки», но ругательство делу не поможет. Представьте себе, что эти мутноглазые вами уничтожены. Что же вы дадите детям взамен? Сейчас одна детская книга сделает во много раз лучше, чем сотня ваших политических статей. Если вы на самом деле хотите уничтожить эту гниль, то бросайтесь на нее с кулаками. Создайте нечто свое, настоящее художественное и эта гниль сама рассыплется.

– Вот здорово, вот это Горький – восторгался я и сам стал говорить о его таланте:

– Была выпущена книга «Жар-птица», а Горький стал смотреть на детскую литературу шире, чем многие другие писатели:

«Жар-птицы» – мало. Нужна не одна книга, а триста, четыреста книг, но самых лучших. И сказки, и стихи. Пусть издадут Жюль Верна, Марка Твена и Миклухо Маклая. Только таким путем надо бороться с мерзостью. И рисунки для детских книг должны выполнять не какие-то Турбины, а Репин, Добужинский, Замирайло... Вот тогда детская литература будет вырвана из рук аферистов и пошлых бездарностей! А Горький стал создавать атмосферу веселья, чтоб появлялись новые творцы детской книги. Алексей Максимович сознавал, что в детской литературе безлюдье и уговаривал работать тех, у кого чувствовал хоть какой-то проблеск дарования. Он говорил: «В детской литературе должно существовать два Гулливера: маленький Гулливер для семилетних детей. А огромный Гулливер для детей старшего возраста. В детской литературе должны быть не ремесленники, а большие художники. В ней должна звучать поэзия, а не суррогаты поэзии. И... ж. беспримерное уважение к ребенку.

– Вот тебе и Горький – улыбнулась Нина. – Давай-ка, Володя, почитаем мы с тобой сказку о докторе Айболите Корнея Чуковского.

А я ответил:

– Раз ты взялась за новую тему, то сама и начиная читать это уникальное произведение Корнея Чуковского. Он тут, на мой взгляд, изобразил в образе Айболита не только ветеринара, а и скорую помощь. Но главное, что Айболит, как бы ни было ему трудно, он стремится вылечить больную птичку, зверушку, как бы трудно ему не было.

– Разумеется, – добавила Нина, – что добрый доктор Айболит не только сидит под деревом, он же подвижник и желает поставить на ноги своих пациентов... А когда у пациента, получившего травму ног, необходимо сделать срочную операцию, то Айболит мгновенно превращается еще и в хирурга. Вот об этом я сейчас и читаю отрывок из «Айболита».

– Добрый доктор Айболит! Он под деревом сидит. Приходи к нему лечится и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица! Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит.

– Вот видишь, Нина, – сказал я, – Айболит когда чувствует боль пациентов, он желает всех исцелить. И корову, которая дает людям молоко, и волчицу, готовую загрызть буренку, которая ото-

бьется от стада. Но я, Нина, хочу рассказать о бедах этих зверюшек.

– Так не тяни kota за хвост – поторопила меня Нина.

И я стал читать:

– И пришла к Айболиту лиса: «Ой, меня укусила оса!» И пришел к Айболиту барбос: «Меня курица клюнула в нос!». И прибежала зайчиха и закричала: «Мой зайчик, мой мальчик, попал под трамвай! Он бежал по дорожке и ему перерезало ножки. И теперь он больной и хромой, маленький зайнышка мой!»

И тут-то мне пришлось напомнить об умелом хирурге, который может после любой операции поставить пациента на ноги. Вот я и стал читать:

– И сказал Айболит: «Не беда! Подавай-ка его сюда! Я пришью ему ножки. Он опять побежит по дорожке». И принесли к нему зайку, такого больного, хромого. И доктор пришел ему ножки, и зайнышка прыгает снова, а с ним и зайчиха-мать тоже пошла танцевать и смеется она и кричит: «ну, спасибо тебе Айболит!»

Тут Нина удивилась и сказала:

– Разве может после операции ног, вот так после хирургической операции зайчик прыгать и танцевать? Такого в жизни не бывает...

Мне пришлось отвечать:

– Нина, так Корней Чуковский пишет для детей эту сказку. А сказка, как говорится, хоть и ложь, но в не намек для доброго молодца урок. Вот поэт и делает намек: «Дорогие родители, обучайте с малых лет своих питомцев правилам дорожного движения. Тогда-то и под трамвай ваше дороге чадо не попадет. А операция и не понадобится. Давай я продолжу эту сказку про Айболита.

Нина не возражала, и я стал читать:

– Вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал: «Вот вам телеграмма от Гиппопотама!» «Приезжайте доктор в Африку скорей и спасите, доктор, наших малышей!»

«Что такое неужели ваши дети заболели?» «Да-да-да-да! У них ангина, скарлатина, холерина, дифтерия, аппендицит, малярия и бронхит! Приходите же быстрее, добрый доктор Айболит!»

– Ну вот дожили! – произнесла скептически Нина. – Оказывается Айболит не только хирург, а и педиатр. Но он, услышав, что

ему придется ехать в Африку, на другой континент лечить детей, не раздумывая соглашается, но задает вопрос: «Ладно, ладно, побегу, вашим детям помогу. Только где же вы живете? На горе или в болоте?» «Мы живем на Занзибаре, Колахари и Сахаре, на горе Фернандо-По, где гуляет Гиппо-По, по широкой Лимпопо».

– Какой-то адресок расплывчатый – усманился я – диагноз поставлен шакалом очень точно, только почему нужно спасать маленьких зверушек на каком-то Лимпопо, Занзибаре и даже в пустыне Сахаре? Но для Айболита профессиональный долг выше всего. И он готов бежать нба край света, лишь бы вылечить детишек. А он чуть ли сам не заболит. Во что пишет Чуковский: «И встал Айболит, побежал Айболит по полям, по лесам, по лугам он бежит и одно только слово твердит Айболит «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!» А в лицо ему ветер и снег, и град: «Эй, Айболит, воротися назад!» и упал Айболит и лежит на снегу: «Я дальше идти не могу.»

– Выдохся Айболит! – воскликнула Нина. – И почему же он не попросил шакала прислать ему «карету скорой помощи»?

– Видимо, Ниночка, тогда в то время и телефона то с номером «03» не было. А добрый доктор Айболит сидел под деревом похоже без всякой связи. А шакал, нет чтобы посадить на спину кобыле и доктора, умыл свои лапы. Вот и остался доктор без транспорта. А чувство долга заставило его в снежную пургу шагать аж до Лимпопо. Но скорая помощь все-таки пришла к Айболиту. Я сейчас про это прочту стихи Корнея:

«И сейчас к нему из-за елки выбегают лохматые волки: садись, Айболит, верхом, мы живо тебя довезем!» И вперед поскакал Айболит и одно только слово твердит: «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо.»

– Но тут препятствием на пути Айболита стало море – сказал Нина, – а волки-то вплавь пересечь не могли и сказали: «До свидания». И помчались в чащу. И вот, что говорит поэт: «И вот перед ними море – бушует, шумит на просторе. А в море высокая ходит волна, сейчас Айболита проглотит она. И доктор не за себя переживает, а за своих пациентов: «О, если я утону, если пойду я ко дну, что станется с ними, с больными, с моими зверями лесными?»

– А выход из этого момента нашел... кит – сказал я – и это

средство передвижения и помогло двигаться Айболиту дальше. Но кит не только мог переплыть с Айболитом море, но он умел еще и говорить: «Ну вот подплывает кит: «Садись на меня Айболит, и как большой пароход тебя повезу вперед! И сел на кита Айболит и одно лишь слово твердит: «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!» И твердит это слово доктор, чтобы не позабыть куда же ему добраться.

А Нина стала рассказывать о другом препятствии на пути доктора:

– И горы встают перед ним на пути, и он по горам начинает ползти, а горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи!

– А ведь, Володя, Айболит так и не стал альпинистом. Он начал звать к судьбе, обращаясь к небу: «О, если я не дойду, если я пропаду, что станется с ними больными, с моими зверями лесными?»

– Вот тут-то Нина – сказал я – и пришла к Айболиту опять необходимая скорая помощь. Какая? Послушай: «И сейчас же с высокой скалы к Айболиту слетелись орлы: «Садись, Айболит, верхом мы живо тебя доведем!» И они вместо самолета доставили доктора к больным зверям: «И сел на орла Айболит и одно только слово твердит: «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»

– А что же творилось в этой Африке пока не было там Айболита? – задала себе вопрос Нина и сама же на него ответила:

– А в Африке, а в Африке на черной Лимпопо, сидит и плачет в Африке печальный Гиппопо. Он в Африке под пальмою сидит и на море из Африки без отдыха глядит: «Не едет ли в кораблике доктор Айболит?»

– Необходимый пункт наблюдения выбрал себе, Ниночка, печальный Гиппопо, чтобы не получить солнечный удар. Он поглядывает на синее море, чтобы увидеть в морской дали, что уже белеет парус одинокий. Но... Но и кроме Гиппопо хватает животных, чтобы следить за появлением на горизонте доктора Айболита. И Корней Чуковский пишет: «И рыщут по дороге слоны и носороги и говорят сердито: «Что ж нету Айболита?» А рядом бегемотики схватились за животики – у них у бегемотиков животики болят. И тут же страусята визжат, как поросята. Ах, жалко, жалко, жалко бедных страусят. И корь и дифтерит у них, и оспа и



бронхит у них, и голова болит у них, и горлышко болит. Они лежат и бредят: «ну что же он не едет, доктор Айболит?»

– От чего же тут не забредить, когда они, бедные зверюшки лежат больные на палящем африканском солнце – произнесла с горечью Нина. – Тут даже акулы около мелководного побережья и та станет соболезновать – произнесла жена и продолжила говорить:

– А рядом прикорнула зубастая акула. Зубастая акула на солнышке лежит. Ах, у ее малюток, у бедных акулят, уже двенадцать суток зубки болят!

– Да, что там акулы и акулята страдают – возмутился и я, – даже маленького кузнечика можно и нужно пожалеть: «И вывихнуто плечико у бедного кузнечика: не прыгает, не скачет, а горько-горько плачет и доктора зовет: «О, где же добрый доктор? Когда же он придет?» Но вот, поглядите, какая-то птица все ближе и ближе по воздуху мчится. на птице, глядите, сидит Айболит и шляпою машет и громко кричит: «Да здравствует милая Африка!» И рада, и счастлива вся детвора: «Приехал, приехал! Ура! Ура!» А птица над ними кружится, а птица на землю садится. И бежит Айболит к бегемотикам и всем по порядку дает шоколадку и ставит, и ставит им градусники!

– Вот тут и я рада – кивнула Нина, – но только если у бегемотиков болят животики, то зря доктор Айболит их балует и дает шоколадку! Ведь говорят, что детям иногда вреден шоколад. Животики могут разболеться еще сильнее. Зато доктор Айболит действует энергично: «И к полосатым бежит он тигрятам, и к бедным горбатым больным верблюжатам. И каждого гоголем, каждого могулем, гоголем-моголем, гоголем-моголем потчует. Десять ночей Айболит не ест и не пьет, и не спит. десять ночей подряд он лечит несчастных зверят. И ставит, и ставит им градусники.

– Да, Нина, – согласился я – Айболит самоотверженный доктор. Ведь он не ест, не пьет и не спит десять ночей подряд. Тут мог бы и сам Айболит заболеть. Но профессиональный долг он выполнил честно и добросовестно. Зато животные его славят как святого человека. И вот какой восторг захлестывает бывших больных животных: «Вот и вылечил он их, Лимпопо! И пошли они смеяться, Лимпопо! И плясать, и баловаться, Лимпопо! И акула-каракула, правым глазом подмигнула и хохочет, и хохочет, будто

кто ее щекочет. А малютки бегемотики ухватились за животики и смеются, заливаются – так, что пальмы сотрясаются!

– А Нина закончила Докториату про доброго доктора Айболита восторгом Гиппопотама вот так:

– Вот и Гиппо, вот и Попо, Гиппо-попо, Гиппо-попо! Вот идет Гиппопотам, он идет от Занзибара, он идет к Калиманджара и кричит он, и поет он: «слава, слава Айболиту! Слава добрым докторам!»

## **Глава: Антоша Чехонте и великий Чехов**

Чехов для меня предстал своим творчеством еще в детстве, когда прочила его рассказ «Лошадиная фамилия». Один барин решил подлечиться и заставил свою прислугу запрячь повозку, чтобы заехать к знаменитому доктору, который хворь снимает за один сеанс. А вот фамилию этого кудесника позабыл.

Его дворецкий попросил дать ему хоть какую-то зацепку, чтобы он узнал всю подноготную про Гиппократата, а хозяин буркнул:

– Да помнил, что у этого лекаря вроде бы какая-то лошадиная фамилия... Пусть все напрягут извилины свои, да и вслух говорят. Может я и вспомню.

Вереница челяди подходила к барину и произносила, надеясь на благодарность барина если он или она угадает лошадиную фамилию:

– Жеребцов... рысаков... Хомутов...

Но никто не угадал. Барин был вне себя, но кучер вдруг попросил своего барина:

– Как поедем к доктору, то хорошо бы овса побольше в торбу насыпать...

А барин с восторгом вскрикнул:

– Вспомнил, вспомнил, фамилия доктора Овсов... Овсов!

– Корней Чуковский вот что писал про Чехова – сказал я Нине. – Чехов был гостеприимен, как магнат. У него была какая-то страсть к хлебосольству. Ведь недаром говорят: недосол на столе, а пересол на спине. Но стоило ему поселиться в деревне, как Антон Павлович уже зазывал к себе гостей. Местные жители его

считали безумцем. Только выбился из многолетней нужды, а в его доме набиваются гости. Он их поит, кормит и лечит. Как какой-то добрый доктор Айболит, который в своем доме сидит, а сам и не есть, и не пьет, и не спит...

А Нина, как женщина, посочувствовала Чехову:

– Он с трудом содержал всю свою семью: и мать с отцом, и сестру с братом, а в кармане нет даже ломаного гроша...

Я подхватил ее реплику:

– У него в кармане, Нина, была только вошь на аркане, да блоха на цепи.

Но Нина мое скоморошество не оценила и произнесла:

– Никаких насекомых в доме Антона Павловича никогда не было. Он, как говорят: «Сам дрожу, а фасон держу». У него было все чистенько, аккуратненько, хоть носовым платком проведи по подоконнику, а пыли на нем нет. А некоторых гостей Чехов и гостями-то не считал: «астрономка» Ольга Кундасова, музыкант Мариан Семашко, Лика Мизанова, она же Дришка, а и Мусина-Пушкина, она же Цикала.

– Но ведь от такого хлебосольства страдал и сам Антон Павлович – дополнил Нину я – он говорил: «С пятницы страстной до сегодняшнего дня у меня гости, гости, гости... И я не написал ни одной строки». И все же Чехов звал к себе гостей азартно и «шутливо». например, редактору «Севера» он писал вот так: «Ну, сударь, зато, что вы поместили мой портрет, прославляя имя мое, дарю вам пять пучков редиски из собственного парника и съесть эту всю редиску». И это от Петербурга шестьсот верств. Или вот как приглашал к себе архитектора Шектера к себе в гости, пугая его карой небесной: «Если не приедете, желаю, чтобы у вас на улице развязались публично тесемки нижнего белья». Но дело тут не в радушии Антона Павловича, а в его огромной жизненной энергии, которая и переходила в это шикарное радушие. А в Крыму его эпитеты были еще более сентиментальнее: «Место здесь многолюдное, веселое, сытое. Дорога дивная, купание грандиозное, а люди – прекрасные!»

– Для Чехова – продолжила мой монолог Нина – вся жизнь была в радужных тонах. И страстная любовь Антона Павловича к многолюдству помогала собирать в разговорах с гостями яркие словечки, образные, личностные фразы. даже когда у него обо-

стрился туберкулез, в последней стадии чахотки, он говорил про себя: «Полуразрушенный, полу жилец могилы», угрожал шутливо Гиляровскому: «Не придёте – подожгу мельницу». А для поездки в Билибино он писал Алексею Киселеву: «Вся моя шайка разбойников решила так: ехать!»

– А мне, Нина, – сказал я – понравился чеховский розыгрыш московского городского. Он сунул ему в руки тяжелый, огромный арбуз, обмотанный толстой бумагой и деловито произнес: «Бомба?! Неси в участок остороженько...» Затем Антон Павлович приехал на дом к поэту, который по пьянке разбил себе голову. Поэт и спрашивает, указывая на молодого писателя, которого Чехов прихватил с собой: «Кто это с вами?» Антон Павлович заявил: «Фельдшер». «Тогда нужно дать ему за труды?» и Чехов твердо заявляет: «Непременно!», а в ответ слышит: «А сколько дать денег?». Антон Павлович с невозмутимостью отвечает: «Да, копеек тридцать. Ему хватит. Молодой еще, чтобы получить различные гонорары, как я!»

Зато Нина стала развивать Чеховскую тему в другой плоскости:

– В то время был в России придиристый и враждебный критик, который упрямо третировал Чехова, как плохого и никудышного писаку. Вот дерзкие и злые отзывы этого критикана: «рухлядь, дребедень, ерундишка, канифоль с уксусом, увесистая ерунда, жеванная мочалка». И этого критика звали... Антон Павлович Чехов. Вот так относился к своим произведениям великий мастер. А тут одна писательница назвала этого мастера «гордым». И он ответил – задал молоденькой даме вопрос и сам же на него ответил: «Почему вы назвали меня гордым? Гордыми бывают только индюки!» Неистошимый юмор Антона Чехова не мог иссякнуть. И когда в 1888 году ему вручили от Академии наук за книгу «В сумерках» премию имени Пушкина, то он сказал: «Это должно быть за то, что я раков ловил».

Я засмеялся, а потом произнес:

– Зато слава свалилась на Чехова неожиданно – негаданно. Еще недавно он терялся в вульгарной толпе третьеразрядных писаков «желтой прессы» и литературных пигмеев, а в Петербурге уже забил фонтан знатоков и ценителей, которые стали восхищаться произведениями Чехова. А он только плечами пожимал и

говорил друзьям: «У меня два месяца кружилась голова от хвалебного чада!». Но волна восторга не утихала: «Искреннейший ваш почитатель» – писал ему величайший композитор Петр Чайковский. А когда один борзописец вякнул какую-то пакостную фразу о Антоне Павловиче, то Григорович с негодованием воскликнул: «Да он недостоин поцеловать след той блохи, которая укусит Чехова!»

– Зато сам Антон Павлович – сказала Нина – этот восторг почтеннейшей публики не воспринимал как говорится: «Хвалу и клевету приемлю равнодушно. Но не завидую глупцам». И Чехов пишет какой он «баловень счастья»: «Современная беллетристика никому не нужна, она помогает дьяволу размножать слизняков и мокриц». Чехов, как Лев Толстой и Гоголь на самом пике славы, стал презирать все то, что было создано им. Только у Толстого и Гоголя отказ от своего творчества был демонстративным, а сам Чехом молча от беллетристики, без деклараций и проповедей. Он собрался поехать на Сахалин. Туда ссылали каторжан. Другие же писатели, добившиеся успеха, уезжали туристами в Рим, Париж. А Антон Павлович на остров Сахалин к каторжанам. И вот, что он писал: «Такая кропотливая анофемовская работа, что скоро околею от тоски. В мозгу от чтения у меня завелись тараканы».

– Конечно – добавил я, – изучая тюремное содержание свободному человеку и с ума сойти недолго. Тем более, Чехов ехал на Сахалин не по железной дороге, а через всю Сибирь. Тысячи и тысячи километров на лошадях в тарантайке, в распутицу. И вот, что писал Чехов: «Плыву через реку, а дождь хлещет, ветер дует, багаж мокнет, а валенки опять превращаются в студень». И тут же иронизирует: «Путешествие прошло благополучно... Дай бог всякому так ездить». Не мудрено, что поездка на Сахалин всем казалась подвигом... Но он, Чехов, если и считал, что совершил героизм, то делал его тайком, а не твердил о подвиге по секрету всему свету. Скромным человеком был Антон Павлович.

А Нина, с обеспокоенным лицом, добавила:

– Не мудрено, что поездка на каторгу расшатал и без того его некрепкое здоровье. Но он собрал столько материалов для своей будущей книги об острове Сахалине, который по величине был вдвое больше, чем европейское государство Греция! Зато эта поездка разорила Антона Павловича. Ведь ему приходилось платить

ямщикам вдвое, а то и втрое больше, чем в Европе. А тут Азия и ее просторы и бездорожье заставляли ямщиков погонять лошадей. Другого транспорта в тайге нет, а ямщики этим пользовались. Риз приехал барин – он им заплатит. А поэт Буренин откликнулся на путешествие Чехова фамильярным стишком: «Талантливый писатель Чехов на остров Сахалин уехал, бродя меж скал, там вдохновение искал. Но не найдя там вдохновенья, свое ускорил возвращенье. Простая басни той мораль: для вдохновения не нужно ездить вдаль». А Чехов ответил ему по-свойски: «25-30 лет назад наши русские люди, исследуя Сахалин, совершили изумительные подвиги, за которые нужно боготворить этих первопроходцев.

– И все-таки Чехов – вступил в разговор я – чувствовал свое райское самоунижение и советовал брату Михаилу не допускать такую оплошность: «Миша, ты не идешь против рожна, а заискиваешь у него. Ты должен выдавливать из себя раба по капле». И его самоуважение и стало одной из главных и заметных черт писателя Чехова. Но издатель Суворин, увидев, что Антон Павлович нуждается в деньгах и предоставил ему щедрый аванс. А Чехов сказал ему: «Вы нужны мне как издатель, а не человек». И Суворин получил карт-бланш – он на двенадцать лет стал почти монопольным издателем чеховских книг: «Каштанка», «Хмурые люди», «Мужики», «Детвора» и давали ему огромный доход, а Чехова издатель разорил. «Чехов был человеком гордым – сказал театральный критик Кугель. – И такой же гордости Антон Павлович требовал от всех. И добавлял: «Работать надо, все остальное – к черту. Главное надо быть справедливым, а остальное все само собой приложится». Вот такая была у Чехова «могучая воля» и твердый характер. И он, этот характер, выковывал сам: «Я призираю лень – говорил он – как презираю слабость и вялость душевных движений». А для этого и нужна была Антону Павловичу сила духа.

– Да, сила духа нужна всем – сказал я. – Вот, что считал главным в жизни человека Чехов: «Мое святое святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновенье, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи». И это чувствовал в Чехове и Максим Горький, который сказал ему с удивлением и радостью: «Вы, кажется, первый свободный и ничему не поклоняющийся человек, которого я видел».

– А вот Корней Чуковский видел кланяющихся не только людей, а и зверей – возразила Нина. – Ведь у страха глаза велики, что огромные звери могут бояться даже какую-нибудь мелкую букашку, которая сама-то всего боится

– Никак ты, Ниночка, упомянула о тараканах, которые любят бродить даже в голове – спросил я Нину, а она ответила:

– Да, – согласилась Нина. – Но даже хитроумный издатель Суворин не смог запугать гордого человека Чехова. А Корней Иванович написал нечто подобное в своем произведении «Тараканище». Если ты не возражаешь, я начну читать эту сказочку?

– Чего же тут спрашивать? – ответил вопросом на вопрос я и Нина сказала:

– Поехали...

– Что, что? – переспросил я, а Нина уже начала декламировать:

«Ехали медведи на велосипеде. А за ними кот задом наперед. А за ним комарики на воздушном шарике. А за ними раки, на хромой собаке. Волки на кобыле. Львы в автомобиле. Зайчики в трамвайчике. Жаба на метле... Едут и смеются, прыжки жуют.

– Вот это Чуковский, какой мелодичны ритм внес в начало сказки про таракана: Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота. Можно пуститься в пляс при таком зазывном ритме, но я делать это не буду, а продолжу сказку Корнея Ивановича:

– «Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый Та-ра-кан! Таракан, таракан, Тараканище! Он рычит, и кричит, и усами шевелит: «Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу! Проглочу, проглочу, не помилую!»

– Да-а-а-... – произнесла Нина – вот какой таракашка, мелкая букашка. Возомнила, что она проглотит с потрохами любого зверя, который окажется в пасти чудовища. Но, увы, Тараканище до смерти напугал зверей. У страха-то ведь глаза велики, а ты послушай какая поднялась паника после угрозы Тараканища.

– Я внимательно тебя слушаю – кивнул в знак согласия, а она стала декламировать:

– Звери задрожали, в обморок упали. Волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил. А слониха, вся дрожа, так и села на ежа. Только раки-забияки, не бояться бою-драки, хоть и пятятся назад, но усами шевелят. И крича великану

усатому: «Не кричи и не рычи. Мы ведь сами усачи, можем мы и сами шевелить усами!» И назад еще дальше попятнулись.

– Это надо же, все зверье напугал Тараканище! – произнес я. – Кроме Гиппопотама... И знаешь почему?

Нина пожала плечами, а я продолжил излагать свою версию:

– Бегемот животное огромных размеров, его просто так не проглотить даже великану-таракану. Да и на помощь зовут знаешь кого?

Не успела Нина что-то возразить, как я стал читать об какой мощной поддержке задумал Гиппопотам:

– И сказал Гиппопотам крокодилам и китам: «Кто злодея не боится и с чудовищем сразится, я тому богатырю двух лягушек подарю и еловую шишку пожалую...

– Помню, помню, Володя, – откликнулась Нина – ведь бегемот воодушевил всех зверушек и они ринулись в атаку на Тараканище:

– И веселою гурьбой звери кинулись в бой. Н, увидев усача (Ай-а-ай!), звери дали стрекоча (Ай-а-ай!). По лесам, по полям разбежались, тараканьих усов испугались. И вскричал Гиппопотам: «Что за стыд, что за срам! Эй, быки и носороги, выходите из берлоги и врага на рога поднимите-ка!»

– Но не тут-то было, каждый зверь боится за свою шкуру – пожал я плечами. – И вот, что пишет Чуковский:

– Но быки и носороги отвечают из берлоги: «Мы врага бы на рога бы, только шкура дорога. И рога нынче не дешевы».

– Да, Володя, вот такие шкурники ведь имеются везде – сказала Нина. – Вот они и трясутся за свою шкуру, а поэт пишет: «И сидят и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочки. Крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились. Только и слышно, как зубы стучат. Только и видно, как уши дрожат. А лихие обезьяны подхватили чемоданы и скорее со всех ног наутек. И акула увильнула, только хвостиком махнула. А за нею каракатица, так и катится, так и пятится.

Мне пришлось только вздохнуть:

– Во второй части этой сказки Корнея Чуковского Тараканище одержал победу: «Вот и стал Таракан победителем, и лесов, и полей повелителем. Покорился звери усатому (чтоб ему провалиться проклятому!) А он между ними похаживает, золоченое



брюхо поглаживает: «Принесите-ка мне, звери, ваших детушек. Я сегодня их за ужином скушаю».

– Какой же лицемер этот Тараканище – сказала Нина. – Он свое «золоченое» брюхо поглаживает, заранее собирается утробу ненасытную набить. Но ведь кошка-то скребет не свой хребет. Напакостит в комнате, а ее туда хозяйка носом натывает, чтобы в другой раз ей было неповадно. А пока звери скорбят о своих детушках: «Бедные, бедные звери! Воют, рыдают, режут. В каждой берлоге и в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка – медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы ненасытное чучело бедную крошку замучало. Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются».

Мне после обильных и горячих слез зверей осталось только подбодрить их:

– Но однажды по утру прискакало кенгуру, увидело усача, закричала с горяча: «Разве это великан? (Ха-ха-ха!) Это просто таракан! (Ха-ха-ха!) Таракан, таракан, таракашечка, жидконогая козявочка-букашечка. И не стыдно вам? Не обидно вам? Вы зубастые, вы – клыкастые, а малявочке поклонились, а козявочке поклонились. Испугались бегемоты, зашептали: «Что ты, что ты! Уходи-ка ты отсюда! Как бы не было здесь худа!»

– Да, – кивнула Нина, – куда уж хуже. Вот тебе и Тараканище. А вдруг... «Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей. Прыг да прыг, да чик-чирик, чики-рики-чик-чирик! Взял и клюнул Таракана – вот и нету великана. Поделом великому досталось и усов от него не осталось».

Вот тут-то и я принял от Нины эстафету:

– То-то рада, то-то рада вся звериная семья, прославляют, поздравляют удалого Воробья! Ослы ему славу по нотам поют, козлы бороною дорогу метут. Бараны, бараны стучат в барабаны! Сычи-трубачи трубят! Грачи с колончи кричат! Летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут. А слоних-щеголиха так отплясывала лихо, что румяная луна в небе задрожала и на бедного слона кубарем упала. Вот потом была забота – за луной нырять в болото и гвоздями к небесам приколачивать!

А Нина после моего восторженного выступления стала разбирать по косточкам финал Тараканища:

– Воробей, который только прыгать и умеет на двух ножках, серенький, маленький и пузатенький победил это чудо-юдо-Тараканища. А огромные киты, слоны и бегемоты струсили и, рыдая, готовы был отдать своих детишек в жертву обжоре Таракану. Но откуда не возьмись, из Австралии, прискакала кенгуру и посмеялась над могучими зверями, которые лили крокодильи слезы и тряслись как в лихорадке от страха. Зато с каким шиком поздравляли звери и птицы Победителя! Собрали славный оркестр. В солисты выбрали осла, который кроме «Иа –Иа» и сказать не может. Зато бараны стучали в барабаны, а сычи создали духовой оркестр. Зато летучие мыши под эту великолепную музыку на крыше плясали и платочками размахивали.

– Но эти празднества закончились Ниночка трагедией – сказал я. – Ведь произошла вселенская катастрофа. Слониха до того расплясалась, что «румяная луна в небе задрожала и на бедного слона кубарем упала». Кубарем, как ребятишки со снежной горки на пятой точке вниз катятся. Так скатилась с неба на нашу Землю – Луна. Пришлось ее обезьянам гвоздями к небу приколачивать. А я, Нина, до сих пор люблю смотреть на небо, наблюдать полнолуние. Замечательное впечатление остается от этого космического явления.

## Глава: Умелый рассказчик Владимир Короленко в кругу друзей

– Владимир Галактионович Короленко – сказала Нина, – когда-то в молодости служил корректором в газете «Новости». Эта газета принадлежала Котовичу и он издавал ее без предварительной цензуры. Как вдруг разнесся слух, что для газеты назначили цензора и он будет заранее просматривать весь материал, который готовили для «Новостей» журналисты. Не только просматривать, а и вычеркивать из статей все, что ему вздумается. Своя рука – владыка.

– Да, вот так начал свой путь в газете «Новости» будущий журналист и писатель Короленко – добавил я. – А Корней Чуковский, возмущенный таким беззаконием, решил встретить непрошеного гостя в штыки. А тут еще под вечер, когда уже стали на улице зажигать фонари, в редакции появился, не запылится угрюмый, приземистый, чиновничьего вида мужчина. Он снял при входе в редакцию картуз и, смяв его в кулаке, потребовал, чтобы ему выдали один из рассказов Лескова, посланных в газету «Новости». Все подумали, что вот он этот невзрачный мужичок и есть тот каверзный цензор, который собрался наложить лапу на целый цикл рассказов Лескова «Мелочи архиерейской жизни». А юный Короленко заартачился и сказал: «Не дам» «Как это не дашь?» – возмутился мужчина, а Владимир гнул свое: «скажу наборщику, и вы не получите никакого оттиска» «Почему? – спросил посетитель – на каком основании?» А Владимир быстро ответил: «Наша газета без цензуры» и пришелец захохотал, а потом выдал елеле из себя фразу: «Так я не цензор, а лесков». Эта комическая схватка и определила характер Владимира Галактионовича Короленко.

А Нина, подхватив этот казусный случай, продолжила говорить о нравах в «Новостях»:

– Этот Котович, как впрочем и другие издательства, не любили платить своим сотрудникам гонорары. Мол и так обойдутся. Но один из журналистов прислал Котовичу сердитое письмо: «Вы эксплуататор наук, кровосос. Из-за вашей жадности я живу в нищете. Дома у меня нет ни хлеба, ни дро....» А издателю, как ни странно, это письмо понравилось. И он, ловко изъясив из письма все лишнее, касавшееся Котовича, и тиснул в «Новостях» под сенти-

ментальным заголовком «Тяжелое положение провинциальных работников печати». А гонорар писарчуку так и не выслал.

– А я, Нина, вспомнил как однажды Короленко, когда зашла речь о свиреповавших смертных казнях, он подметил, что приговоренных к повешению страшила не сама казнь, а точная дата этой ужасной казни. И Владимир Галактионович рассказал одну интересную легенду: «Странствуя по Белорусской земле, зашел Иисус Христос к мужику переночевать. Он очень устал и хотел есть... Но у мужика не оказалось ни хлеба, ни щей. В избе же даже присесть негде: страшная грязь, паутина, печь развалилась, а крыша – сплошная дыра. Звезды на небе считать можно. Христос удивился: «почему ты не позаботился они о дровах, ни о пище?» мужичок же без всякого смущения ответил: «Ну, вот еще – стану я заботиться о таких пустяках. Ведь мне доподлинно известно, что сегодня вечером помру. Ровно в восемь часов...» Вот тут-то и понял Иисус Христос, что знание точной смерти вредит людям и тут же отменил этот вредный порядок. С той поры все стали охотнее жить и работать.

Нина же стала рассказывать еще одну байку Владимира Галактионовича про писателя Леонтьева-Щеглова:

– Этот писатель вообразил себя великим и стал печатать плохенькие статейки в газете о Гоголе. И вдруг получает письмо, в котором говорится, что у одного казанского сапожника есть подлинна рукопись Гоголя Николая Васильевича. У Щеглова голова закружилась. Он берет в редакции аванс и мчится в Казань. Сапожник заламывает цену в триста рублей за одну страничку. Показывает ее писателю, но в руки Щеглову не дает. У покупателя нет сомнения: это подлинная рукопись Гоголя! Его почерк, его стиль, его мысли! Писатель в восторге, умоляет его продать подешевле. Торг идет долго, но наконец сапожник сдается и продает страничку за сто рублей. Щеглов летит со своей драгоценностью к поезду и лишь в вагоне замечает: под рукописной страничкой напечатано мелким шрифтом: «Факсимиле Н.В.Гоголя». Оказывается, пройдоха-сапожник выдрал из сочинения Гоголя одну из вклеек, на которой дана фоторепродукция гоголевской рукописной странички. И этот снимок горе-исследователь принял за подлинник!

– А я вспомнил как Короленко посетил «Пенаты» Репина с Корнеем Чуковским – сказал я, – а Владимир Галактионович про-

читал всей честной компании отрывок из рассказа «Рене играет»: «Все списано мною с натуры. Переводчика так и звали Тюлин. Когда мой рассказ напечатали, я решил прочитать его Тюлину. Он слушал с удовольствием и не без слорадства припомнил, что дал мне самый ветхий и поганый челнок для переправы через реку. Тюлин выслушал меня и произнес дополнительную фразу: «Это он врет, били меня в другой раз, а не в этот». И тут Короленко спросил Корнея Чуковского при Репине: «Вы знаете украинский язык? А можете ли перевести вот такое заглавие пьесы «Як пурявых уговкують?». Корней Иванович замялся и стал расшифровывать эту фразу Владимира Галактионовича: «Говкать» – это значит баюкать. А пурявый – это такой, это такой...» Короленко торжествовал: «А пьеса-то известная, можно сказать – всемирно известная.» Пришлось Чуковскому признаваться в своем невежестве, зато Владимир Галактионович почувствовав себя триумфатором, заявил: «Переводится это так: «Укрощение строптивой» пьеса сами знаете Вильяма нашего Шекспира».

– Вот это Короленко! – воскликнула Нина. – Стреляный воробей и его на мякине не проведёшь. Но он и, став взрослым, никогда не выпячивал свою историю профессионального взлета. Короленко писал свои произведения не пером, а душой. И любил уходить от назойливых журналистов ловко и с выдумкой. Его соседские ребятишки весело посмеялись как «дядя Володя» маскировался от назойливых фоторепортеров. Только фотограф приготовится щелкнуть его, а он поднимет портфель, закроет им не только лицо, но и свою бороду. У бродячего фотографа аппарат тяжелый, старомодный, громоздкий. А Короленко под прикрытием своего портфеля юркнет в открытую калитку и был таков. А фотограф оставался ни с чем. Дело происходило в 1910 году, когда в России буйно расцветала желтая пресса. Известных писателей фотографировали в гамаке, в бильярдной или с бутылкой водки за столом. А под снимками были игриво-развязные, вульгарные подписи. Как-то под дождем, Владимир Короленко высунул из окошка своей дачи кудлатую голову и намыливал ее вместе с густой бородой. И с дождевыми каплями стекала на землю белоснежная пена. А детишки бегали мимо окна и пальцами показывали на «дядю Володю».

– Да, Ниночка, – продолжи ее тему и я – именно в Коуккале

он сумел защитить себя от всякой публичности. Даже соседние дачники не смогли его отличить от таких же кудлатых и борода-тых мужчин на соседних дачах. Но вскоре его имя стало почет-ным, а он в потертом пиджачке с огромным тяжелым портфелем, неторопливо шагал на станцию железной дороги, под восторжен-ные крики дачников, которые его боготворили и уважали, окружая почетом. Но уже на станции он сливался с толпой пассажиров, спешащих войти в вагон и поехать в Петербург. зато в вагоне раздавались крики: «Боже мой, ведь это же Короленко!» Так вот Короленко жил на даче у своих друзей. У публициста старика Николая Федоровича Анненского. Но как только появился на его даче Короленко, то три недели подряд в редковатом березняке стал околачиваться какой-то помятый блондин в мягкой, как он говорил, в артистической шляпе, от которой так и разило поли-цейским участком. И как радовалась соседская девочка Шурочка, когда этого пинкертона укусила под глазом оса. Все думали, что ему вмазал кулачищем «дядя Володя».

В разговор снова вмешалась и Нина:

– У Владимира Галактионовича была особая манера разгова-ривать. Он сначала терпеливо выслушивал собеседников, а потом его разговор никогда не дробился на мелкие вопросы. Его беседа с людьми сводилась к сюжетному повествованию или к расска-зу. Любимой формой речи был именно рассказ, просторный, сво-бодный, богатый интересными людьми и приключениями. Людей изображал умело, но перевоплощаться в них не собирался. Ни-когда Владимир Галактионович не воспроизводил физиономии, ни походок, ни жесток. Эта работа актеров, а не писателя. Он же был писателем и живописно рассказывал о людях. В его лексиконе часто фигурировали вот какие слова: обыски, ссылки, аресты, жандармы, железные решетки, сибирские этапы, урядники, кан-далы, часовые. Первый рассказ Короленко услышал Корней Чу-ковский и был он о «Капитале» Карла Маркса. Строгий смотре-тель тюрьмы, в которую был заключен Короленко, ни за что бы не пропустил эту крамольную книгу в тюрьму. Но помог Владимиру Галактионовичу один хитроумный арестант, сосед писателя. Он сказал тюремщику: «Капитал» – это пособие и руководство для тех, кто захотел стать капиталистом, чтобы разжиться денежками. Это полезнейшая книга, она учит как приобрести капитал». Эта

озорная интерпретация марксизма вполне удовлетворила надзирателя. И самая революционная книга на свете получила свободный доступ в камеры заключенных царской тюрьмы, куда не допускались даже книги-романы Тургенева.

А мне осталось только рассказать Нине за что же Короленко попал в тюрьму:

– Корней Чуковский, прочитав статью Владимира Галактионовича «Бытовое явление», разволновался. Короленко без пафоса говорил в статье, что палачи спокойно удушают на виселицах смертников и это стало будничной, повседневной, заурядной рутинной. Но Корнея Ивановича поразила другая фраза Короленко: «Читать про это тяжело. Писать, поверьте, во много раз тяжелее. И, не жалея себя, я вступаю в единоборство с ненавистным мне порядком вещей». А судьба свела Короленко и Николая Федоровича Анненского еще в 1880 году в вышневолоцкой тюрьме. Вот как вспоминал эту встречу Короленко: «В нашу камеру вошел с улыбкой и шуткой на устах человек, который мне показался симпатичным. Он был не только привлекательным, его окружила, как бы светящаяся и освященная атмосфера». И они потом стали вдвоем издавать «русское богатство». Но несмотря на многолетнюю дружбу у них не было никакой фамильярности. Говорили на «вы» и казались чересчур чопорными. И это был закал шестидесятых, семидесятых годов 19 века. То есть и были теми «шестидесятниками». Но в спорах Николай Федорович Анненский был горяч. Он считал, что после революции произойдет справедливое распределение крестьянских участков.

А Нина добавила:

– Жена Анненского, Александра Никитична, следовала за своим мужем, как декабристка, куда бы царские власти не сослали его. Смолоду и она была связана с революционным подпольем. И уже тогда завоевала себе почтенное звание – передовая писательница для детей и подростков. Написанные ею книги, а их количество было огромное, были проникнуты идеями эпохи, которая и сформировала ее духовную личность. Она нашла, что ее муж связан был с одним из самых свирепых фанатиков – Сергеем Нечаевым. Но Анна Никитична была знакома и с младшим братом своего мужа Иннокентием Анненским, который стал поэтом и ученым. А Анна относилась к нему с материнской заботливостью. Корней

Иванович писал, что Иннокентий уже в зрелом возрасте стеснялся Анны Никитичны, как школьник перед учительницей. Чуковский поместил в своей книге одно стихотворение Иннокентия, которое он посвятил своей сестре. Он так и назвал этот стих «Сестра»: «Вечер. Зеленая детская с низким потолком. Скучная книга немецкая, няня в очках и с чулком. Желтый, в дешевом издании, будто я вижу роман... Даже прочел бы название, если б не этот туман. Вы еще были Алиною, с розовой думой в очках, в платье с большой перелиною, с серым платком на плечах... В стул утопая коленями, взора я с вас не сводил, нежные, с тонкими венами, руки я нежно любил. Слов непонятных течение было мне музыкой сфер... Где ожила столкновения Ваших особенных «Р»... В медном подсвечнике сальная свечка у няни плывет. Милое тихо печальное, все это в сердце живет... «Вот так запомнил Иннокентий свое детство.

– Зато Короленко Владимир – добавил я – в последние дни с утра до вечера в Куоккале работал над статьей, которая волновала его: о бесчеловечности военных судов. Он знал, что в ближайший выходной к нему заедет знаменитый сосед Леонид Николаевич Андреев. Он был в то время на высоте славы: «Красный смех», «Черные маски» и «Царь-Голод», были у всех на устах. Незадолго перед этим у Леонида Андреева появился бьющий по нервам «Рассказ о семи повешенных», как протест против столыпинских виселиц. Короленко готовился к приему знаменитого гостя: испекли два пирога с капустой и яблоками. Но вместо него примчался к Короленко на финской тележке потный, растрепанный студент, который учил детей Андреева, и заявил: «У Леонида Николаевич разыгралась мигрень и визит откладывается». Не успел Владимир Галактионович выразить сожаление, как прилетел второй гонец: «Андрееву стало легче, и он постарается приехать к Короленко». И какая-то незнакомая пунцовая дама объявила: «Приехал, уже вышел из вагона... здесь... на станции». Анненский Николай Федорович, увидев, как Чуковский, нервничая, съел из вазы разноцветные карамельки, пошутил: «Вы скушали все «черные маски» и весь «Красный смех», а Леониду Андрееву оставили... «Царь-Голод!» Прекрасное угощение!». Короленко засмеялся от души. Он любил каламбуры, а так как они находились в Финляндии, то произнес остроумный каламбур: «Даже к финским скалам, бурым, обращаюсь с калом буром!» А Леонид



Андреев приехал хоть и больной, но томный и эффектно красивый, опоздав на пару с лишним часов...

– Хороший каламбур, Володя, ты произнес – одобрила мое выступление Нина, и продолжила сама нашу совместную тему:

– Однажды к Анненским зашел профессор Евгений Викторович Тарле. Он обладал сверхъестественной памятью. И Короленко давно интересовавшийся пугачевским восстанием задал Тарле вопрос об этом историческом эпизоде. Евгений Викторович наизусть читал письма и указы Екатерины Второй, отрывки из мемуаров Державина, фаворита императрицы и неизвестные архивные данные о Михельсоне, о Хлепуше и об яйцких казаках. Ответил Тарле подробно и о Наполеоне Третьем, легко шагнув из одного столетия в другое, будто участвовал сам в этих столетиях, в их событиях. Но и Тарле удивился знаниями Короленко. Они были не ниже знаний Тарле. Владимир Галактионович предложил гостю: «Вот напишите-ка вы историю Волги, хотя бы за четыреста последних лет. Это и будет история русских народных движений: тут и раскольники, и Стенька Разин, и Емельян Пугачев. А Николай Анненский высмеивал у Короленко стихи модернистов: «О, не дразни гиену подозреньем, мышей тоски, не то смотри, как леопарды мщенья острят клыки!» Зато Чуковский не понимал: почему нельзя любить в одно и тоже время модернистов и поэзию Лермонтова, Гейне, Некрасова и Блока. И Корней Чуковский с озорничал, написав на жидком потолке в спальне Николая Анненского: «Николай Федорович! Блок – замечательный русский поэт!» Когда же Короленко познакомился со знаменитым карикатуристом Ре-Ми, то он спросил: «Мы уже с вами встречались в поездке на Финляндской дороге?» И Ре-Ми признался покраснев, что желает нарисовать карикатурный портрет Короленко для «Сатирикона».

– Да, Нина, – продолжил я – Короленко думал, что Ре-Ми обыкновенный шпик, которые кишели в железнодорожном вагоне. Но карикатурный портрет Короленко был все-таки опубликован в «Сатириконе». Шарж был не обидный, а даже какой-то почтительный. Не зря же Ре-Ми пожирал глазами Владимира Галактионовича. Даже Репину понравился этот портрет Короленко. В 1912 году Короленко переселился в Питер. Его ближайшие сотрудники по журналу были арестованы и сидели в тюрьме. И работа свалилась на плечи Владимира Галактионовича. Из напечатанных

в журнале «крамольных» статей его привлекали несколько раз к суду. А три-четыре судебных процесса грозили заключением в Петропавловской крепости. Короленко ухаживал за больным Анненским. Расстилал тюфячок у кровати Николая Федоровича, чтобы вовремя дать лекарство, и с усмешкой говорил про себя: «Кто бы не пройдет – наступит». А тут еще не успев допить чашку чая, у Короленко в прихожей зазвонил телефон. Звонила какая-то женщина, получившая увечье работая за станком. Она подала в суд. Ей присудили шестьсот рублей, а адвокат, защищавший ее, содрал четыреста. Его жена Татьяна Алексеевна на телефонные звонки реагировала болезненно: «Звонки, звонки и так целый день» Эту фразу Корней Иванович хорошо запомнил. Как и другую фразу: «Что бы не случилось – беги к Короленко... Он поможет. А художник Репин, добываясь типичности, отмел случайные следы утомления и грусти. На портрете лицо Владимира Галактионовича бодрое, без тени уныния. Илья Ефимович изобразил его лицо оживленного рассказчика. И портрет сразу же зазвучал под гармонией красок. И Репин долго восхищался поведением Короленко: «Скромность невероятная и совсем для меня неожиданная».

А Нина сказал мне:

– Как ты считаешь, Володя, какое юмористическое произведение Корнея Чуковского мы читаем для наших будущих читателей?

Я тут же ответил:

– Нина, раз Короленко досаждали телефонные звонки и он каждому звонившему человеку отвечал, то для читателей подойдет замечательное стихотворение Корнея Чуковского «Телефон».

И я стал декламировать:

– У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да пудов этак пять или шесть: больше ему не съесть, он у меня еще маленький!

– Великолепное начало – восторженно произнесла Нина. – Заказ слона для своего маленького сынишки, который любит сладкий шоколад, уникален. Надо же умудриться и дать заказ для своего ребенка – слоненка пять-шесть пудов шоколада. И больше ничего не надо. Но я хочу продолжить нашу эстафету и прочитаю вслух тебе главу про крокодила.

– Что ж – согласился я, – про крокодила, так про крокодила: «По улице ходила большая крокодила, она, она, голодная была».

Нина прервала меня и добавила:

– Увидела Гаврилу и хватать его за рыло, она, она... Ладно начинаю читать тебе про крокодила: «А потом позвонил крокодил и со слезами просил: «Мой милый, хороший, пришли мне калоши. И мне, и жене, и Тотоше. Постой, не тебе ли на прошлой недели я выслал две пары отличных калош? Ах, те, что ты выслал на прошлой недели, мы давно уже съели и ждем не дождемся, когда ты пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких калош!»

Не успела Нина закончить про заказы крокодила, а я добавил:

– У крокодила появился мощный аппетит. Сначала они втроем с женой и сыном Тотошей слопали пару калош, а на следующий раз уже заказывают обжоры сразу в шесть раз больше – дюжину к ужину новых и сладких калош.

Нина усмехнулась и поправила меня:

– Не обжоры, Володя, а сластены.

Но я, не ответив на реплику Нины, стал читать про телефонные разговоры и просьбы зверей:

– А потом позвонили зайчатки: «Нельзя ли прислать перчатки?» А потом позвонили мартышки: «Пришлите, пожалуйста, книжки!» А потом позвонил медведь, да как начал реветь. «Погодите, медведь, не ревите, объясните, чего вы хотите?» Но он только «му», да «му». А к чему, почему, не пойму!» «Повесьте, пожалуйста, трубку!» А потом позвонили цапли: «Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись и у нас животы разболелись!» А потом позвонила свинья: «Нельзя ли прислать соловья? Мы сегодня вдвоем с соловьем чудесную песню споем». Нет, нет соловей не поет для свиней! Позови ка ты лучше ворону! И снова медведь: «О, спасите моржа! Вчера проглотил он морского ежа!»

Только я дочитал, как медведь пытается спасти моржа, который проглотил морского ежа, тут Нина стала комментировать мое изложение телефонного разговора:

– Сколько зверушек звонят на стол заказов: и зайчатки, и мартышки. Одним нужны перчатки, другим книжки. Мартышке для чтения нужны очки, но стесняется своего слабенького зрения и умолкает. А медведь-то так разволновался, что не может произ-

нести ни «ме», ни «бе», ни «кукареку», а только не рычит, а мычит, как корова. А свинья-то, которая умеет только хрюкать, собралась солировать песни с соловьем. Да не разрешил ей петь Корней Чуковский. Предложит хрюше похрюкать с вороной: «Кар-кар-кар!»

И тут же Нина продолжила читать стихотворение Корнея Ивановича «Телефон»:

– И такая дребедень целый день: «Дзин-ди-лень, дзин-ди-лень, то тюлень позвонит, то олень». А недавно две газели позвонили и запели: «Неужели в самом деле все сгорели карусели?» «Ах, в уме ли вы газели? Не сгорели карусели, и качели уцелели! Вы б газели не галдели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели-карусели!» Но не слушали газели и по-прежнему галдели: «Неужели в самом деле все качели погорели?» «Что за глупые газели!»

– А вчера поутру кенгуру: «Не это ли квартира Мойдодыра?» Я рассердился и как заору: «Нет, это чужая квартира!!!» А где Мойдодыр? Не могу вам сказать. Позвоните по номеру сто двадцать пять.

Только Нина перестала читать про проблемы телефониста, я сказал: «Надо же сколько звонков он выслушал, то тюлень позвонит, то олень. Зато газели довели человека из справочного бюро до белого коленья. Они туповато твердили, что карусели сгорели до тла! Но вывела из себя телефониста кенгуру. Она специально прискакала по утрам из Австралии, чтобы задать один лишь вопрос: «Не это ли квартира Мойдодыра?» Пришлось телефонисту соврать газелям, что они ошиблись номером телефона.

И мне осталось только продолжить рассказ о телефоне и телефонистке:

– Я три ночи не спал, я устал, мне бы заснуть, отдохнуть... Но только я лег – звонок: «Кто говорит? Носорог! Что такое? Беда, беда! Бегите быстрее сюда! В чем дело? Спасите! Кого? Бегемота! Наш бегемот провалился в болото! Да! И ни туда, ни сюда! О, если вы не придете, он утонет, утонет в болоте, умрет, пропадет Бегемот!!!» Ладно! Бегу! Бегу! Если смогу помогу! Ох, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота!»

А Нина сказала:

– Не пора ли нам, Володя, рассказать о судьбе Леонида Андреева? Вот так мы и перешли к следующей главе этой книги.

## Глава: Леонид Андреев

– Корней Чуковский рассказ о Леониде Андрееве начал с места и в карьер – сказала Нина. – Он любил все огромное: в огромном кабинете на огромном письменном столе стояла у него огромная чернильница. Но в ней не было ни капли чернил и напрасно Андреев совал свое огромное перо в чернильницу – чернила высохли и ни одной буквы Леонид Андреев так и не написал.

– Но почему же Андреев не мог налить чернил? – спросил я, а Нина продолжила:

– Он уже три месяца ничего не писал и не читал даже «Рулевого», хотя журнал для моряков уже давно лежал на столе. И манил он его шикарной обложкой, где была изображена яхта, на которой были паруса, бромселя, якоря... А он ходил по своему кабинету своей морской походкой. Папиросы не признавал, а курил трубку, как все моряки. Шея была по-морски открыта, лицо – загорелое, а на стене, на гвозде, висел морской бинокль, чтобы потом на корабле увидеть из него морскую даль.

– А утром наконец-то на баркасе «Хамо-идол» – продолжил я – Андреев с друзьями отправился в море. На его голове была одета кожаная рыбацья шапка, а на ногах – высокие непромокаемые сапоги, совсем как у киношных морских пиратов. Если бы у него в руках был бы и гарпун, то он выглядел бы китобоем из книг Джека Лондона. Целая полоса жизни Леонида Андреева была все же окрашена любовью к графоманам, которая переходила в буйную страсть. И эта страсть переходила в болезнь «графомания». Но вскоре все-таки излечился от этой «болезни». Камин же в его кабинете был величиной с воротами в Зимний сад, а потом он принес чертеж какого-то грандиозного здания. И, когда Леонида спросили, что это за дом, он с обидой в голосе буркнул: «Это не дом, а будущий мой стол». Ему не нужен был обыкновенный стол, а огромный многоэтажный столик!

Тут пришлось и мне рассказать о гигантомании Леонида Николаевича:

– Зимняя жизнь в финской деревне была убогой, неудобной, как будто жизнь в этой деревушке замерла. Зато по ночам воют волки. Бароны бы жизни такой не выдержали бы. Тенистые деревья, которые посадил осенью Андреев, чтобы по весне они стали

цветущим садом, а может быть и парком, за зиму вымерзли. И вместо сада – пустырь, как был пустырем, им и остался. Но когда Андреев садился за письменный стол, то работал до изнеможения. Бывало месяцы не пишет, а потом с необычайной скоростью, с чрезмерной скоростью продиктует за несколько ночей огромную трагедию или повесть. Шагая по ковру диктует четко, декламируя под музыку и ритму пишущей машинки. А сам в душе полыхал словно на пожаре. Когда он писал «Сашку Жигулёва», то в голосе Андреева слышались залихватские волжские нотки. Казалось диктует не один Леонид Николаевича, а много-много Андреевых. Но когда он был охвачен новой темой, каждая ничтожная мелочь привлекалась в круг этой темы. Однажды он заплатил извозчику один рубль, а тот обиделся: «Мне нужен рубль». Тогда Андреев добавил еще полтинник и через несколько дней в «Повести о семи повешенных» появился мутноглазый Янсон упрямо повторяющий: «Меня не надо вешать... Меня не надо вешать...» Этот эпизодик с извозчиком превратился у писателя в центральное место эффектно патетической повести.

А тут, после этой реплики, Нина сказала:

Андрееву попалась заметка в газете «Одесские новости», где известный летчик Уточкин рассказывал про свой полет: «При закате солнца наша тюрьма кажется мне прекрасной». Такое любование «нашей тюрьмой» поразило Леонида Николаевича. И он в повести «Мои записки» о человеке, полюбившем тюрьму, закончил теми же словами Уточкина: «При закате солнца наша тюрьма необыкновенно прекрасна!» Корней Иванович с Леонидом Андреевым лет пятнадцать встречались и вели переписку. Я приведу выдержки из этих писем. Начну вот с этой: «Ваша статья грешит лишь одним: вы слишком преувеличиваете мои достоинства. Наверное, это серьезно и искренне. Верно, что я философ, но скорее всего, бессознательный. Мне не важно о ком я пишу. И мне не важно кто герой рассказа: поп, чиновник, добряк или скотина. В рассказе «Кусака» героиней является собака. Так, как и животное имеет свою душу. Все живое страдает великим безличием и сопротивляется перед грозными силами жизни.

Тут и я вступил в разговор:

– Леонид Андреев написал господину Чуковскому по поводу, как показалось Андрееву, о странном отзыве Корнея Ивановича о

стихотворении Скитальца «Памяти Чехова». Пусть есть недостатки в этом стихе, но написано с такой любовью к Чехову, так искренне и сердечно, что приравнять его к «вагону с устрицами». И Скиталиц мог бы вам ответить словами татарина: «Что? Ты бьешься? ты думаешь, что ты меня ударил? Ты вон кого ударил!» «Вы бы лучше обратили внимание, как в Одесских повестях писалось безграмотным Сигом и его журналистами о Чехове с такой пошлостью и развязанностью, которой так боялся покойный А ведь он классик! Но все же Андреев и сам понимал слабость Скитальца и смаковал пародию на этого автора, которая начиналась вот так: «Мне вместо головы дала природа молот. А потом вместе с Максимом Горьким сочинили язвительную пародию на Скитальца: «Казбеком вам в голу брошу, низвергнув на вас Арарт!» И все же, когда Андреев переехал в Петербург, то Чуковский часто бывал в доме Леонида Николаевича на Каменноостровском проспекте.

– Да – вступила в разговор Нина – очень сложные были отношения у Чуковского с Андреевым. Когда Леонид Николаевич опубликовали свой «Царь-Голод», то Корней Иванович написал, что эта трагедия написана «помелом и шваброй». А Андреев с иронией ответил Чуковскому:

– Что помело, то помело и даже швабра... Это верно. Хорошо, что вы поняли эту вещь...» Но уже в четверг 28-го «Царь-Голод» поступил в продажу и выслал Корнею Ивановичу один «голодный» экземпляр и подписал его: «Хотелось бы поговорить с Вами. Я крайне заинтересован вашим взглядом на книгу, таким неожиданным и своеобразным и по существу – верным». Потом Чуковский отправился в море на баркасе «Хамо-идол» и изложил свой сюжет пьесы «Океан». На это Корней Иванович выразился о ней резко и жестко: «Шарманщик, перемени валик!», а Андреев ответил ему: «Устрицы и океан» опечалили меня. Неумно говорите. Представили меня в виде какого-то равнодушного субъекта. Эйфелеву башню вы мерили в длину и ширину, лизали языком, нюхали, отковыривали кусочки краски, не догадываясь, что нужно изменить высоту этой грандиозной башни. Весь ее интерес не в запахе, а в высоте.» Говорил Андреев Чуковскому еще более резкие реплики: «Откуда вы взяли, что уличная толпа жаждет героя? Это – вздор! Ведь и Калигула вводил в сенат коня, но и от этого конь не стал сенатором. И ни один совсем не выдающийся римлянин не говорил кучеру

«запряги сенатора», а «запряги лошадь».

– Но, Ниночка, – сказал я – Ведь после размолвки при первой же встрече Леонид Андреев взял многие его обвинения в адрес Чуковского назад и не осталось ни тени обиды. Они объяснились и ни одной обиды не осталось. И вот, что говорит Андреев Корнею Ивановичу: «Присылаю предисловие к стихам Вознесенского. Я отнюдь не скромничаю и не кокетничаю. Отнеситесь к моей просьбе доброжелательно. Возможно и Вознесенскому не понравится мое предисловие, но это уже его дело. А вас поздравляю с успехом лекции о футуристах, что и следовало ожидать – сказано вами чудесно! Любопытно, что в России уже многие верят в футуризм. Ведь «футурум» – это переводится, как будущее, а религия создается не теорией, она создается людьми. Кто-то верит в желтую блузу Бурмана и тайно исповедуют раскрашенную физиономию Ларионова. Сия тайна велика есть. Это было в 1913 году, а весной 1914 года Леонид Николаевич уехал с семьей в Рим. А свою квартиру на время отъезда за границу оставил на попечение Корнея Чуковского. О незлобности Андреева свидетельствует его доброжелательный жест с квартирой. Да и новая книга одним названием притягивает читателя: «Тот, кто получает прощение» Значит Леонид считал, что ему будут долго не прощать его экстравагантность.

А Нина продолжила наш разговор:

– В Риме Леонид Николаевич много работал, и вот что он пишет Чуковскому: «Хотел вам написать большое письмо, но пальцы не работают. Уже более двух недель стучу до изнеможение, выстукивая новую пьесу. Начал уже разгораться и тороплюсь.» Корней Иванович сказал про его вдохновение: «Он был полон желанья жизни». И спрашивает совет у Чуковского: «У вас с Сытиным хорошие отношения? Это любопытно. А за редакторство требуйте с него виллу под Москвой и сто тысяч гонорара. А то решит, что у Вас нет редакторского таланта. Постановкой же «Мысли» я очень доволен, оказался же прав в своих мыслях о театре и опыте новой драмы. Театр интересен, но может быть, и обреченный зверь: как от тигра появятся новые кошки, так и от театра может остаться какое-нибудь вредное домашнее животное. Но уже какой-то был красивый зверь.» Письмо Андреева так и дышит его нервным подъемом. А издатель Сытин, как прогнозировал Леонид Николаевич, пригласил Чуковского редактировать в его литературной газете «Русское слово». А



Андреев знал, что Сытин уважает тех писателей, которые требуют сразу огромных гонораров. Так же действовал Влас Дорошевич, которого Андреев называл «герцогом». И герцог стал главным редактором «Русского слова».

После разговора Нины, стал рассказывать о творчестве Леонида Андреева и его дружбы с Корнеем Чуковским уже я:

– Корней Иванович даже в самые счастливые периоды биографии Леонида Николаевича почему-то жалел писателя особенно во время первой мировой войны. Он жил отшельником в полном отрыве от грозной действительности. Питался с утра до ночи «желтой», уропатриотической прессой, но был слеп ко всему, что происходило вокруг него. Он производил впечатление ребенка, заблудившегося в дремучем лесу, прикованный на чужбине Великого Рима. Миражи какого-то фантастического мира затмили его. Но и Корней Чуковский признавался, что он прошел через эти иллюзии. Но в тот период отрезвила меня, а он отстаивал свои ребяческие, наивные впечатления. Этим и воспользовались прожженные жулики, которые кишели в Петрограде. Они втянули его в круговорот своих грязных афер: основали какую-то темную, грязную ежедневную газету с мрачной политической программой. А Леонид Андреев был убежден, что слухи о «темных делишках» - клевета. Чуковский попытался найти контакт с Андреевым и заглянул к нему в квартиру на Мойке. Леонид Николаевич лежал на кушетке. Только Корней Иванович произнес его имя и сказал «я не могу», он с какой –то укоризненной грустью посмотрел на Корнея Ивановича и, не сказав ни слова, отвернулся лицом к стене. Произошел разрыв отношений. Эта встреча оказалась последней. В сентябре 1919 года в одну из комнат «Всемирной литературы» вошел Горький, сутулясь сильнее обычного и глуховатым голосом сказал, что из Финляндии ему сообщили о смерти Леонида Андреева. Горький, не справившись со слезами, умолк. Потом развернулся и пошел к выходу, а потом повернувшись с удивлением произнес: «Как ни странно, а это был мой единственный друг. Единственный...» А потом обратился к Блоку: «Вы же знали его? Напишите о нем. Да и вы все напишите, о чем вспомните... И я напишу... Непременно!» Желание Горького было исполнено.

После моего рассказа Нина грустно вздохнув, сказала:

– Леонид Андреев запутался в политических сетях. И не сумел

выпутаться даже когда снял с себя розовые очки.

– Эта путаница у него появилась неспроста – заявил я и продолжил: «А не прочитать нам с тобой одно произведение Корнея Ивановича, которое тоже называется «Путаница»

– Хорошо, Володя, – сказала Нина. – Как раз эта сказка Чуковского как раз и подойдет к запутанной жизни Леонида Николаевича Андреева.

– Раз подойдет – согласился я, – то и начну ее «Путаницу» декламировать:

– Замяукали котята: «Надоело нам мяукать! Мы хотим, как поросята, хрюкать!» А за ними и утята: «Не желаем больше кричать! Мы хотим, как лягушата квакать!» Свинки замяукали: «Мяу! мяу!» Кошечки захрюкали: «Хрю, хрю, хрю!» Уточки заквкали: «Ква, ква, ква!» Курочки закрякали: «Кря, кря, кря!» Воробушек прискакал и коровой замычал: «Му-у-у-у!» Прибежал медведь и давай реветь: «Ку-ка-ре-ку!»

– Тут я перевел дыхание и решил рассказать об этой путанице, когда котята решили похрюкать, а утята стали как лягушки квакать. зато хрюшки стали мяукать, а кошечки захрюкали. А воробушек даже замычал как корова.

Но Нина меня приостановила:

– Ты знаешь, Володя, про песню под Новый год, когда зайчишка серенький под елочкой скакал, а Мороз ее снежком укутывал, чтобы елочка не замерзла?

Я кивнул и спросил:

– А причем тут Новый год?

– Да – сказал Нина, – Мороз тут не причем, но зайчышка-паинька у Корнея Ивановича самым умным из всех взбесившихся зверей оказался. Он стал вразумлять зверушек: «Только зайчышка был паинька: не мяукал и не хрюкал – под капустою лежал, по заячьи лопотал и зверушек неразумных уговаривал: «Кому велено чирикать – не мурлыкайте! Кому велено мурлыкать – не чирикайте! Не бывать вороне коровою. Не летать лягушкам под облаком.

– И что же, – спросил я Нину, – неужели эти хулиганистые зверушки согласились с зайчиком?

– Ты, Володя, не хитри! – погрозила мне пальчиком Нина. – Ты и сам сейчас же должен продолжить «Путаницу».

И я стал читать:

– Но веселые зверята – поросята, медвежата, пуще прежнего шалят – зайца слушать не хотят. Рыбы по полу гуляют, жабы по небу летают, мыши кошку – изловили в мышеловку посадили. А лисички взяли спички к морю синему пришли море синее зажгли. Море пламенем горит, выбежал из моря кит: «Эй, пожарные, бегите! Помогите, помогите!»

Тут я перевел дыхание и стал комментировать происходящее в «Путанице».

– Представляешь, Нина, что произошло? Если звери сначала баловались: кто чирикал, кто-то мяукал, подражая голосу других зверушек, а тут-то звери, рыбы, птицы и прочее, прочее, прочее. Стали хулиганить: взяли мыши кота за хвост и посадили его в тюрьму-мышеловку. Пусть не ловит мышей, а сидит взаперти. А тут еще и лисички-сестрички провели террористический акт: подошли они к синему морю, а оно же горючее и запылала-заполыхала поверхность моря. Да, к тому же, огонь по поверхности морской поджарил спину кита, который подплыл к берегу морскому. здорово описал Корней Чуковский глобальную катастрофу.

Нина после моего выступления сказала:

– Пожарные пришли на помощь киту и другим водоплавающим. А возглавил пожарную команду земноводное животное – крокодил. И он-то и сколотил команду для пожаротушения:

– Долго, долго крокодил море синее тушил пирогами, и блинами, и сушеными грибами. Прибегали два курчонка, поливали из бочонка. Приплывали два ерша – поливали из ковша. Прибегали лягушата – поливали из ушата. Тушат, тушат, не потушат, заливают – не зальют.

Нина перевела дыхание, а я подхватил эстафету и продолжил:

– Тут бабочка прилетела, крылышками помахала, стало море потухать – и потухло! Вот обрадовались звери! засмеялись и запели, ушками захлопали, ножками затопали. гуси начали опять по гусиному кричать: га-га-га! Кошки замурлыкали: мур-мур-мур! Птицы зачирикали: чи-чирик! Лошади заржали: И-и-! Мухи жажужжали: ж-ж-ж! Лягушата квакают: ква-ква-ква! Поросята хрюкают: хрю-хрю-хрю! Мурочку баюкают милую мою: Баюшки-баю!

А мне пришлось только констатировать: вот какую чудесную, мифологическую сказу придумал Корней Иванович для своей любимой мурочки.

## Глава: Куприн

Корней Чуковский познакомился с Александром Куприным где-то в конце 1905 года. Он удивился, как легко сходится Александр Иванович с необыкновенным умением с людьми, которые обладают разными профессиями и характерами: с шахтерами, мастеровыми, с шулерами, карманниками, фальшивомонетчиками, взломщиками несгораемых касс, укорителями тигров и львов.

Но Корнею Ивановичу хотелось расспросить Куприна: сможет ли Александр Иванович написать рассказ для журнала «Сигнал», в котором и работал Чуковский. Но поговорить с Куприным ему никак не удавалось. К нему нагрянули какие-то незнакомые люди и увлекли Александра Ивановича к новым приключениям и подвигам.

– Да, Володя, – сказала Нина, – уж приключение и подвиги Куприн совершал в любое время дня и ночи. Но Чуковскому позарез был нужен Александр Иванович. Вот Корней и направился к нему спозаранку. но в прихожей Чуковского остановил верный оруженосец Мапыч. Он был рослый, молчаливый, насупленный мужчина, который неотступно сопровождал Куприна по всем путям и перепутьям.

– А про этого оруженосца – добавил я, – сам Куприн написал басню, в которой бала такая строчка: «Когда увидишь Мапыча – дай стрекача!» Но с Куприным и утром не удалось переговорить. Началось кружение по городу пешком. Куприн был отличным пешеходом и рыскал по улицам за новыми впечатлениями. Корнею Ивановичу пришлось побывать на митингах торговце, на съезде каких-то сектантов и даже в психиатрическую больницу заглянул к доктору Прусику. Он с глазу на глаз с доктором поговорил о лунатиках. Вот такой любопытный был Куприн.

– Да! – улыбнулась Нина и продолжила мой рассказ. – Когда Чуковский спрашивал напоминая Куприну: «А как же ваш рассказ?» Александр Иванович только многозначительно улыбался и продолжал играть в молчанку. Хотя он и был компанейским человеком, но тянул резину, увлекая за собой Корнея Ивановича. На Васильевском острове к Куприну присоединился художник Петя Троянский. Петр был добрым малым, но горьким пьяницей ил, как сказал Александр Иванович «Пьянчуга». Но и этот «пьянчуга» сотрудничал с редактором «Сигнала» Корнеем Ивановичем. И эти два «джентльмена»

очутились за столиком ресторана «Золотой якорь», знаменитого кабачка художников Петербурга. И когда уже Чуковский потерял надежду, что Куприн выполнит обещание и напишет рассказ для «Сигнала», Александр Иванович сказал: «наименование рассказа – «Тост». Раз обещал, то свое слово я держу. зато вы столько узнали о питерских «знаменитостях». так давайте и поднимем тост за мой новый рассказ «Тост». Звон бокалов прозвучал как салют.

– Корней Иванович обрадовался, хотел уйти – продолжил я, – но тут-то было... Куприн уговорил Чуковского, вот какой талант был у знаменитого писателя, отправиться к какой-то сумасбродной англичанке, которая приехала в Россию, но ни слова не знает по-русски. необходим переводчик, а значит к англичанке нужно пойти вместе. Англичанка оказалась румяная, дородная, пышная и совсем не похожая на высокопарную англичанку. Корней стал переводить эту даму, ее сумбурные речи были белибердой. Но вдруг она прыснула смехом в кулачок и убежала в соседнюю комнату. Вот так Чуковский стал жертвой «розыгрыша». Эта дама оказалась русской женой моряка и могла прекрасно говорить на английском языке.

А Нина уже продолжила:

– Корней Иванович обиделся и перестал общаться с Куприным. Но Александр Иванович прислал ему письмо: «Милый Чуковский! Это уже свинство. Из-за того, что я «передержал» шутку, в чем я извиняюсь, Вы не заходите ко мне. Мария Карловна и я уже соскучились. Если у Вас нет времени зайти, то напишите, что не сердитесь. Душою ваш автор «Поединка» А.Куприн». Разумеется, Мария Карловна, выросшая в высококультурной среде, привила ему учтивые манеры. К тому же Александр Иванович очень нежно относился к своей жене. Но он очень любил озорство и мальчишеские проделки и дурачество всякое.

– А я вспомнил, как Куприн водил за нос доверчивых людей и сказал Нине:

– Он ни с того, ни с сего, объявил себя гипнотизером и медиумом. И на квартире писателя Свицкого решил устроить сеанс «астрально-спиритический». Он говорил: «Мне ничего не стоит вызвать любого покойника: Наполеона, Екатерину Вторую, Тургенева, Марию Стюарт. Даже министра Плева, недавно убитого бомбой эсера. Можно задавать душам покойным любые вопросы». Куприн

так развернул эту затею, что ножки стола отстукивали для зрителей азбукой «Морзе»: да или нет, а иные обитателями загробного мира отвечали четко голосом.

Тут и Нина решила меня поддержать:

– Да подобным забавам Куприн предавался с особым аппетитом. К нему в Одессе подошел репортер и спросил: «Где и когда я смогу проинтервьюировать вас?» «Ответил Александр Иванович мгновенно: «Приходите сегодня в центральные бани в пол седьмого». Потеха продолжалась: они отхлестали лежа голышом на полке вениками друг друга. А его приятель спросил Куприна: «Как тебе могла прийти такая дикая мысль?» Куприн засмеялся: «Почему же дикая? Ведь у репортера были ужасно грязные, засоленные волосы, ногти и уши. Поэтому я и решил смыть с него грязь и копать в бане!»

Мы с Ниной посмеялись и уже я стал рассказывать очередную байку про Куприна:

– Куприн, приехав в Балаклаву послал царю Николаю Второму верноподданническую телеграмму, который в это время был на отдыхе в Крыму. Он ходатайствовал, чтобы царь предоставил рыбацкому поселку Балоклаве права и привилегии вольного города. Вполне возможно, что Александр Иванович сам выдумал эту легенду. А тем не менее по Одессе гуляла развеселая песенка: «Шаланды полные кефали в Одессу Костя приводил. И все биндюжники вставали, когда в пивную он входил. Я вам не скажу за всю Одессу – вся Одесса очень велика, но и Молдованка и Пересы уважали Костю-моряка!»

А Нина подхватила мой мотив:

– Рыбачка Соня, как то в мае, причалив к берегу баркас. Она сказала: «Я вас знаю!» А я вас вижу в первый раз!» Бульвар черемухой покрылся, каштан весенний весь в цвету... Наш Костя кажется влюбился! – кричали грузчики в порту...

И тут я не выдержал и перебил Нину, а сам стал рассказывать о Куприне:

– Ты знаешь, Нина, а Александр Иванович и в самом деле был внешне очень похож на здоровенного грузчика: коренастый, широкоплечий, с бычьей шеей, легко поднимал одной рукой за переднюю ножку стол. Ни один пиджак не подходил к его мускулистой фигуре. В пиджаке он был похож на кузнеца, который вырядился по случаю праздника. Когда Чуковский заходил к Куприну, то стеснялся: его

визави приобрел всероссийскую славу. Но Александр Иванович оказался простым в общении человеком. Он потребовал у Корнея: «Ну-ка возьмите перо и пишите, о чем угодно. Вон что Минаев написал про Буренина: «По Невскому бежит собака, за ней Буренин, тих и мил... Городовой, смотри, однако, чтобы он ее не укусил».

Нина улыбнулась и продолжила рассказ:

– Мария Карловна, когда Куприн забросил недописанный «Поединок» предъявила мужу ультиматум: «Пока ты не закончил рукопись, я тебе не жена! Давай разведемся...» И Александр Иванович стал как школьник писать главы и приносить «своей учительнице», чтобы он получил оценку. И, дописав «Поединок», Куприн потом на каждом углу стал рассказывать картинно с множеством подробностей, какую роль сыграла в издании «Поединка» Мария Карловна и добавлял: «С влюбленными мужчинами иначе нельзя...» Да и рассказ «тост», что обещал написать он Чуковскому, тоже вышел в свет. В фантастической новелле все казалось наивным в далеком 2906 году. Но мы уже шагнули в 21 век и уже имеет электромагнитную катушку и приборы, которые похожи на современные телевизоры.

– Да, Нина, – сказал я – фантазия, фантазией, но в 1905 году «Поединок» Куприна прозвучал как набат. А чуть позже выстрелил и его рассказ «Тамаридзе». Подлил масла в огонь и адмирал Чухнин, разбомбивший в Севастопольской бухте крейсер «Очаков». Он с идиотской жестокостью на глазах у всего города сжег живьем несколько сот матросов. Про этот костер Курин написал в газете. Его изгнали из Крыма и завели уголовное дело. Перед отъездом в Петербург Александр Иванович спрятал десять матросов, чудом спасшихся из горящего «Очакова». Дружил Куприн и с Анатолием Дуровым, знаменитым укротителем львов и тигров. И Дуров использовал фамилию писателя у себя в афише: «Сам Куприн-писатель с нами был приятель!» Изучал Александр Иванович обитателей «ямы» в Кузнечном переулке, где неподалеку жил Достоевский, а скиталец написал о нем: «А Куприн! Будь дружен с лирой и к тому не «циркулируй» Зато обыватели глумились над талантливым писателем: «если истина в вине, то сколько истин в Куприне!»

– Володя, – сказала Нина, – ты строчишь как из пулемета. Дай-ка и мне рассказать о Куприне. Корней Чуковский запомнил двух Куприных: один отравленный вином и опустившийся, а дру-

гой – бедный, неутомимый, шагающий по гатчинскому весеннему саду. И однажды в гатчинский сад Александра Ивановича въехал уральский казак на своем норовистом коне. А поэт Саша Черный написал: «Сухой и горбоносый, хорош казацкий конь! Зрачки чуть-чуть раскосы, не подходи, не тронь». Все глядели на казачьего коня издали с опаской. А вот Куприн, уверенный и спокойный и... Саша Черный написал, как повел себя Александр Иванович: «Погладил темя, пощекотал чело, и вдруг привстал на стремя, упруго влип в седло... Всем телом навалился, поводья в горсть собрал. Конь буйным чертом взвился. Да, видно, опоздал! Не рысь, а серенаде, а гости из окна хвалили дружной бандой посадку Куприна». Дальше Саша Черный называет Александра Ивановича могучим «приземистым» дубом. Любил читать стихи Саши Черного и Маяковский: «Скрепив хребет, галантный дирижер, талантливо гребет обеими руками.» Видимо Владимир Владимирович чувствовал и свой ритм в стихах Саши Черного.

– Да, Нина, – кивнул я. – Куприн оценил стихи Саши по достоинству. И любил декламировать вот это: «Губернатор едет к тете, нежны кремовые брюки, пристяжная на отлете, вытанцовывает штуки». Но не только всякие штучки вытанцовывала пристяжная лошадь. Любил и Владимир Маяковский цитировать стихи Черного про умелого дирижера: «Склонив хребет, галантный дирижер талантливо гребет обеими руками». Динамика необыкновенная: согнув спину дирижер обеими руками: в одной дирижерская палочка, а другая взмахивает кистью, заставляет весь оркестр творить симфоническую музыку. Но мало было кому известно, что и сам Куприн мог излагать свои мысли не только в великолепной прозе, но и в стихах. В первые же недели Первой мировой войны 1914 года Александр Иванович перевел «Дворцовую легенду Гейне: «Есть в Берлине в замке старом группа в мраморе одна: говорят, что эта дама забрюхатела и вот возвеличился из срама королевский прусский ряд. Чистокровный прародитель оказался молодцом – каждый прусский повелитель так и смотрит жеребцом. Речи их текут из стойла, смех их, ржанье, мыслей – нет. Вся их жизнь – жранье и поило, человека вымер след».

И Нина тут же прокомментировала поэзию Куприна и Гейне:

– Ладно Куприн, который недолюбливал прусских надменных вояк, которые умеют жрать и то, что рифмуется с этим словом. Но



ведь Гейне – лирик по своей сути. Видимо и его допекли постоянные войны. Он, чтобы прусская цензура пропустила этот памфлет на Гогенцеллеров в печать в «Романская сага». Действия же перенес из Берлина в Турин, а прусских королей назвал сардинскими. Но перевод Куприн сделал сразу с началом войны 1 сентября 1914 года в один присест. И если Александр Иванович садился за письменный стол, то писал быстро, без всякой натуги тонким, легким, стремительным почерком в любом месте...

– Как это в любом месте? – спросил я, а Нина продолжила:

– Куприн мог писать в любой обстановке: примостившись у вагонного окна или на уголке трактирного стола, не обращая внимание на любителей выпить. Но эта легкость досталась Александру Ивановичу совсем нелегко. Он прошел многотрудную школу газетной подёнщины. Писал статьи, заметки в любой газете, которой нужны были разные и хлесткие материалы. Но были и ляпсусы, притом дикие. Однажды Корней Чуковский спросил своего товарища: «С каких же пор у нас голуби стали зубастыми?» «Не понял? – удивился Куприн, а Корней Иванович пояснил: «У вас голубь несет госпоже Петерсон в зубах!» Куприн рассмеялся: «Не может быть!» Чуковский протянул книгу для проверки и оказалось, что в знаменитой повести Александра Ивановича голубь и правда оказался зубастым. А Куприн захохотал: «Случается же такая ерунда, но ведь в редакции никто и не заметил». А потом Куприн признался: «Я в одну газету написал, что сосна затрепетала листочками. И никто на это не обратил внимание» и добавил: «Для «Петербургской газеты» я не очень-то и старался обдумывать про сосновые или еловые листочки. Зато «Русское богатство» никогда бы не допустила такого ляпа!

– Но с Горьким у Куприна были сложные отношения – продолжил я монолог Нины. – На заседании Союза писателей художественного слова Корней Чуковский тогда прихворнул, и все писатели собрались на его квартире в Петрограде на Кирочной. Когда вошел Горький Александр Иванович сказал ему: «А вы молодец, а мне уже сорок девять лет». Но Алексей Максимович парировал: «А мне пятьдесят». Куприн же сделал комплимент: «А на голове ни одного седого волоса!» Пришла на заседание Александр блок и Мережковский. Они враждовали друг с другом из-за поэмы Блока «Двенадцать». Появился и Николай Гумилев. После заседания Куприн обратился к Горькому похлопотать о пожилой

писательнице, которая заболела. Горький хоть и спешил куда-то, но чужую беду всегда сердечно воспринимал и сказал коротко: «Постараюсь помочь...» Когда помощь была оказана и женщина пришла поблагодарить Куприна, то он потом сказал: «Как хорошо пахнут женщины: горькой полынью, ромашками, сухими васильками и – ладаном...» Но осенью 1919 года Александр Иванович совершил огромную ошибку: перешел советскую границу и стал эмигрантом. На восемнадцать лет он оторвался от своей Родины, растратив свой огромный талант писателя ин чужбине.

– Да, – согласилась со мной Нина и стала рассказывать про Куприна и другого эмигранта Бунина. – Бунин случайно встретился в Париже с Куприным и ахнул: «От прежнего писателя и следа не осталось. Он был бравым и крепким, а мимо плелся какой-то худенький, слабенький человечек, которого первым же порывом ветра сдует с мостовой и покатит по газонам как перекасти-поле. Он не сразу узнал Бунина, но потом обнял его с такой трогательной нежностью, с такой грустной крепостью, что у Бунина на глазах навернулись слезы от горькой, безысходной бедности Куприна. И вот, что писал Александр Иванович одному своему другу из Парижа: «Сейчас у меня дела рогожные. Ах, если бы вы знали какой это тяжкий труд и унижение и какая горечь писать ради хлеба насущного, пары штанов и пачки папирос. Все, все дорожает, а писательский труд – дешевет. И не по дням, а по часам. Зато 48 дней стоят холода, как за полярным кругом. Чтобы посмотреть на каменный уголь взимают 40 сантимов, а подержать в руке – франк, то лизнуть 50 сантимов. Ужас!» А сестре Куприн писал: «Эмигрантская жизнь в конец изжевала меня и приплюснула мой дух к земле». В 1937 году Куприн вернулся на Родину изнеможенный, хилый, что его не узнавали даже его знакомые: подслеповатый человек с тонкой шеей, а цвет лица – изжелто-бледный. Замечательный художник, мастер меткого и емкого слова достойный ученик Льва Толстого и Чехова, автор «Свадьбы», «Поединка», «реки жизни» «Гамбринусе» после возвращения на Родину стал для советских людей одним из любимейших писателей. Вот так подвел итог карьеры Александра Ивановича Куприна Корней Иванович.

– Для истории Куприна – предложил я Нине – хорошо бы подошла бы сказка Чуковского «Краденое солнце». Великий, замечательный писатель Александр Иванович Куприн добровольно

украл у себя яркий свет в окошке, из которого он мог бы наблюдать события на своей Родине, а не на чужбине. И хорошо, что Корней Иванович в «Краденое солнце» показал, что только в содружестве можно сказать: «И Родина щедро одарила меня березовым соком, березовым соком.» И Куприн вернулся из многоэтажной Америки. Но Куприн приехал обнять наши русские любимые березки.

– Тогда, – сказала Нина – и начинай читать эту сказку про «Краденое солнце!»

И я стал говорить:

– Солнце по небу гуляло и за тучку забежало. Глянул зайнька в окно, стало зайньке темно. А сороки-белобоки поскакали по полям, закричали журавлям: «Горе! Горе! Крокодил солнце в небе проглотил!» Наступила темнота, не ходи за ворота. Кто на улицу попал – заблудился и пропал. Плачет серый воробей: «Выйди солнышко скорей! Нам без солнышка обидно – в поле зернышка не видно!» Плачут зайки на лужайке: сбились бедные с пути, им до дома не дойти. Только раки пучеглазые по земле во мраке лазают, да в овраге за горою волки бешенные воют.

А Нина стала комментировать:

– Видишь, Володя, как можно запутаться от ложной информации: солнышко забежало за тучку, а какой-то зайка серенький запаниковал: «Солнце проглотил крокодил!» Это вранье подхватили сплетницы сороки-белобоки. Стали внушать журавлям, что крокодил проглотил в небе солнце. И кто на улицу попал – заблудился и пропал. Воробей стал лить слезы: во тьме ему в поле не видно зернышек, а зайцы во тьме не знают, как добраться до дома и петляют зайки и плачут на лужайке. Зато пучеглазые раки из реки выползли, сбились с курса и ползают по земле, чтобы ребятишки их в котелке у реки не сварили. Но совесть у раков осталась, они ведь покраснели. Зато бешенные волки недовольные темнотой. Им бы при солнышке лучше охотиться на зверюшек.

– Ты, Нина, не паникуй, а лучше сама прочти стихи Корнея Ивановича, что происходило дальше.

И она тут же заговорила:

– Рано-рано два барана застучали в ворота: «Тра-та-та и тра-та-та! Эй вы, звери, выходите, крокодила победите, крокодила победите, чтобы жадный крокодил солнце в небо воротил!» Но мохнатые бояться: «Где нам с таким сражаться! Он и грозен, и зубаст, он нам

солнце не отдаст!» И бегут они к медведю в берлогу: «Выходи-ка ты, медведь, на подмогу. Полно лапу тебе лодырю сосать, надо солнышко идти выручать!» Но медведю воевать неохота. Ходит, ходит он, медведь, вокруг болота. Он и плачет, медведь, и ревет, медвежат из болота зовет: «Ой, ку да вы, толстопятые сгнули? На кого вы меня старого кинули?» А в болоте медведица рыщет, медвежат под корягами ищет: «Куда вы, куда вы пропали? Или в канаву упали? Или шальные собаки вас разорвали во мраке?» И весь день она по лесу бродит, но нигде медвежат не находит. Только черные совы из чащи на нее свои очи таращат.

Нина решила сделать передышку и сказала мне:

– Теперь, Володя, очередь читать про «Краденое солнце» твоя. Но сначала ты прокомментируй мое выступление.

И я стал говорить:

– После воя бешенных волков тупые бараны застучали в ворота и стали будоражить зверей, чтобы они заставили крокодила воротить на небо солнышко. Ты спрашиваешь, почему бараны тупые. Объясняю: есть поговорка: «Смотрит, как баран, на новые ворота». Но они не только тупые, но с хитринкой. Пусть другие воют с крокодиллом, а они-то в речку к крокодилу в пасть не полезут. Тогда-то и помчались бараны к медведю, чтобы он перестал лапу сосать и ринулся выручать солнышко. Но косолапый мишка ринулся искать своих медвежат вокруг болота вместе со своей медведицей. Своя рубашка, а вернее шкура, ближе к телу. Так медведица своих медвежат даже под корягами около болот разыскивала. Но только совы таращат своими круглыми желтыми глазами на медведицу и гукают, гукают ей. Мол иди в этой чаще почаще, может быть и разыщешь своих балованный отпрысков.

– А теперь, Нина, я прочту свой отрывок из «Краденого солнца», как и советовала мне ты:

– Тут зайчиха выходила и медведю говорила: «Стыдно старому реветь – ты же не заяц, а медведь. Ты пойди-ка, косолапый, крокодила исцарапай, разорви его на части, вырви солнышко из пасти. И тогда оно опять будет на небе сиять. Малыши твои мохнатые, медвежата толстопятые сами к дому прибегут: «Здравствуй, дедушка, мы тут!» И встал медведь, зарычал медведь и к Большой реке побежал медведь. А в Большой реке крокодил лежит и в зубах его не огонь гори. Солнце красное, солнце краденое. Подошел медведь

тихонько, толкнул его легонько: «Говорю тебе, злодей, выплунь солнышко скорей! А не то, гляди, поймаю, пополам переломаю. Будешь ты, невежа, знать наше солнце воровать! Пропадает целый свет, а тебе и горя нет!»

– Вот так, Нина, разозлился медведь – сказал я. – Сначала они с медведицей ревели и плакали, а потом озверели и медведь побежал к Большой реке, где крокодил плескался, держа в зубах солнце красное и краденое. А как рассвирепел, то стал угрожать крокодилу: «Пополам переломаю и будешь знать, как наше солнце воровать». Но теперь мой очередь декламировать.

И стал читать:

– Но бессовестный смеется так, что дерево трясется: «Если только захочу и луну я проглочу!» Не стерпел медведь, заревел медведь и на злого врага налетел медведь. Уж он мял его и ломал его: «Подавай сюда наше солнышко!» испугался крокодил, завопил, заголосил и из пасти из зубастой солнце вывалилось. В небо выкатилось. Побежало по кустам, по березовым листам: «Здравствуй солнце золотое! Здравствуй небо голубое! Стали пташки щебетать, за букашками летать. Стали зайки на лужайке кувыряться и скакать. И глядитеб медвежата, как веселые котята, прямо к дедушке: «Мы тут!» Рады зайчики и белочки, рады мальчишки и девочки, обнимают и целуют косолапого: «Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!»

Я, закончив чтение, сказал Нине:

– Ну вот и все! С повествованием про Александра Ивановича мы и закончили.

Но, Нина, покачав головой, ответила:

– Нет, мы упустили один уникальный эпизод из жизни писателя. Как он устроился брадобреем, а за одно и волосы постриг одному своему знакомому.

Я засмеялся и добавил:

– Это уникальный эпизод, но я прошу тебя рассказать об этом сюжете.

И Нина стала излагать эту занимательную историю:

– Куприн предложил подвыпившему старичку постричь волосы на его голове. А чтобы они не выпадали так быстро, то может и побрить голову опасной бритвой. Он сначала отказывался, но Александр Иванович плеснул ему в стаканчик еще грамм пятьдесят, и он наконец махнул своей крохотной ручонкой:

– Ладно, попробуем.... Согласен!

А Куприн подбодрил своего клиента:

– Что тут пробовать. Одна дама попробовала и семерых родила.

А тут голову побрить... Дело верное, на себе испытал.

Старичок сел в кресло за стол, а Александр Иванович поставил на стол жестяную банку и вскрыл ее ножичком, сказав:

– Это такая мыльная пена, чтобы голову брить было легче.

На плечи старика было накинуто нечто мешка. Он был пьян, но не очень. Было в нем что-то противное: мешки под глазами и тараканьи усы.

Куприн перед стрижкой сказал:

– Ну, господи, благослови! – и сунув в жестяную банку малярную кисть, мазнул ей по седой голове клиента. И старичок ужаснулся:

– Пена-то какая-то зеленая?

Куприн хмыкнул:

– Эка, беда! Через час она почернеет!

Капли масляной краски застучали по листам газетным, которые были разложены на полу. А костюм дедушки был прикрыт салфетками, чтобы не испачкать его пеной.

Но вскоре седая щетина стала зеленой, как весенний салат.

Старичок попросил налить еще одну рюмочку, хихикнул и заснул блаженным сном в кресле.

Спал клиент Куприна долго, часа два или три. К ночи он проснулся с мучительным воплем. Краска стала сохнуть и стягивать ему кожу на темечке все сильнее и сильнее.

Старичок заметался по комнате, подбежал к зеркалу и захныкал, как обиженный ребенок: «Голова так осталась зеленой».

Куприн его подбадривал:

– Ничего, ничего. Потерпите. Пройдет еще минут десять-пятнадцать.

Но Корней Иванович пожалел старичка и спустился вниз по лестнице, где была парикмахерская. Он уговорил побрить старичка. Волосы у деда склеились и стали жесткими, как стальная проволока.

Парикмахер пришел к Куприну и свистнул:

– Какая мне радость ломать мою опасную бритву?! Хотя волосы-то такие изумрудные.

Когда Куприн все-таки сумел смыть краску с волос старичка

керосином и мылом, то он с трудом избавил деда от зеленых волос.

– Эх, поторопились! – упрекал Александр Иванович – краска-то голландская, качественная!

Но старичок ничего не ответил. С ним случилось другая беда: на сбритой голове появились какие-то темные пятна. И сколько ему не отмывали голову керосином, пятна так и зеленели на коже. Бриться не помогло... Да и мытье керосином не спасло от пятен.

– Ну, что ж – иронизировал Куприн, – поздравляю! Не голова, а настоящий глобус. Австралия! Новая Гвинея! Италия!

Старичок что-то буркнул себе в нос сердито и, нахлобучив на голову шляпу, убежал от Куприна, как ошпаренный.

Чуковский с удивлением смотрел на Александра Ивановича.

– Ну зачем же вы так поиздевались над пожилым человеком – спросил Корней Иванович. – Кто он такой, чтобы выдержать такую экзекуцию?

Куприн ответил коротко:

– Сволочь!

А потом добавил:

– Полицейская гнида! И какого черта вы пожалели его? Он у меня так и остался бы вечно зеленым!

И Куприн стал объяснять Чуковскому:

– Этот худосочный субъект только с виду безобидный и жалкий. Он был смотрителем одесской тюрьмы, ярый черносотенец и погромщик еврейских кварталов. Мне мои друзья показали на него в Крыму. А потом я увидел его вдруг в Петербурге в кабачке «Калериуме» на Владимирской. Вот я и решил отметить его зеленой краской, чтобы все видели этого Иудушку.

– Что ж, Нина, сказал я после ее рассказа – мы с тобой неплохо закончили судьбе Александра Ивановича Куприна и начнем исследовать биографию Гарина.

## Глава: Гарин

– Нина, – спросил я, – что ты можешь сказать о Гарине?

И она ответила четко и подробно, будто поджидала такой вопрос:

– Гарин был очень подвижным, щеголеватым и красивым человеком. Роста Гарин был невысокого и в волосах на висках уже засеребрилась седина, но глаза быстрые, шустрые и молодые. Он всю жизнь проработал инженером-путейцем. Профессия сказалась на его характере: норовистый, с неровной походкой, что пышная шевелюра колыхалась, когда он стремился куда-то к подчиненным. А с ними он разговаривал горячо и торопливо, а в речах чувствовалась его широкая натура. Поэтому Гарин не был корыстным, а в голове не появлялись мелочные мысли. Он гордился, что стал поэтом и художником.

– Нина, – произнес я, – такую характеристику какую ты только произнесла, мог бы сделать именно, как ты сказала: поэт и художник. Про широту его души хорошо сказал Корней Чуковский: «Под открытым небом зимою, в канун Нового года, где рабочие вырубали просеку для прокладки дополнительной железнодорожной ветки, Гарин увидел высоченную красивую ель и приказал путейца не срубить ее.

– Почему? – удивилась Нина, а я продолжил:

– Да, чтобы встретить Новый год в лесу. А ель разукрасить от вершины до нижних ветвей золочеными орешками, флажками, горящими свечами, окружив новогоднюю елочку веселыми яркими кострами. Вопреки песенки: «Срубил он эту елочку под самый корешок». Более того, Гарин послал гонца в деревню, чтобы созвать крестьян на праздник под елочкой. Крестьяне не только пришли сами, а привели с собой ребятишек. И это при морозе и в снегу по колено. Романтик и заботливый хозяин. На следующий день Гарин устроил новогоднюю елку на своей усадьбе. Но увесил ель не игрушками, а конфетами, пряниками и другими лакомствами: апельсинами, мандаринами. Когда хороводы закончились, Гарин повалил елку на паркетный пол и скомандовал: «Куча мала!» После пошел по деревне спрашивая: «Кто здесь бедный?» И вручал им денежку на нужды мужикам. Когда к Гарину подошел некто Сикорский, кто-то из крестьян крикнул: «Не давайте ему денег:



он плут». Но и этому плуту он дал какую-то ленту.

– А я, – сказала Нина, – прочитала у Корнея Иванович вот такую историю:

– Как-то Гарин решил купить на праздник свинью. Хитрый хозяин этой хрюшки покормил ее такой соленой пищей, чтобы она выпила после «трапезы» несколько ведер воды. Все увеличилось. Хитреца уличили в обмане. Но Гарин заплатил ему сполна, сказав: «Нужно же мне платить и за науку!» Но эта простодушная доверчивость не являлась его неопытностью. Жизнь он знал превосходно, исколесив всю Россию, прокладывая железнодорожные пути. Гарин вращался всегда в гуще народа, который его уважал за замечательный опыт инженера-путейца. Его огневой темперамент часто открывался и в литературном творчестве. В его книгах люди влюблялись с первого взгляда. Превосходная, внезапная, вспыхивающая, как порох, любовь изображена им в книгах «Сумерки», «Встреча», «Студенты», «Инженеры». Помогала писать Гарину его отцовская горячая кровь: его отец был генералом и отличался отчаянной храбростью. Рассказ Гарина «Детство Тёмы» известен не только в России. А фраза Тёмы шокирует многих читателей: «Милый папа, отруби мои руки!» И тот же мальчик поздно ночью вскакивает с постели и крадется к колодцу куда брошена Жучка. С риском для жизни, а это уже черта характера малыша, спускается в колодец – Жучка спасена! Но Тема простудился и опять он на грани жизни и смерти.

– Да, Нина, – кивнул я – вот такой отчаянный Гарин. Но однажды он увидел на Кавказе со скалы утопающих турок и бросился в бушующее море, приговаривая: «Не сюда, не сюда, убьетесь об скалу, а вы же отец семейства». А потом, когда Гарину было за сорок, он уехал к хунхузам в дебри, где не ступала нога европейца. Хунхузы подожгли его фанзу, когда он спал, и открыли стрельбу. Гарин, убегая от них, помчался к стремнине водопада, около него внизу стояло суденышко. Капитан, когда он влез на борт судна, сказал: «тут очень опасно, судно разобьется о скалы». На что Гарин ответил резко: «Пусть бьется!» Но они вышли «сухими из воды». Вспоминал о работоспособности Гарина и Горький, когда тот писал рассказ «гений» для «Семерской газеты»: «Начало было написано на телеграфных бланках. А ночью Алексей Максимович получил вот такой текст: «Присланное не печатать! Дам другой вариант».

Конец рассказа Гарин прислал уже из Екатеринбурга. О другом рассказе Гарин сказал Горькому: «Это написано за одну ночь, на почтовой станции. Какие-то купцы пьянствовали, гоготали как гуси, а я писал». Его товарищи смеялись: «Он всегда пишет по облучне. Телеграфная быстрота письма Гарина придавала его слогу крылатость. Вот как написал он от имени юнца: «Я не хочу больше жить, потому что жизнь – злое и безнаказанное издевательство».

А Нина продолжила мою фразу:

– Зачем же человеку дары, если они тут же будут втоптаны в грязь? Пусть бы калечилось что-нибудь хилое. А Гарин куда не посмотрит – мощные силы, созданные для счастья человека и его творчества. В «Гении» он показывает титанический труд этого гения, который открыл дифференциальное исчисление. Но профессор, взглянув на гениальный труд, сказал: «Бессмертное слово не коснется вас. Ведь эту работу выполнил Ньютон до вашего открытия двести лет назад». Подобная повесть написана Гариным о пастухе-самоучке, который неимоверными усилиями выдержал труднейший экзамен. «Труд Ломоносова» бледнеет перед этим трудом. Но деревня не отпустила своего доморощенного Ломоносова. Всему свое время! Ему земляки сказали: «Ах, ты умнее отцов хочешь быть? Врешь – не будешь!» В итоге: спившийся Ломоносов и сошедший с ума Ньютон. Но особенно часто Гарин терзает и коверкает женщин. Особое место занимает рассказ «Заяц», в котором с адской изобретательной силой каторжный ад, который называется семьей, где колесовали бесправную женщину. «из святого брака устроили ужасы и пытки, что любое рабство покажется райским уголком. Но если жизнь – застеноч, то не следует ли проклясть и отвергнуть эти порядки? Я не знаю, кто ты- Бог, дьявол, Рок или Жизнь – я проклиная тебя!» Кстати, так же звучали анафемой и книги Леонида Андреева. А Гарин говорит в одной сказке: «Погибнет злой волшебник, а с ним исчезнет и мрак. И увидят тогда люди, что для всех есть счастье на земле».

Тут и я перехватил эстафету у Нины:

– Корней Иванович считал, что самым важным было для Гарин, при его эмоциональных порывах, при всей свое безудержной щедрости, он мог быть деловитым человеком, который апеллирует цифрами и фактами, привыкший смолоду ко всякой хозяйственной практике. У него был живой неугасаемый интерес по устройению

России. Гарин спрашивал: «почему крестьяне так густо засеивают поля? Выбрасывают каждую весну на ветер миллионы рублей! Это очень расточительно». Он напрямую спрашивал крестьян: «Много ли зарабатываете?» И в ответ он слышал: «Полтора рубля в неделю.» «А если в день, друзья мои, то двадцать пять копеек или по копейке за час!» Крестьяне только плечами пожимали от этой арифметики. А одна женщина произнесла: «Суета бескорыстная...» «Что, что?» – переспросил Гарин и услышал в ответ: «Повторяю суета бескорыстная вся ваша работа».

А Нина сказала еще более жестко: «Журнально-газетные критики 80-90 годов с негодованием спрашивали: «Неужели вся литература той реакционной застойной эпохи, а тем более и поэзия не воплотились в беллетристику?» И критики быстро позабыли о Гарине. А он говорил о себе: «Я был деспотом крепостникам, помпадуром». И готов был арканом тянуть крестьян насильно против их воли в уготованный для них соблазнительный рай. На его призыв: «Хоть землю грызите, ничто на поможет» крестьяне просили отсрочку: «Батюшка, дай нам недельку сроку!», а Гарин кричал: «Минуты не дам!» А потом этот седой ребенок назвал этот период «Идиотизмом деревенской жизни» Но тем не менее редактор Московского журнала, где печаталась повесть Чехова сообщил, что среди петербургских писателей Гарин имеет большой успех. И Гарин создал летопись из четырех повестей: «Детство Тёмы», «Гимназисты». «Студенты». Тема у Гарина был милым, но нравственно неустойчивым мальчиком. «Негодяй» - кричал на него разъяренный отец, узнав о воровстве сына. «В кузницу тебя отдам!»

Наступила моя очередь:

– Но и взрослый Гарин метался из угла в угол. «Подкуплю акции» – говорил утром, а вечером уже заявлял: «Сделаюсь учителем!» и вдруг произошло чудо: он переродился. Его вертлявая лодка превратилась в отличный корабль и направилась на всех парусах подающим сигналы проходящим мимо судам. Он ретиво взялся за работу. Его подчиненные, рабочие ворчали: «Дождь, не дождь. А гонит нас как на пожар». И опьяненный ударной работой, говорил: «Я уже умирал, а опять живу!» А потом добавлял: «Сердце рвется на простор, сердце жаждет дела!» В «Гимназистах» Гарин заклеил казенную систему воспитания. Мечтательные подростки, готовые на любое благородство, превращались в тупиц! Так

увлекательно писать о России не умел ни один беллетрист. Он был один из совестливых и зорких радикалов либерального толка. Но лишь в конце жизни Гарин сумел признаться своим банкротством в либеральных иллюзиях. В начале 80-годов порвал с эпигонами народничества и примкнул к борцам революции.

А Нина продолжила исследовать биографию Гарина:

– Настоящая фамилия была Михайловский Николай Георгиевич. Он родился в Петербурге 1852 году у богатых родителей. Крестил Гарина царь Николай. Но сохранил близость к простому народу. Он верил, что у России другая судьба, чем у других народов. И что его родная страна минует капиталистический строй, потому что в России уже есть в деревнях свои общины, о которых европейцы не знают и не понимают, что такое – община! В 1892 году Гарин стал издателем журнала «Русское Богатство». А свой псевдоним он получил от имени своего сына – Гаря. Но в середине девяностых окончательно разочаровался в народничестве и создал марксистскую газету «Самарский вестник» и стал сотрудничать в органах легальных марксистов. Во время русско-японской войны снова уехал в Манчжурию корреспондентом. Но его публикации с фронта жестко искажались военной цензурой. Большую роль в его жизни сыграло общение с Горьким и Гарин утвердился в своих марксистских убеждениях. Революцию 1905 года Гарин встретил с энтузиазмом и примкнул к социал-демократическому журналу «Вестник жизни», где работали Луначарский, Воровский. Но сотрудничество Гарина продолжалось недолго. 27 декабря 1906 года он скончался прямо на редакционном совещании от паралича сердца. Горький сказал: «Он умер на ходу...»

Нина замолкла, а я предложил:

– Мы не будем читать в этот раз сказки Корнея Чуковского. А я предлагаю прочитать стихотворение его друга Самуила Яковлевича Маршака, которое он перевел у поэта Шотландии Роберта Бернса: «Не было гвоздя, подкова пропала... Подкова пропала, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя... Потому что в кузнице не было гвоздя!»

И Нина сразу же встрепенулась:

– Это очень кстати, Володя! В кузнице не было гвоздя, чтобы укрепить подкову на ноге боевой лошади. И погиб боевой коман-

дир на лихом коне, подкованным плоховато. И мне кажется, что и писатель Гарин внезапно скончался, потому что его сердце не выдержало в постоянном метании от одной идеи до другой прямо противоположной.

– Да, Нина, – согласился я, – Гарин рано ушел из жизни. Но его художественные произведения до сих пор читают и дети, и взрослые. Особенно «Детство Тёмы»

## Глава: Ф.А.Кони

Корней Чуковский начал эту главу с высказывания Чехова: «Подвижники нужны как солнце... Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества. Они возбуждают, утешают и облагораживают его».

– Когда Корней Иванович познакомился с Кони, он был почетным академиком, действительным тайным советником, членом государственного Совета, кавалер весьма значимых орденов – сказал я Нине и она стала внимательно слушать меня. – Кони принимал тогда письма если стояла на конвертах печать: «Его высокопревосходительству». Чуковский так и сделал, послав письмо Кони. Ведь он был самым не просто превосходительством, а высокопревосходительством. Но произошла революция и его превосходство под кем-то сразу же улетучилось. В обглоданном войной Петрограде он стал просто... Кони. Но новое правительство предложило ему уехать за границу. Но он отказался эмигрировать. И в семьдесят лет Кони стал читать лекции красноармейцам, курсанта, рабочим. Гонорар за двухчасовую лекцию был скудным: ржавая селедка и тоненький заплесневевший ломтик хлеба. Иногда, утомившись в путине очередной лекции Кони садился на чугунную тумбу или на ступеньки закрытой лавчонки, положив около себя костылики. Он не обижался, когда сердобольные тетеньки пытались вручить ему милостыню. Так, сойдя с пьедестала славы, Кони превратился в бомжа (человека без определенного места жительства) и, не прося подачку Христа ради, брал милостыню. А на Невском проспекте ему двое красноармейцев посочувствовали: «Ах, ты старенький дедушка, ползешь вдоль проспекта на четырех ногах. Ну и ползи, ползи потихонечку, Бог с тобой». Но и это сочувствие не раздражило его.

Тут в разговор вступила и Нина:

– А Кони часто писал письма Луначарскому: «Ваше цели колоссальны, Ваши идеи кажутся настолько широкими, что мне, больному оппортунисту, который соизмерял шаги медлительной эпохи, сегодняшняя жизнь мне кажется гигантской, раскованной, головокружительной. И если власть будет прочной и станет относиться хорошо к народным нуждам, то я как верил и верю в Россию, понимаю, что народ возьмет власть в свои руки. Мы то верили, что решаем вопросы народа, как прокуроры и адвокаты его, а так оно и вышло». Да с первых шагов Советской власти Кони без оглядок нашел свое место в рабочем строю. Вот тебе и «высокопревосходительство», а верил рабочим. Народ поверил искренности Кони. На девятом десятке этот старик сделал новую карьеру: его приглашали на лекции в школы и техникумы, больницы и в библиотеки, в музей и в Пролеткульт, в Дом искусств и Балгфлет. Его темы были о Пушкине, о Льве Толстом, о Пирогове и эти лекции звучали как моральные проповеди. В них слышался всегда вот такой подтекст: «Напутствовать хочется мне поколение, от мрака и грези, умы и сердца уберечь.» И хотя у Анатолия Федотовича голос был слабый, но слушали его с таким жадным вниманием, что шепот Кони доходил до самых дальних рядов. Как его любили слушатели? Да в день рождения Кони в 1921 голодном году ему принесли «белый хлеб»! И он так растрогался и считал, что этот подарок был самый драгоценный за всю его прошлую жизнь. И в этом же году Наркомпрес предоставил ему лошадь и бричку. Кучер, послушав лекцию «хозяина», стал посещать почти каждое его выступление. А однажды кучер сказал: «Ты брат, я вижу такая яркая свеча!» Вот так оценил Кони неграмотный кучер.

– Нина, – спросил, – а почему ты считаешь, что раз кучер, то он не может оценить своего седока. Однажды Кони написал Корнею Чуковскому в письме в 1925 году: «Я тут совсем почти «обезножил» и сижу у крыльца, а мои домашние смеются: «Прибываешь в «Швейцарии». А на самом деле на первом этаже жил когда-то швейцар. Но вскоре Кони повезло. К нему в дом переехала давнишняя знакомая Елена Васильевна Пономарева. В 1926 году 10 февраля, когда Кони исполнилось 82 года к нему приходили десятки поздравлений, в том числе и рабочие. Один из них написал даже стихи: «Когда досталась власть народу, впервые ты легко вздохнул.

Ты принял с радостью свободу и смело ей в глаза взглянул. Своих заветов не откинул: любя Россию – словно мать. Ты в трудный час ее не кинул. Остался с нами ты страдать». Вот за это сострадание и любили рабочие Кони.

И тут стала продолжать мои повествования Нина и сказала:

– А вот Корней Чуковский считал, что он слишком создал из Кони образ елейного праведника, у которого одни добродетельные деяния – не портрет, а настоящая икона. Но адвокат Александр Урусов чудесно сказал: «Анатолий Федотович – виртуоз добродетели. У других эта богиня скучна и банальна, а у Кони она увлекательна, остроумна и соблазнительна, как порок». Но у Кони было и еще одно замечательное свойство: «веселоправие», а точнее – юмор. Он был до краев переполнен юмором, совершенно исключаящий ханжество. Однажды Кони подвел Корнея Ивановича к портрету Гончарова и тут же рассказал несколько историй о писателе. Вот одна из них: «Когда Иван Александрович получил известие, что Тургенев умер, то Гончаров, считавший его хитрецом, недоверчиво произнес: «Вечно он притворяется!» И тут же, ссылаясь на Гончарова, рассказал еще одну байку: «Русские матросы гуляли по Лондону добродушно потешались над шотландскими гвардейцами, охранявшими дворец королевы в национальной одежде – клетчатых юбочках до колен. «Почему вы тут смеетесь – спросил их Гончаров. «Да ты, посмотри, ваше благородие, королева то им штанов не выдала!» Ударение делалось на слово «штанов». А Кони так свободно владел простонародной, «мужицкой» речью, что от его слов друзья за животики хвалились. А он продолжал смешить и дальше: «Только и осталось лечь на брюхо, да спиной прикрыться». Потешался он и над графом Владимиром Сологуба. Он уже ополоумел от дряхлости и во время предсмертной болезни жаловался Анатолию Федотовичу: «По повелению господина Бога, я должен был оплодотворить всех девиц, обитающих на нашей планете. А меня и на пол Европы не хватит!»

– Да, Нина, – сказал я, – интересные байки ты рассказываешь о Кони. Позволь и мне продолжить интересные эпизоды из жизни Кони.

– Что ж тебе уже пора, Володя, тоже рассказать читателям, что-то интересненькое.

И я стал рассказывать:

– В Петербург приехала француженка, а за ней стал ухаживать молодой офицер. Женщина не собиралась до замужества уступить бравому офицеру, и он повел ее в церковь и заказал молебен чуть ли не батюшке царю. Француженка приняла молебен за свадебный обряд и вообразив себя законной женой, провела с обманувшим шалопаем несколько счастливых часов долгожданного медового месяца. Ее душевное потрясение было катастрофой, когда она узнала об обмане. Но опомнившись, француженка подстерегла царя Николая на прогулке и, размазывая щеки, рассказала об обмане. Царь, не раздумывая, вопреки всем церковным уставам приказал: «Считать молебен бракосочетанием!» И коварный соблазнитель стал жертвой своего же коварства, так как упустил возможность жениться на богатой невесте. А его француженка не имела ни гроша за душой. А у Кони таких рассказов было «вагон и маленькая тележка». Кони дружил и с театральными Михаилом Щепкиным и Марией Савиновой. И одна приезжая дама, услышавшая его рассказы, воскликнула: «Ах, Анатолий Федотович, как жаль, что вы не стали актером!» Но талант рассказчика Кони проявлялся и в его новеллах и очерках «Домочадцы», «Сеньор Беляев», «свидетели на суде» и т.д. Казалось, что сам Лесков был бы не прочь подписаться под его колоритным рассказом. И они, как два сапога – пара, оба тянулись изображать различные курьезы и парадоксы человеческих жизней.

– Это замечательно! – воскликнула Нина. – Но пора и мне что-нибудь интересненькое рассказать про Кони.

И стала говорить:

– Своих литературных героев Анатолий Федотович пытался всегда возвеличивать и говорил свой девиз: «Жить – это воевать!» На страницах его работ было множество вот таких восклицаний: «Он воевал», «восставал», «ратовал». О хирурге Пирогове Кони говорил, что его жизнь – «война» со свинцовыми мерзостями строя того времени. Ярче всего его боевая натура выразилась в конце семидесятых годов, когда присяжные заседатели под его председательством оправдали революционерку Веру Засулич, стрелявшую в градоначальника Трепова. Царь и министр юстиции пытались заставить Кони, чтобы он внушил присяжным заседателям вынести смертный приговор или ссылку на каторгу. Но Анатолий Федотович не подчинился и вызвал негодование царя и бешенство реакционной печати. Сколько помоев вылила «желтая» пресса нельзя



перечесать. Конечно же у Кони были и либеральные взгляды. Но либеральные иллюзии Анатолия Федотовича не могли омрачить нравственную его красоту. Недаром же его любили и чтили такие известные люди, как Некрасов, Толстой, Гончаров, Достоевский. К этому числу можно причислить и живописца Илью Репина. Тем более и Репин, и Кони были сверстниками и обладали оба недоузданным талантом в разных сферах. Они встречались в пенатах Ильи Ефимовича. И каждый рассказывал о своем: о жизни в Петербурге и в Финляндии. В разговорах Ильи Репина и Анатолия Кони была одна милая слабость чрезвычайно привлекательная для Репина и Корнея Чуковского: он фантастически верил, что нормы русской речи нерушимы. Но ведь он говорил так в далекой юности. А любой язык со временем меняется. Кони сам не замечал, что ломает иногда эти нормы красноречия. Например, слово «обязательный» имело, по его убеждению, еще такой смысл «Любезный». Вот как Кони произносил фразы: «Граф был так «обязателен», что тотчас пришел ко мне с визави», «Он обязательно (то есть опять-таки «любезно») обещал похлопотать за меня». Но к большому его огорчению слово «обязательно» в конце жизни Кони стало означать «непременно». Например, «я обязательно приду к вам завтра». Такое понимание слова доводило Анатолия Федотовича до ярости. Ему чудилось потрясение основ русского языка.

Настала моя очередь говорить, и я продолжил наш разговор:

– Представьте себе, – говорил Кони, хватаясь за сердце, – иду я сегодня по Спасской и слышу «Он обязательно сегодня набьет тебе морду». Как вам это нравится? Человек сообщает другому, что кто-то «любезно» поколотит его! Напрасно Корней Иванович убеждал Кони, что слово «обязательно» в смысле «любезно» уже умерло в русской речи, а оба слова употребляются по новому смыслу. Но только Кони с слышать об этом не хотел и смотрел на Чуковского с негодующим взором, как на перебежчика во враждебный лагерь. Но Чуковский не сердился на Анатолия Федотовича, считая, что в этих двух словах нет никакой диалектики. А когда один юноша, прощаясь с Кони, сказал не «до свидания», а «пока», то Анатолий Федотович так возмутился, будто молодой человек кровно обидел его этим «пока». А Корней Иванович считал это милым шаржем в этой рыцарской приверженности старого «словесных дел мастера». Ведь Кони был под очарованием Тургеневской классической лексики

и личность Кони уже запечатлена в его литературном наследии. Да и судебные его речи смогут оценить потомки во всей красоте и запомнится его светлый облик бесстрастного судьи-гражданина, который во времена несправедливого строя грудью бился за праведный суд. Он заслужил признания и у советских людей после революции. И вот, что написал Кони в своем письме к Елизавете Александровне Садовой: «Я прожил жизнь так, что мне не за что краснеть... Я любил свой народ, свою страну. Служил им как мог и умел. Я не боюсь смерти. Я много боролся за свой народ, за то, во что верил».

Нина с изумлением выслушала меня и сказала:

– Как кратко, точно и ярко изложил Анатолий Федотович Кони свою жизнь и судьбу. Это был настоящий патриот и главной его темой были народ и страна. Он не боялся смерти и ему не за что было краснеть. Как сказал поэт: «Гвозди бы делать из этих людей, не было крепче в мире гвоздей!» И вот, что кратко написал о себе Кони одному зарубежному другу в 1924 году. Письмо это было большое и я приведу только небольшую часть его: «Я всецело отдался педагогической деятельности и с 1918 года читал курсы уголовного процесса с разработкой «этики поведения и общежития» в 1-ом и 2-ом Петербургских университетах, в Институте живого слова, где преподавал учения об ораторском искусстве, читал лекции по психологии в Академии наук, в Доме литераторов, в Доме ученых, а также в Доме искусств, в Медицинской академии, в Политехническом институте и на женских медицинских курсах. Меня приглашали нередко читать лекции с моими воспоминаниями в музеи города, в многочисленные бывшие гимназии и в общественные библиотеки. В прошлом году в феврале я ездил в Москву читать четыре лекции о Толстом, Достоевском, о психологии памяти и внимания к фактам самоубийства. Часть многочисленных лекций читалось с благотворительной помощи учащейся молодежи. Пусть понимают, что я даю им знания, не получив за это ни копейки. Они вдумывались с глубокой симпатией. Эта симпатия появлялась в большинстве у девушек, у которых бывает и физическая слабость, а работа требует силу. У меня у самого сломанная нога в следствии ошибочного диагноза все увеличивает мою хромоту. Трудно заходить в трамвай. Дурно сплю и часто страдаю болезненными сердечными приступами. Нервоз дает знать. И тем не менее, я стараюсь приносить людям

пользу пока не грянет мой последний час. Он мне не страшен, я не малодушен и приму его безропотно, без уныния. Заканчивая письмо, процитирую слова Марка Аврелия: «самый постыдный вид жалости, есть жалость к самому себе!»

Окончив свой разговор, я умолк, а Нина стала восхищаться:

– Какой ответственный, самоотверженный и мудрый человек Анатолий Федотович Кони. И какой он стойкий духом. Он не собирается ни стонать, ни метаться, когда придет к нему старуха с косою. И не станет умолять ее отсрочить свою смерть хотя бы на несколько секунд.

Потом мы с Ниной стали обсуждать какую же сказку Корнея Ивановича можно посвятить мечтателю и сподвижнику, который всю жизнь передавал своим гражданам свои знания.

И тут меня осенило:

– Нина, я не мудрствую лукаво, предлагаю рассказать читателям сказку Корнея Ивановича «Топтыгин и Луна». Медведь получил много знаний на Земле и решил посетить и Луну. Возможно там лунатики не научились читать и писать, так тогда нужно передать им наше знания.

– Давай, – сказала Нина, – Володя, раз ты предложил эту сказку посвятить Кони, то и начинай читать ее.

И я стал читать:

– Как задумал медведь на луну полететь: «Словно птица туда я вспорхну!». Медвежата за ним: «Полетим! Улетим! На луну, на луну, на луну!». Два крыла, два крыла им ворона дала. Два крыла от большого орла. А четыре им сова принесла – воробьиных четыре крыла. Но не может взлететь косолапый медведь. Он не может, не может взлететь. Он стоит под луной на поляне лесной, косолапый и глупый медведь. И взбирается он на большую сосну и глядит в вышину на луну. А с луны словно мед на поляну течет, золотой разливается мед. «Ах, на милой луне будет весело мне: и порхать, и резвиться, и петь! О, когда бы скорей до луны до моей, до медовой луны долететь!»

– И так, Нина, – сказал я – про медведя и его «медовые» мечты уже рассказал, продолжай теперь рассказывать ты!

И Нина стала декламировать:

– То одной, то другою он лапой махнет. И вот-вот улетит в вышину. То одни, то другим он крыло м шевельнет. И глядит, и

глядит на луну. А внизу под сосной, на поляне лесной, ошетилившихся волки сидят: «Эх, ты, мишка шальной, не гонись за луной, воротись косолапый назад»

## Глава: Александр Блок

– Корней Чуковский – сказала Нина – часто перелистывал стихотворные сборники Александра Блока, перечитывал по несколько раз знаменитые строчки поэта. Вот, например: «Ночь, улица, фонарь, аптека.» А около аптеки на Офицерской улице Александр Александрович частенько проходил по пути от дома. Об этом Блок дважды упоминал в своих «Плясках смерти». Но в «Клеопатре» у Александра Блока есть такая фраза: «Она лежит в гробу стеклянном и ни мертва, и не жива, а люди шепчут неустанно о ней бесстыдные слова». А поэт это увидел сам лично. Он стоял понуро и мрачно около восковой полулежащей царицы, с узенькой черной змейков в руке. А змеюка пружинистым своим телом тысячи раз подряд жалит и жалит обнаженную грудь царицы. Поэт смотрел на нее оцепенело и скорбно, а какие-то похабные картузники смачно «оценивали» грудь царицы. Блок со своими друзьями посетил Сестрорецкий курорт. В тот вечер он был победоносно счастливым, загорелым, стройным и в широкополой артистической шляпе. Нов впечатление его смазали любители вкусно поесть и посплетничать. И вот, что написал Блок на следующий день:

Что сделали из берега морского  
Гуляющие модницы и франты?  
Поставили столы, дымят, жуют,  
Пьют лимонад. Потом бредут по пляжу  
Угрюмо хохоча и заражая  
Соленый воздух сплетнями...

Нина сделала передышку, а я продолжил рассказ о Блоке:

– Корней Иванович, познакомившись с Александром Блоком с удивлением говорил: «Никогда: ни раньше, ни потом не видел, чтобы от какого-то человека так явственно, ощутимо и зримо исходил магнетизм. Особенно этот магнетизм ощущали девушки. Даже представить себе нельзя, что женщины не смогут влюбиться в Блока. Когда Александр Александрович читал свои стихи о люб-

ви печальным, обиженным и чуть-чуть пронзительным голосом, многие представительницы слабого пола готовы были ему сразу же отдаться, помани он их пальчиком к себе: «Влюбленность расцвела в кудрях и в ранней грусти глаз. И был я в розовых цепях у женщин много раз». Это признание Блока женщины воспринимали как его желание осчастливить их тут же и сейчас. А когда Александр Александрович читал «Незнакомку», эту бессмертную балладу все замирали в очаровании и боялись, что вдруг Блок перестанет читать и прекратится это «соловьиное пение», которое несется из Таврического сада: «И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки среди канав гуляют с дамами испытанные остряки». А вот в другом четверостишье у поэта появляется калач на магазинной витрине: «Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотистый крендель булочный и раздаётся детский плач». И тут же произносит еще одну фразу: «Одна мне осталась надежда: смотреться в колодезь двора».

В этот момент Нина и перехватила обзор поэзии Блока и стала рассуждать:

– Какие чеканные строчки у поэта: «Влюбленность расцвела в кудрях». Да женщины влюблялись в Блока. Но в этой строчке есть подтекст: «У женщины волос длинный, а ум короткий. Она готова отдаться поэту, но забывает о последствиях этой встречи. Сам Блок считает, что он часто оказывался «в розовых цепях», которыми женщины старались приковать его к своему сердцу. И попался в их ловушку много, много раз. А в другом четверостишье про «испытанного остяка», который любит «гулять с дамами» среди канав. Вот и в канаве-то этот остряк и постарается угодить даме. Но и сам поэт иногда обращается не к любовным интригам и интрижкам, а хлебу насущному. Вот как он сказал: «Чуть заболотиться крендель булочный и раздаётся детский плач». В булочной маленькие ребята, увидев «золотистый крендель» всегда тянутся ручонками к лакомству: «Дай, дай, дай...» И сколько б дитя не тешилось, лишь бы не плакало. И ребенок быстро получал свой крендель, выделявая в плаче кренделя. Но были дни, когда Блок впал в депрессию и от отвечал на это стихами: «Одна мне осталась надежда: смотреть в колодезь двора». Да и стихи он называл под стать своего настроения: «Холодный день», «Окна двора», «В октябре».

Нина решила сделать передышку и передала эстафету мне. И

я продолжил ее тему:

– Блок жил на Лахтинской улице на Петербургской стороне невдалеке от фабрично-заводского района. А Лахтинская улица кишела беднотой. Поэтому эта улица словно продиктовала стихи поэту: «Мы миновали все ворота и в каждом видели окна, как тяжело лежит работа на каждой согнутой спине. И вот пошли туда, где будем мы жить под низким потолком, где проклинали друг друга люди, убитые своим трудом». Как тут жить в этих трущобах умудрялся Блок? Но в его раннюю пору в стихах чувствовалась деспотическое засилье музыки. Казалось стих течет независимо от воли поэта: «И приняла, и обласкала, и обняла, и в вещих делах им качали колокола...» В этих строках звучали многократными эхами, перекликались звуками рифм и ритмов. Но уже в третьем томе Блока его творчество стало строже и сдержаннее «И напев заглушенный и юный в затаенной затронет тиши усыпленные жизнью струны напряженной, как арфа, души». И Чуковский пишет: «В этой непрерывистой, слишком сладкозвучной мелодии было что-то расслабляющее мускулы». И Корней Иванович приводит пример блоковской строчки: «О, весна, без конца и без краю, без конца и без краю мечта!» Всего одна строчка Блока, а кажется, что он написал целую поэму. Потом следует у Блока одна только строчка, в которой раздается словно это протяжное «а-а-а-а!»: «Дыши духами и туманами». И вдруг это «а» перескакивает в «е». И воют древними поверьями... Но когда Блок читал эти строки в слух, то лишь подчеркивал безвольную покорность своему вдохновению. Покорность и воля, а получается – симфония: «Что быть должно – то быть должно. Так пела с детских лет шарманка в низкое окно, и вот я стал поэт... И все, как быть должно, носило: любовь, стихи, тоска, все приняло в свое русло спокойная река». Даже белый стих покорился Блоку: ощущение безвольной руки, монотонный, певучий, трагический голос поэта, который как будто не виноват в своем таком творчестве, чувствует себя жертвой своей лирики...

И я сказал Нине:

– Как ты прекрасно разобралась в творчестве Блока. Разреши и мне поговорить о поэзии Александра Александровича в более зрелом возрасте, когда ему перевалило за тридцать, тридцать пять лет.

Нина не возражала, и я начал исследовать поэзию Блока:

– К тому времени он всеми тайнами поэтического мастерства

владел. Разве можно сравнить стройную композицию «Двенадцать» с бесформенной и рыхлой «Снежной маской». У Блока была прекрасная родословная: его дед и отец были профессорами, а отец жены знаменитый Дмитрий Менделеев, создавший таблицу химических элементов. Говорят, что эта таблица приснилась ему во сне. В доме у Блока был абсолютный порядок. Какая-нибудь замусоленная, клочковатая рукопись на столе была бы немыслимой... В комнате был уют и покой. Он недолго любил Аполлона Григорьевича многословного, сумбурного критика. Слово «гибель» Блок произносил заметнее других слов. Хотя в компаниях он бывал молчаливым. Зато в доме у Аничкиных засиделся до утра и вдруг разговорился. Бодрым голосом заявил: «Над всеми нами разразится народная месть за наше равнодушие и ложь». Говорил он как всегда монотонно, сопровождая свою мрачную речь еле заметной, странно веселой усмешкой. Но как сказал Некрасов: «Безличная сволочь слонов была равнодушна.» Хозяйка же Алла Митрофановна, как бы извинялась за бестактность Блока произнесла: «Александр Александрович опять о своем». Однажды Чуковский как-то ночью в промозглой и грязной пивной близ Финляндского вокзала, сидя с бутылкой пива, вспомнил мудрую Пушкинскую фразу: «Все, что гибелью грозит для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения». А потом Корней Иванович услышал от Блока: «Со мною – моя погибель, и я ею горжусь и покой ни чаю» Но боль оставалась болью, а поэт снова и снова наполнял стакан и одним махом осушал его.

Я перевел дух, а Нина с горечью произнесла: «Как это похоже на латинскую поговорку: «истина в вине» и стала рассказывать о Блоке:

– В этой судорожной жажде опьянения чувствовалась та же «погибельность». Многие петербуржцы с сокрушением наблюдали как он отчаянно топил свое горе в вине, пробираясь потом по какому-нибудь гнилому переулку с окостенелым лицом и остановившимся взглядом домой, бормоча слова: «Я пригвожден к трактирной стойке, я пьян давно, мне все равно... Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала». А ведь жизнь то его начиналась необыкновенно счастливой и безоблачной: «Он был заботой женщин нежной от грубой жизни огражден». А в поэме «Возмездие» говорит: «В те дни под петербургским небом живет дворянская семья». Свою мать он именует: «нежной дворянской

девушкой», а отца «дворянский склад старинный». Но Александр Александрович оставил след и в мемуарах. Вот какую запись он оставил: «... что везде неблагополучно, что казалось близко, это ужас при дверях, я знал очень давно. Знал еще перед первой революцией...» А сестра его матери Мария Бекетова говорила, что осенью 1913 года он жил в своей усадьбе, при том по-детски развлекался шарадами, сотрясаясь от хохота и сияя от удовольствия. Вот какой он был противоречивый человек. И писал вот такие стихи в ту осень: «Милый друг, и в этом тихом доме лихорадка бьет меня. Не найти мне места в этом доме возле мирного огня! Голоса поют взывает вьюга, страшен мне уют... даже за плечом твоим подруга, чьи-то очи стерегут!» Вот как бывает: биография светла и безмятежна, а в стихах – лихорадка ужаса!» Даже в тишине он чуял катастрофу... Юношей поэт написал: «Увижу я как будет погибать Вселенная, моя Отчизна». Неужели он чувствовал крах империи?! А говоря о своей музе, Александр Блок писал: «Есть в напевах твоих сокровенных роковая о гибели весть».

Нина умолкла, а я сказал: «Что же делать?» Она посмотрела на меня с укоризной и заявила: «Что же делать?» Начинай рассказывать читателям о Блоке.

Тут я улыбнулся и заявил:

– А я, Нина, уже начал свой рассказ. Ведь это у Блока начало фразы: «Что же делать? Что же делать? Нет больше домашнего очага. Двери открыты на выхоженную площадь. Вот когда баловень доброго дома, обласканный «нежными женщинами» почувствовал себя бессменным бродягой на одной из фотографий Александр сидит за самоваром с семьей среди ласковых улыбок и ярких роз. Но лицо его мрачное и бездомное – лермонтовское. Зато Комета Галлея с ядовитым хвостом ожесточила его «гибельные» настроения. Да и дружба с Аполлоном Григорьевым, гоголем, Врубелем «грозила кораблекрушением». Взять хотя бы вот это четверостишие Александра Блока: «Эй, встань, и загорись, и жги! Эй, подними свой верный молот! Чтоб молнией живой расколот был мрак, где не видать ни зги!» Но поэт, веря в революцию, пишет: «Рано или поздно – все будет по-новому, потому что жизнь прекрасна». Так хочется добавить к этой фразе слово «и удивительна». Когда Блоку было восемнадцать лет он высокомерно написал: «Смеюсь над жалкою толпою, но вздохов ей не отдаю». Он часто употреблял слово



«чернь», но произносил его с какой-то брезгливостью: «Чернь петербургская глазела подобострастно. И чернь старалась как могла». В 1921 году Блок произнес речь о Пушкине. Он говорил как раз и о черни, уничтожившая Пушкина. Ненавистны были Александру и светские шеголи с вульгарными словами и жестами, ведущие дам «с вихляющим задом». Он как-то сказал Чуковскому: «Я закрываю в трамвае глаза, чтобы не видеть этих обезьян.» Когда Корней Иванович удивленно спросил: «Разве они обезьяны?», то Блок, пожалв плечами, спросил: «А разве вы об этом не знаете?». Зато он свято верил в силу революции и говорил: «В огне революции «чернь» преобразится в народ. Он был уверен, что революция обнаружит в человеческом мусоре «драгоценные жемчужины духа». В начале поэмы «Возмездие» Блок сказал, обращаясь к художнику: «Сотри случайные черты, и ты увидишь: мир прекрасен».

На этой фразе я остановился, чтобы дать слово Нине, и она продолжила мою тему:

– Когда в театре Комиссаржевской была поставлена пьеса «Жизнь Человека» Леонида Андреева, то критика признала ее пессимистической и мрачной. Но Леонида Андреева поддержал Блок: «Хоть в пьесе Андреева и слышатся стоны отчаяния, но писатель видит: свет из тьмы и свет этот нагадано ярко». Блок в письмах проклинает «подлый либеральный строй и страшную предгрозовую эпоху». Но пишет и стихотворение: «Двадцатый век... Еще бездомней, еще страшнее жизни мгле (еще чернее и огромней тень Люцеферова крыла). Пожары дымные заката (Пророчества о нашем дне), кометы грязной и хвостатой, ужасный призрак в вышине. Безжалостный конец Мессины (стихийных сил не превозмочь) и неустанный рев машины, кующей гибель день и ночь. Блок один из первых почувствовал, что такое «наша гибельная кровь» и написал: «Сулит нам раздувая вены, все разряжая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятеже». Он с юности чувствовал мятежность духа и говорил про «нашу гибельную кровь». Но в его поэме «Возмездие» Блок изображает свой родительский дом, который понемногу разрушается. Этот дом и есть герой поэмы, а не какой-то человек из этого дома. И поэт дополняет: «Гостеприимный старый дом», в котором жили его наивные деды. Вот каков был этот дом: «Всею ведомо, что и доме этом и обласкают, и поймут, и благородным мягким светом

всех осветят и обольют». Свет ведь не вода, но поэт применяет это слово в поэме. Зато глухую пору Александра III, его тезки, озарил кровавой зарей: «Раскинулась необозримо уже кровавая заря, грозя Артуром и Цусимой, грозя Девятым января». То есть кровавым воскресеньем. Разрушение дома шло исподволь. Первый удар по дому нанес разночинец «нигилист в косоворотке». Через лет десять дом затрясся от руки террористов Желябова и Софьи Перовской – людей с «обреченными глазами»: Грянул взрыв с Екатерининского купала». Теперь он называется каналом Грибоедова, погибшего в посольстве Турции. «Возмездие» - поэма пророческая. Вскоре в доме не стало очага, зато гуляли сквозняки и ветры. А Блок пишет: «Как не бросить все на свете, не отчаяться во всем, если в гости ходит ветер, только дикий, черный ветер, сотрясающий мой дом? Что ж ты, ветер, стекла гнешь? Ставни с петель дико гнешь?»

Нина, устало вздохнув, передала мне эстафету, и я продолжил говорить:

– Вся лирика Блока с 1905 года – это бездомность и дикий ветер. Но скоро дом в имени Шахматово был во время революции и вправду разрушен. Но Блок только махнул рукой и, якобы, сказал: «Туда ему и дорога». А смолоду-то он очень любил дом: «Много места, жить удобно, тишина и благоухание». Но после революции Блок говорил: «Всякую правду мы примем с распростертыми руками и объятиями. Но когда пахнет ложью, мы ее отвергаем». И в его словах не было ни малейшей рисовки. И эту беспощадную правдивость пришлось испытать Александру Александровичу в 1921 году на его торжественной встрече. Он имел огромный успех, но собой был недоволен. И пошли с Леонидом Андреевым на прогулку на лыжах. Блок в глубоком сугробе споткнулся и рухнул в снег. Чуковский поспешил помочь Александру, но он оттолкнул руку и проговорил со слезами на глазах: «И матрос на борт не принятый, идет, шатаясь сквозь буран. Все потеряно, все выпито! Довольно больше не могу...» потом Блок написал в дневнике: «Только правда, как бы она не была тяжела...» И правду, исчезнувшую из русской жизни, возвращать – наше дело» И тут мне вспомнилась фраза из поэму «Василий Теркин» Твардовского: «Но все сильнее и пуще не прожить наверняка, без чего? Без правды сущей, да была б она поуще, как бы не была горька!» Была горькая правда и у Александра Блока.

И Александр резал правду-матку независимо от того, кому он ее высказывал. У Блока был двоюродный брат Сергей Соловьев и много лет поэт называл его «милый Сережа». Но когда «милый Сережа» обнародовал первую книгу: «Цветы и ладан», то Блок написал про творчество Соловьева вот так: «Он не поэт, а бойкий, бездушный ремесленник, пустой и забубенный рифмач». Вот с таким жестоким презрением отозвался о «труде» милого Сереженьки. Но Александр Блок относился всегда так ко всяческой фамилии.

Но его двоюродный брат пришел в бешенство. Так произошло и с Белым: «Три года пламенной дружбы и вдруг! Боря! Я хотел посвятить тебе статью. Теперь это было бы ложью» и вычеркнул свое посвящение. Вот таким правдолюбом и правдорубом был Александр Блок. Так Александр Александрович подписывал свои рукописи.

А Нина сказала:

– Володя, я теперь продолжу рассказ.

И стала говорить:

– Может быть это мелочи, Нина, но нельзя делить правду на большую и маленькую. Настало время для него и встать за правду большую. Поэт «Прекрасной Дамы» вдруг стал издеваться над нею в пьесах «Незнакомка», «Балаганчик». А после его поэмы «Двенадцать» стали обвинять в измене, приклеили ярлык – предатель. После издания «Скифов» его приятель Белый сказал: «Поражаюсь отвагой и мужеством твоим. Помни, тебе это не простят никогда. Будь мудр». Но этой житейской мудрости у Александра Блока никогда не бывало. И это оценил Горький. Когда Алексей Максимович основал в Ленинграде издательство «Всемирная литература» в 1918 году, он пригласил Блока участвовать в ученой коллегии издательства. И Корней Чуковский задавал вопросы и Горькому, Маяковскому, Брюсову, Вячеславу Иванову, Федору Сологубу, Гумилеву, Анне Ахматовой, Максимилиану Волошину, Сергею Городецкому и многим другим. Стенограмму вопросов и ответов Блока Корней Иванович сдал в архив и написал в своей книге: «Любите ли вы стихотворения Некрасова? – да. – Какие стихи Некрасова вы читаете? – «Еду ночью по улице темной», «Умолкни Муза», «Рыцарь на час». И многие другие. – Как вы относитесь к стихотворной технике Некрасова? – Не занимался. Люблю. – Не было ли в Вашей жизни периода, когда для вас другая поэзия была

дороже поэзии Пушкина и Лермонтова? – Нет! – Как вы относились к поэзии Некрасова в детстве? Он сыграл для меня большую роль. Как вы относились к Некрасову в юности? Безразличнее, чем в детстве и в «старости». – Не оказал ли Некрасов влияние на Ваше творчество? Кажется, да. – Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, что стихи Некрасова «поэзия и не ночевала»? Тургенев относился к стихам, как иногда относятся к стихам старые тетушки. А сам, однако, сочинил «Утро туманное». – Каково Ваше мнение о народолюбие Некрасова? – Оно было неподдельное и настоящее, т.е. двойственное (любовь-вражда). Эпоха заставляла иногда быть сентиментальнее, чем был Некрасов на самом деле. – Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был человеком безнравственным? – Он был страстным человеком и «барин» - этим все сказано 27 июня 1919 года.

Но однажды Блок, шагая по Невскому с Чуковским по непроходимым сугробам в сильную метель, заговорил о «Коробейниках», как об одном из сильных и магических произведений в поэзии, в которых он всегда чувствует вьюгу, разыгравшуюся на русских просторах. И произнес весело и азартно: «Ой, полным, полна коробушка – есть и ситец, и парча...» И Корней Иванович понял, что у Некрасова и Блока неразрывная, кровная связь. Он на одних весах мерил русскую вьюгу и поэзию Некрасова. Именно в зимним и вьюжном Петрограде и увековечил Блок поэмой «Двенадцать», где шагает по улице в алом венчике из роз впереди Иисус Христос. Во Всемирной библиотеке работал молодой человек Левин, который чудом добыл для поэтов дрова. И он обратился потом к Блоку с просьбой написать какое-нибудь стихотворение, коротенькое, кратенькое. Блок написал, а Левин попросил и Гумилева, а потом настала очередь и Чуковского. И Корней Иванович написал Левину с благодарностью, что он добыл дрова и «всемирные литераторы» не мерзнут теперь в помещении: «За жалкие корявые поленья, за глупые сосновые дрова. Вы отдали восторги, вдохновенье и вещи бессмертные слова. Тьль это, Блок? Стыдитесь! Уже не роза, не соловьиный сад, а скудные дары и Совнархоза тебя манят. Поверят ли влюбленные потомки, что наш магический, наш светозарный Блок – мог променять объятья незнакомки на дровяной паяк. А ты, мой Гумилев! Наследник Панеруза, куда, куда мечтою ты влеком? Не Сузя знойная, не буйная Нефуза – заплеванная дверь Петросоюза

тебя манит: не рай, но Райлеском! И барышня из Домотона, тебе дороже Эфиона!» А Николай Гумилев тут же написал экспромта: «Чуковский, ты не прав, обрушась на поленья, обломки божества – дрова. Когда-то деревьям близки им вдохновенья, тепла и пламени слова...» А Блок отозвался через несколько дней: «Нет, клянусь, довольно Роза истощила кошелек! Верь, безумный он – не проза, свыше данный нам паек! Без него теперь и Поза прострелил бы свой висок. Вялой прозой стала роза, соловьиный сад поблек. Пропитанию угроза – уж железных нет дорог. Даже (вследствие мороза?) Прекращен трамвайный ток. Ввоза, вывоза, подвоза не на юг, ни на восток. В свалку всякого навоза превратился городок...» Раз Блок взялся за перо, то оно у него летало по бумаге и оставляло вирши. Но закончил Александр Блок — вот как: «А великие потомки и за то похвалят нас, что не хрупки мы, не помни, здравствует и посейчас. Да! Иль стихи мои не громки? Или плохо рвет постромки романтический Пегас, запряженный в тарантас». Вот так закончил экспромтом мини поэму Александр Александрович. Раз трамвай обесточен, то стоит вспомнить и про своих потомков.

Нина, кончив рассказ, передала исследовать творчество Блока мне. И я стал говорить:

– Однажды Александр Александрович бродил по весеннему Питеру и встретился в одном учреждении с дочерью знаменитого анархиста Кропоткина. И вот, что он написал о ней: «Как всегда были смутны чувства, таял снег и Кронштадт палил. Мы из лавки Дома искусства на Дворцовую площадь шли... Вдруг – среди приятной советской, где все «могут быть сожжены», стих и говор светский этой древней Рюриковны». Затем, кинув свой взгляд на портрет Лермонтова, написанный Дмитрием Паленым, русским, простым офицером в измятой фуражке, произнес:

«Не правда ли Лермонтов только такой? Только на этом портрете? На остальных – не он!» - и умолкает, словно и не говорил ничего. Или внезапно рассказывает, что на Пряжке какой-то насмешник, увидев его, нараспев процитировал строчки из «Незнакомки»: «И каждый вечер в час назначенный (иль это только снится мне?)» И опять надолго умолкает. Да и вообще чужая ирония никогда не уязвляла его. Он написал предисловие о Лермонтове и был доволен. Как-то кто-то ему сказал, что важно не какие Лермонтов видел сны, а в том, что он написал стихи «Не смерть Пушкина». А Блок не

ответил ничего. За то его лицо стало грустным и надменным, но ни одного слова не произнес. А вот с Гумилевым он вел нескончаемый спор о поэзии. Гумилев азартно напал на символизм Александра: «Символисты – просто аферисты. Взяли гирию, написали на ней: десять пудов, но выдолбили середину. Швыряют гирию и так, и сяк, а внутри пустота». На что Блок однажды тонко отвечал: «Но ведь так делают все последователи и подражатели любого течения. Символизм тут ни при чем. И то, о чем вы говорите – не русское! Про это можно сказать хорошо по-французски...» Но спорщики не закончили спора. Блок познакомился с востоковедом академиком Крачковским. И Блок расспрашивал его о египтянах для исторической картинки «Рамзес». И два профессора, которые работали над этой же темой, тайно уехали из Питера в эмиграцию и стали из-за «бугра» клеветать на Блока и Крачковского. Никто не видел раньше такого волнения у Крачковского. А Блок выучив наизусть стихотворение Анны Ахматовой, пустил вдогонку предателям ее стихи: «Мне голос был. Он звал утешено, он говорил: «Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда... Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речи недостойной не оскорбили скорбный дух.» Прочитав стих, он добавил: «Ахматова права. Это недостойная речь. Убежать от русской революции – позор». В 1921 году он пишет статью: «Зарубежная русская печать разрастается. Следует отметить значительное изменение тона к России и литературных собратьев, оставшихся на родине. Это естественно. Первые беглецы были из тех, кто не вынес удары исторического молота: когда им удалось ускользнуть (удалось ли еще? Не достигнет ли их там история? Ведь спрятаться от истории невозможно). Но они унесли с собой сливки первого озлобления. Они стали визгливо лаять, как мелкие шавки из-под воротни. Разносить с обрывками правды самые грязные сплетни и небылицы. Сейчас голоса этих господ и госпожей затихают. Зато господам Даменским приходится читать лекции проституткам и есть капусту. За рубежом понимают, что одним анекдотом, очень скверным, их побег не объяснить. Возражать же всякой пошлой швали не хочется. А с людьми, говорящими по-человечески, будем!»

Надо добавить, что Блок в 1919 году был одним из директоров «Большого театра». Он призывал актеров не тратиться на дешевые новшества, а учиться у Шекспира и Шиллера. В сладострастных

исканиях нельзя не устать, а горный воздух сберегает силы. Дышите, дышите им, в нем ваша защита. Актеры любили своего вдохновителя: «Блок – наша совесть» - говорил они. Когда он был в Москве и выступал в Доме печати с циклом стихов на подмостки забрался юноша и стал хулить поэта: «Я вас спрашиваю, где динамика? Это стихи мертвеца и написал это мертвец». Блок наклонился к своему другу Чуковскому и тихо сказал: «Это правда». Корней Иванович увидел, что Блок улыбнулся и попытался возразить Александру, но он шокировал Чуковского фразой: «Он говорит правду – я умер». Блоку приходилось и рубить капусту и колоть дрова, а походка была такая же величавая и такая печальная. Великий поэт, воплотивший в себе эпоху превратился в поденщика, стал редактировать переводы из Гейне и даже писал рецензии о мельчайших, бездарных поэтах. Наступила депрессия. Чуковский спрашивал его: «Почему же вы не пишете стихи?» А он отвечал монотонно: «Все звуки прекратились, они притушены для меня. Кошунственно и лживо припоминать эти звуки в беззвучном пространстве». Как мог понять Блок, что у него был сейчас графический слух: задолго до войны и революции он уже слышал их «музыку». А когда-то Блок мог написать за один день два, три, четыре, пять стихотворений. И лилась эта поэзия с 1898 года по 1918 год – двадцать лет. И для Прекрасной Дамы он написал 687 стихотворений, гимнов одной женщине. Невероятный молитвенник для своей Богине. И вдруг божий дар пропал в течении нескольких лет ни одной строчки.

Нина попросила меня:

– Володя, я поняла молчание Блока и постараюсь объяснить читателям почему это произошло.

М не осталось только кивнуть головой, и Нина стала говорить:

– Я читала, что лицо у Блока было неподвижное, окаменелое, похожим на маску. Но Корней Иванович считал, что его лицо было сильным с еле уловимым движением мимики лица будто зыбко колыхались «волны» у глаз, около уголков рта. Его спокойствие было кажущимся. В нем зеркально отражались и боль, и радость. Это надо было уметь увидеть... Уезжал в Москву Блок против своей воли. Он с усмешкой сказал Чуковскому: «Стены моего дома отравлены ядом... И может быть поездка в Москву отвлечет от домашних печалей». В вагоне он был весел, разговорчив, читал стихи и угощал соседей куличом. Но вставая с места, расправлял



больную ногу и улыбаясь говорил: «Болит».

Думал, что у него подагра. А в Доме печати один сотрудник, выпучив глаза сообщил Блоку: «Так мне сказали, что вы уже умерли!» А в руке у Александра Александровича были «Итальянские стихотворения», которые он должен прочитать. Он стоял молча и глубокомысленно вспоминал, что он прочтет почтеннейшей публике. В итальянском обществе его встретили радушно. А Блок стал читать стихи упоительно, как ни разу не читал их в Москве густым страдальческим голосом. Он сел попить чаю с Чуковским. И Корней Иванович с изумлением отметил: «Блок был непохож на себя: жесткий, нелюдимый, с пустыми глазами будто паутиной покрыты. Да и волосы и уши у него стали совсем другими. А сам он был словно отрезан от внешнего мира. Одна знакомая Блока написала письмо Чуковскому: «Болезнь развивалась как-то скачками. Бывали периоды улучшения. Вначале июля стало казаться, что он поправляется. Он уже не могут уловить и продумать ни одной мысли, а сердце причиняло ему ужасные страдания и часто задыхался. С двадцать пятого числа наступило резкое ухудшение. Попытались увезти в город. Но доктор не разрешил – слишком слаб и переезда не выдержит. К началу августа постоянно находился в забытьи. По ночам бродил и страшно кричал. Я этот болезненный крик никогда не забуду. Ему впрыскивали морфий, но и это мало помогало. Перед отъездом узнала по телефону о его смерти и побежала на Офицерскую. В первую минуту даже не узнала его. Волосы черные, короткие, виски седые, усы и маленькая бородка, да орлиный нос. Александра Андреевна сидела около постели и гладила его руки. Когда Александру Андреевну вызвали посетители, то она сказала мне: «Подойдите к Сашеньке». И эти слова, которые столько раз говорились ему при жизни, отнимали у меня веру. Смерть неминуема. Место на кладбище я выбрала сама – на Смоленском, рядом с могилой его деда под старым кленом. Гроб несли на руках открытый, цветов было много».

После «тоскливой боли», как писала одна женщина, которая любила его безумно, мы с Ниной долго молчали...

А потом она спросила меня:

– Что ты предлагаешь, Володя, поставить для читателей какое-же произведение для детей из арсенала Корнея Ивановича.

Тут-то я и предложил:



– Нужно что-то веселое и радостное, например, про Новогоднюю елку. И если ты не возражаешь, то начну читать.

– Читай, – сказала Нина, – Блок любил отмечать праздники. А уже Новый год – это самый личный во всем мире праздник!

Я, приосанившись, словно выступая со сцены, объявил торжественно:

– Елка! – и после паузы стал декламировать:

– Были у елочки ножки, побежала бы она по дорожке. Заплясала бы она вместе с нами, застучала бы она каблучками. Закружились бы на елочке игрушки – разноцветные фонарики, хлопушки. Завертелись бы на елочке флаги из пунцовой и серебряной бумаги. Засмеялись бы на елочке матрешки и захлопали от радости в ладошки. Потому что у ворот постучался Новый год! Молодой с золотой бородой.

## Глава: Анна Ахматова

С Анной Андреевной Ахматовой Чуковский познакомился в 1912 году. Она была стройная, похожая на робкую пятнадцатилетнюю девочку. И ни на шаг не отставала от своего мужа Николая Гумилева. Но знаменитый поэт, когда его спрашивали: «Кто это за дама такая с вами?», он объявлял: «Это моя ученица. Любит поэзию, пишет, но желает стать известной в наших поэтических кругах!»

– На самом же деле годы ее первых стихов – стала рассказывать Нина, – были для Анны Ахматовой неожиданными - необыкновенно шумных триумфов. Но через два-три года она стала себя ощущать гордой и независимой. Но самая главная ее черта была уже «Величавость». Как говорил поэт Некрасов: «Есть женщины в русских селеньях с спокойною нежностью лиц, с красивою силой в движеньях, с походкой, со взглядом царик».

– Да, да – повторила Нина, именно так с царственным, королевским взглядом! И где бы Анна Ахматова не находилась, но все ощущали ее «спокойную нежность». И многие ее знакомые удивлялись, что Анна Андреевна не гналась за домашним уютом и комфортом. В ее комнате не было даже письменного стола, а тем более шкафов и комодов. Аскетичность ее многих удивляла. Скупое было даже в книгах: томик Пушкина, Библия, Данте и Шекспир – вот ее вечные спутники. В Москве она жила то под одним, то под

другим потолком и написала об этом бродяжничестве: «Никого нет в мире бесприютной и бездомнее, наверно, нет». Зато щедрости у Анны Ахматовой было хоть отбавляй. В Ташкенте кто-то из ее поклонников яркой поэзии подарил несколько кусочков сахара. Она поблагодарила дарителя за подарок, но через минуту, когда он ушел, отдала эти драгоценные кусочки пятилетней соседской девочке, заявив: «Я же не сошла с ума, чтобы во время войны (шла тогда Первая Мировая война) сахар есть!» Не об этой ли своей уникальной доброте она вспоминает в нескольких строчках о матерях в «Предыстории»? И вот эти строки: «И женщине с прекрасными глазами, с редчайшим именем и белой ручкой и добротой, которую в наследство я от нее, как будто получила, – ненужный дар моей жестокой жизни». У нее была огромная начитанность: «Овидий, Вергилий, Данте, Монтень, Пушкин, Достоевский – великие поэты и философы, имена которых не будут забыты никогда и неким. А уж многие произведения Пушкина Анна Ахматова знала наизусть. Историю России она изучила как историк. В одной из пушкинских статей Анна прочитала фразу: «мой предшественник Щеглов». Она задумалась: «Щеголев не поэт, но крупнейший историк. И она познакомилась с Павлом Елисеевичем Щеголевым и изучила всю историю России от протокола Аввакума, о стрелецких женах, о декабристах. Она знала каждого как будто разговаривала с ними лично. Этим она напоминала писателей Юрия Тынянова и академика Тарле.

– Очень разносторонняя женщина Анна Ахматова! – произнес с восхищением я и предложил Нине:

– Теперь мой черед рассказывать об Анне Ахматовой. Едва вышли ее первые книги «Вечер» в 1912 году, «Четки» в 1914, «белая стая» в 1917 году стало понятно, что Ахматова тяготеет к темам бедности, сиротства и скитальчества, а эпитеты: «Скудный, убогий и нищий». Она изначально пыталась познать глубину души русского, российского народа. Вот одна из фраз, когда героиня говорит любимому человеку: «Зачем ты к нашей грешнице стучишься?» Или: «Лицо нищенки обижено». А вот еще более яркое: «Помолись о нищей, о потерянной, о моей живой душе». Но Ахматова даже свою музу не пожалела: «И Муза в дырявом платке протяжно воеет и уныло». Корней Иванович говорил с сожалением о ней: «Она поэт сиротства и вдовства. Безголосый соловей, у которого отобрали

песню или танцовщица, которую покинул ее любимый партнер, или умер сероглазый король».

А вот и стих Ахматовой: «Он никогда не придет за мною, умер сегодня мой царевич». Или: «Одной надеждой меньше стало, одною песней больше будет». И даже восхищение ее какое-то горькое: «О как ты красив, проклятый...» Понятно, что после «белой стаи» Анна Андреевна написала: «Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою». Но меня поразило еще большее ее одна строфа: «Несказанные речи я больше не твержу, и в память той не встречи шиповник посажу». Вот так: встреча-то не состоялась, а слова-то стиха остались на века. Как вот и эти: «на груди моей дрожат цветы не бывшего свиданья». Но не все было так мрачно и вот что написала Анна Ахматова: «Просыпаться на рассвете оттого, что радость души, и глазеть в окно каюты на зеленую волну. Иль на палубе в ненастье в мех закутавшись пушистый, слушать как стучит машина и не думать не о чем. Но предчувствие свиданья с тем, кто стал моей звездой, от соленых брызг и ветра, с каждым часом молодеть!».

И все-таки у этой бездомной странницы был свой Дом, который был в любые времена ей спасительным прибежищем. Этот Дом назывался Родиной, ее родная земля. И когда началась великая Отечественная война, то она сказала и о бесчеловеческом нападении на нашу страну фашистов: «Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит. Час мужества пробил на наших часах и мужество нас не покинет. И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами, живые мертвые, для славы мертвых нет! Пусть женщины выше поднимут детей, спасенных от тысячи тысяч смертей».

А Нина вспомнила, что не только во время Великой Отечественной войны Анна так писала патриотически. Она написала и про империалистическую войну 1914-1917 годов слова, которые услышала в народе. И вот о чем Нина стала говорить о стихах Ахматовой:

– Только нашей земли не разделит на потеху себе супостат: Богородица белый расстелет над скорбями великими плат». Анна Ахматова из раннего цикла стихов произнесла: «Я готова отдать все, что у меня есть, самое дорогое и вытерплю любые удары судьбы, лишь бы устояла Россия». И написала: «Стала туча над скорбной Россией, стала облаком в славе лучей.» Ее лирика почти всегда была

сюжетной. Но кроме дара музыкально-лирического у нее был еще и дар повествовательный, дар беллетриста. Кроме песен и стихов у Анны Ахматовой были и новеллы, где она одним незабываемым штрихом показывала всю красоту своего произведения. Вся Россия запомнила ее четверостишие: «Как беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки». Про эту перчатку запомнила вся Россия. Запомнила страна и вот эти строки Анны Ахматовой: «И была для меня та тема, как раздавленная хризантема на полу, когда гроб несут...» без стихов Анны Андреевны наша страна была бы беднее. Потому что под каждой ее строкой незримо присутствовал Пушкин: «На коре корявой ели муравьиное шоссе». Образность поэтическая сильна. И про ранний сентябрь: «И первая – праздничный беспорядок вчерашнему лету назло. И листья летят, словно клочки тетрадок и запах дымка так ладана сладок. Все влажно, пестро и светло». Хоть бери эти строчки и напиши под картиной: «Золотая осень!». Но это не все, далее звучит и ее вторая строфа: «И первыми в танец вступают березы, накинув сквозной убор, встряхнув второпах мимолетные слезы на соседку через забор».

Но недолго длятся эти праздничные пляски светлые и яркие пестрой расцветки «первой» осени. У Анны появляется уже и «вторая осень»: «Но это бывает – чуть начата повесть, секунда, минута – и вот приходит вторая, бесстрашно, как совесть мрачна, как воздушный полет. Все сразу бледнее и старше, разграблен летний уют, и труд золотых отдаленные марши в пахучем тумане плывут». Пахучий туман – необыкновенный лирический образ, но именно он показывает, что и «вторая осень» уже продлится недолго и настанет и «третья осень»: «И в волнах холодных его фимиама закрыта высокая твердь. Но ветер рванул распахнулось и прямо всем стало понятно: кончается драма. И это не третья осень, а смерть». Вот так безжалостно закончила стихотворение «Три осени» Анна Ахматова.

Мы помолчали, и я предложил Нине самому продолжать рассказ:

– Чем старше становилась Анна Андреевна, тем сильнее ее тянуло к исторической живописи. Это желание вылилось в «Поэму без героя». И работала она над этой поэмой 25 лет: с 1940 по 1965 год. Но она не огорчалась и сказала: «И чудилось: рядом шагают

века». Уму не постижимо: «Она шла не вровень со своим веком, а шагала и в прошлых веках и, намеривалась шагать в будущих веках. Вот ее стих написанный еще в 1913 году гласит: «Из года сорокового, как с башни, на все я гляжу». Вот это дальноркость! А вот вещие строки Ахматовой: «Но снится мне: в сорок четвертом, и не в июне ль первый день... Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет». Для Анны Ахматовой это не афоризм. Эту истину она отразила и воплотила в реальных образах в стихотворении «Предыстория». Ведь произошло вторжение капитализма в нашу феодальную Русь. Начался бешенный разгул спекуляции, биржевой ажиотажа, миллионные барыши банковских и железнодорожных магнатов и их дикие кабацкие оргии с «ты меня уважаешь?», «а ты меня?» «Значит мы оба уважаемые люди». Все это отражено в строчках Анны Ахматовой «Предыстория». Россия Достоевского. Луна почти на четверть скрыта колокольней. Торгуют кабаки, летят пролетки, пятиэтажные растут «громады». «Громады» в кавычках. Какие же это громады, если дом из пяти этажей? Но она пишет дальше: «В Гороховой, у Знаменья, под Смольном». Везде танцклассы, вывески менял, а рядом «Априетт», «Базиль», «Андре» и пышные гробы: «Шумилин-старший». Все эти вывески, в том числе и «Шумилин-старший» идут на подробу новоявленным хищникам. А дворянство русских вырождается вот такими хапугами, как старший Шумилин. Но они в России – гости: «Земли – заложены. И в Бадене – рулетка» - написала Ахматова про прожигателей жизни за границей. И добавила: «Шуршанья юбок, клетчатые пледы, ореховые рамы у зеркал. Карененской красою изумленных и в коридорах узких те обои, которыми мы любовались в детстве под желтой керосиновой лампой и тут же плющ на креслах. Так вот когда мы вздумали родить...» Да в «Предыстории» Анна Андреевна показала колорит той эпохи. Плющ на креслах был малинового цвета, а каждое кресло окаймлялось густой бахромой. Такая же бахрома была и на портьерах. Это шуршание юбок воспевали многие поэты. А Фет не преминул написать: «О сладкий, нам знакомый шорох платья любимой женщины, о как ты мил!» Упомянутый Ахматовой про Анну Каренину указывает на дату – семидесятые годы 19 века. В 1875 году Достоевский издал роман «Подросток» и примерно в это же время вышли сатирические произведения Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Ахматова

для «Предыстории» подобрала эпитафию и пушкинского «Домик в Коломне». Всего пять слов, но каких: «Я теперь живу не там...» Но тикают часы, весна сменяет одна другую, розовеет небо, меняются названия городов и нет уже свидетелей событий и не с кем плакать, не с кем вспоминать». И одна из этих эпох – 1913 год, начало конца самодержавной России. И Ахматова говорит: «То был последний год». Да в 1914 году по 1917 год шла война.

Произнеся эту фразу, я смолк, а Нина перенеслась в другую эпоху и стала говорить об Анна Ахматовой:

Она написала в поэме: «Были святки кострами согретые и валились с мостов кареты». И Корней Иванович вспоминает, как разводились тогда костры на площадях у театральных подъездах, чтобы кучера, поджидавшие своих господ, не оконечили от холода. А Ахматова добавляет еще детали: «В гривах, в сбруях, в мучных обозах, а над дворцом черно-желтый флаг». Этот флаг – черно-желтый штандарт последнего императора России Николая Второго, который тогда еще развивался над Зимним Дворцом. Но недолго ли этот флаг развивается? Анна Ахматова пишет: «И по набережной легендарной приближался не календарный – настоящий двадцатый век. Ветер рвал со стены афиши, дым плясал вприсядку на крыше и кладбищем пахла сирень. И всегда в духоте морозной, предвоенной, блудной и грозной, жил какой-то будущий гул...» но даже в эпохи упадка никогда не была бесплодна. И Анна Андреевна говорит: «Сплю – мне снится молодость наша». Ахматова не сказала: «моя молодость», а назвала ее всеобщей «молодость наша». А мы до сих пор не научились гордиться лирикой наших русских поэтов XIX и XX веков. Плохо и поверхностно знаем эту лирику. Но никогда не исчезнут произведения, созданные нашими поэтами: Батюшкова, Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Некрасова, Тютчева, Фета, Блока, да и самой Анны Андреевны Ахматовой. Разве не шедевр ее фраза: «Желтой люстры безжизненный знает: ил: «Осень смуглая в подоле красных листьев принесла». А как умело показать читателям Анна Ахматова дуновение далекой весны: «Перед весной бывают дни такие: под плотным снегом отдыхает луч, шумят деревья весело сухие и теплый ветер нежен и упруг. И легкости своей дивится тело, и дома своего не узнаешь. И песню ту, что прежде надоела, как новую с волнением поешь». А в лютую стужу, в морозном Ленинграде она написала изящную фразу: «И малиновые костры,

словно розы в снегу цветут». Ленинград бы не отделим от Анна Ахматовой и его жители до сих пор вспоминают ее стихи: «Но ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек сияющие льды, бессолнечные, мрачные сады и голос музыки еле слышный». И даже прощаясь с блокадным Ленинградом она написала вот такие строки: «Разлучение наше ранимо: я с тобою не разлучна. Тень моя на стенах твоих, отражение мое в каналах, звук шагов в Эрмитажных залах. И на старом Волковском Поле, где могу я рыдать на воле над безмолвием братских могил». Власть лирики была у нее беспредельной и молодежь двух или трех поколений влюблялась в ее стихи. Ей не нужно было ни про что забывать, ни от чего не отречься. Она даже в мрачные годы кровавого разгула фашистов писала вдохновляющие строки «Мужество»: «мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах. И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово! Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим и от плена спасем: навеки!» В блокадном Ленинграде Анна Ахматова мечтала только об одном – спасти русское Слово. А значит и всю нашу нацию. Такие слова могли зародиться только в великой душе патриота. А такой и бала Анна Ахматова: патриотом нашей страны.

Я спросил Нину после небольшой передышки:

– Какое же мы с тобой посвятим Анне Андреевне Ахматовой сказочное стихотворение Корнея Чуковского?

Она подумала и предложила:

– Ахматова всегда нуждалась в мужской поддержке. Поэтому я считаю, что «Муха-Цокотуха» более всего подойдет к судьбе Анны Ахматовой. Если бы у нее был такой покровитель как у Мухи-цокотух, то ей было бы во много раз легче жить на белом свете. Поэтому, Володя, начни читать про Муху-цокотуху.

И я стал читать:

– Муха, Муха-цокотуха, позолоченное брюхо! Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла Муха на базар и купила самовар: «Приходите тараканы я вас чаем угощу!» Тараканы прибежали, все стаканы выпивали. А букашки по три чашки с молоком и крендельком: ныне Муха-цокотуха – именинница! Приходили к Мухе блошки, приносили ей сапожки. А сапожки не простые – в них

застежки золотые. Приходила к Мухе Бабушка пчела, Мухе-цокотухе меду принесла. Бабочка-красавица, кушайте варенье! Или вам не нравится наше угощение?»

Когда я сделал передышку, то Нина решила немного прокомментировать эту часть «Мухи-цокотухи»:

– Очень хорошо найти на поле денежку – сказала она. – Недаром же у Мухи-цокотухи брюхо-то позолоченное. Может было золотце и самоварное, но именно самовар на эту денежку она и приобрела. Говорят, что дареному коню в зубы не смотрят, а муха-цокотуха оказалась с щедрой душой и стала угощать чаем тараканов. Ведь они же соседи по коммунальной квартире. Там всегда бывают каждой твари по паре. Вот и тараканы на халяву и прибежали. Одного таракана пригласила, а все в гости припрыгали. Зато букашки выпили по три чашки. Они пришли с крендельком и молочком угостить именинницу. А юркие блошки принарядились прежде чем пойти в гости к Мухе-цокотухе. Да и Мухе-то подарили ценные, красивые сапожки с золотыми застежками. Бабушка пчела принесла что у нее было под рукой – сладкого меда. А Муха-цокотуха предложила красивой Бабочке даже варенье. Все-таки бабочка известна своей красотой среди этих мух, тараканов, блошек и пчел.

После комментарием Нина стала читать свою часть «Мухи-цокотухи:»

– Вдруг какой-то старичок-паучок нашу муху в уголок поволок. Хочет бедную убить, цокотуху погубить! «Дорогие гости, помогите! Паука-злодея зарубите! И кормила я вас, и поила я вас, не покиньте меня в мой последний час!» Но жуки, червяки испугались, по углам, по щелям разбежались: тараканы под диваны, а козявочки под лавочки. А букашки под кровать – не желают воевать... И никто даже с места не сдвинется – пропадай, погибай именинница! А кузнечик, а кузнечик ну совсем как человек: скок, скок, скок, скок за кусток! Под мосток и молчок! А злодей то не шутит – руки-ноги он веревками крутит. Зубы острые в самое сердце вонзает и всю кровь у нее выпивает. Муха криком кричит, надрывается, а злодей то молчит, ухмыляется...»

Нина замолкла от этих ужасных действий паучка-старичка, который мечтает стать кровопийцей, а все гости Мухи-цокотухи ни одной лапкой не шевельнули, чтобы спасти бедолагу. И я стал для читателей пояснять ужасные переживания Мухи-цокотухи:



– Как только Муха-цокотуха попала в беду, то все гости бросились наутек, не слушая ее жалобные крики. Мало ли она их кормила и поила у себя в гостях, но все жуки и червяки испугались и забились в щели или под диваны, а кто-то под лавочки и даже под кровать. Среди тараканов и козявок затесался даже кузнечик. Но он то первым спрятался за кусток и под мосток. Сидит там и помалкивает в тряпочку...

Крик мухи пронзил мне сердце, и я стал продолжить начатое Ниной стихотворение:

– Вдруг откуда-то летит маленький комарик, а в руке его горит маленький фонарик: «Где убийца? Где злодей? Не боюсь его когтей!» Подлетает к пауку, саблю вынимает и на всем его скаку голову срубает! Муху за руку берет и к окошечку ведет: «Я злодея зарубил, я тебя освободил и теперь душа-девица на тебе хочу жениться!» Тут букашки и козявки выползают из-под лавки: «Слава, слава комару – Победителю!» Прибегали светляки, зажигали огоньки – то-то стало весело, то-то хорошо! «Эй, сороконожки, бегите по дорожке. Зовите музыкантов, будем танцевать!»

Вот тут-то уже Нина взяла броды правления и продолжила рассказ:

– Музыканты прибежали, в барабаны застучали: бом, бом, бом! Пляшет Муха с комаров. А за нею клоп, клоп сапогами топ, топ! Козявочки с червячками, букашечки с мотыльками, а жуки рогатые, мужички богатые шапочками машут, с бабочками пляшут: «Тара-ра, тара-ра заплясала мошкара. Веселится народ – Муха замуж идет. За лихого, удалого, молодого комара! Муравей! Муравей! Не жалей лаптей. С муравьиhoю подпрыгивает и букашечкам подмигивает: «Вы, букашечки, вы милашечки, тара-тара-тара-Таракашечки!» Сапоги скрипят, каблуки стуча, будет, будет мошкара веселиться до утра: нынче Муха-цокотуха – именинница!»

Мы тоже порадовались с Ниной такой сказкой Корнея Чуковского. У него всегда сказки со счастливым концом. Но к нам с Ниной подошел маленький ребенок детсадовского возраста и вдруг четко выговаривая слова, произнес фразу: «Муха, муха-потакуха». Видимо наслушался от нянечек в детском садике. Но смеяться мы не стали. Если обратить внимание на его реплику, то он запомнит эту фразу на всю жизнь...

## Глава: Маяковский

К 1913 году появились новые веяния по отношению к классической русской литературе. Появились новые течения: аклеисты, футуристы и так далее. Футурум – это будущее в переводе на русский язык. И многим писателям этот футуризм не нравился. Но имена футуристов мелькали в газетах, журналах: Елена Туро, Василий Каменский, Хлебников, Давид Бурлюк, Игорь Северянин. Но Владимир Маяковский хоть и числился в рядах футуристов, но многие его стихи были образными: «Это душа моя клочьями порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольни! Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». Этими стихами и был окрашен для Корнея Чуковского Владимир Владимирович Маяковский. Но Корней Иванович хотел узнать почему Маяковский ощущает себя «подраненной, загнанной ланью». Маяковский узнал, что Чуковский хочет встретиться с ним и увидел, что Владимир хмурый и неприязненный подошел к нему и спросил: «Что вам надо?» В голосе были учтивые нотки, но вопрос был поставлен резковато – твердо.

Но Чуковский вынул книжицу, изданную Маяковским, и стал горячо излагать мысли и свои мнения о его книге.

Маяковский прослушал Корнея Ивановича не больше минуты без всякого интереса в глазах и обрезал:

– Я занят. Меня ждут. А если вам хочется похвалить эту книгу, то пройдите, пожалуйста, вот в тот угол, где сидит за столом старичок в белом галстуке и расскажите ему все...

– При чем же тут какой-то старичок? – спросил Чуковский и получил четкий ответ:

– Я ухаживаю за его дочерью. Она уже знает, что я великий поэт. А ее папаша сомневается. Вот и расскажите ему обо мне.

Корней Иванович хотел обидеться, но взвесив «за» и «против», пошел к старичку за столик.

Маяковский изредка появлялся в двери и сочувственно следил за успехом разговора со старичком. Делал какие-то знаки, а потом снова уходил к столу бильярда. И Чуковский понял, что покровительствовать Маяковскому невозможно. Он сам с усами и очень горделивый человек. Но Корней Иванович тогда перевел стихи поэта Уолта Уитмена и чтобы услышать отзыв прочитал

Маяковскому перевод «Поэмы изумления при виде воскресшей пшеницы»: «Куда же ты девала эти трупы, земля? Этих пьяниц и жирных обжор, умиравших из рода в род?» Маяковский, не выражая восторга, промолвил: «Занятно. Прочитайте эти стихи Бурлюку. Но в вашем переводе есть сладость потери. Вы в этом стихе говорите «плоть», но тут нужно слово не «плоть», а «мясо»: «Я не прижмусь моим мясом к земле, чтоб ее мясо обновило меня». И в подлиннике оказалось сказано в самом деле: «Мясо». Интуиция, или Маяковский уже читал перевод? Но Маяковский слушал Корнея Ивановича опершись на трость. Из стихов Уитмена он выделил несколько фраз: «Водопад Ниагара – вуаль у меня на лице. Запах пота у меня под мышками ароматнее всякой молитвы. Я весь не вмещаюсь между башмаками и шляпой. Мне не нужно, чтобы звезды светились ниже, они и так хороши, где сияют сейчас. Солнце ослепительно страшное, ты насмерть поразило бы меня если бы во мне самом не было такого же солнца!»

Я сделал передышку, а Нина предложила мне:

– Отдохни, Володя, Маяковский любил свое дело, но люди в ту пору для него делились на врагов и друзей. В 1913 году Чуковский бранил футуристов, как вдруг Маяковский в этот момент появился в желтой кофте и прервал чтение Корнея Ивановича выкрикивая в адрес его обидные, злые слова. Эту кофту принес Маяковский контрабандой. Хотя полиция запрещала ему носить желтую кофту. Когда он был в пиджаке, то полицейский его пропускал. Но Маяковский желтую кофту заворачивал в газету, а потом, одев ее, заворачивал в бумагу пиджак. Но эпатаж Маяковского был не только в одежде, а и в словах: «Все вы на бабочку поэтического сердца взгромоздились грязные в калошах и без калош. Толпа озверевает и будет тереться, оцетинит ножки стоглавая вошь». Вся публика сама оцетинилась, а Маяковский, выпятив нижнюю губу, словно созданную для выражения на его лице презрительной ненависти, продолжал говорить издевательски: «А если сегодня мне грубому гуину кривляться перед вами не захочется и вот я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам, я – бесценных слов транжир и мот.» Ни у кого не было сомнения, что именно он их называет «стоглавой вошью», а плевки предназначены именно им... Многие дамы сказали: «Фи... как грубо» и удалились из зала. Но Маяковского это только раззадорило. И он вдогонку беглецам продолжал сыпать

разные слова: «Ищите жирных в домах-скорлупках и в бубен брюхо веселье бейте! Схватите за ноги глухих и глупых и дуйте в уши, как в ноздри флейты». Через десять минут Маяковский уже был на улице, а его книга так и осталась не изданной. Но публика-то чувствовала в зале, что перед нею стоит не какая-то размазня, а солдат, стойкий оловянный солдатик с гранатой за поясом. Несколько раз в Москве делалась попытка издать книгу Владимира Маяковского. Он ее уже назвал «Кофта-фата». Но издателей в Москве было мало, а обложка так и осталась висеть в комнате Владимира Владимировича.

Нина умолкла, а я продолжил рассказывать о злоключениях Маяковского:

– Свою поэму «Тринадцатый апостол» Владимир Маяковский стал сочинять в 1915 году в Куопалле, где проживал на даче художник Репин Илья Ефимович. Она была почти на морском берегу, где были не только песчаные пляжи, а каляные вкрапления в них. Маяковский, прыгая с камня на камень, бормотал стихи: «Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу. И вина такие расставим по столу, чтоб захотелось пройтись в ки-ка-ту хмурому Петру Апостолу...» План поэмы «Тринадцатый Апостол» был разбит на четыре главы или четыре крика этой поэму: «Долой вашу любовь», «Долой ваше искусство», «Долой ваш строй», «Долой вашу религию», то есть все устои мира долой к черту. Вот тогда Владимир Маяковский и стал писать свои вирши лестницей: «Любовница

которую

вылюбил

Ротшильд.

Иногда одна строка занимала целый день. Но к вечеру он ее забраковывал. И все начиналось сначала: шаги по пляжу, бормотание и «выхаживание» нового варианта. Блокнот он с собой не носил, но память у него была. Он мог часами декламировать не только свои стихи, а и стихотворения многих других поэтов. Иногда напевал их под шум волн с иронией в голосе. Лиля Брик вспоминала с каким удовольствием читал Маяковский Северянинские стихи. И когда меня Лиля Брик приходила к Маяковскому в гости, то он встречал ее словами Анны Ахматовой: «Я пришла к поэту в гости ровно в полдень. Воскресенье». Он на все события в стране отзывался

чужими стихами. И Лиля Брик даже книгу свою личную назвала... да, да именно так: «Чужие стихи». Вот как Маяковский обращался к миле со стихами Пушкина: «Я знаю: жребий мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Однажды Маяковский сказал крикунам оппонентам фразу Некрасова: «Весело бить вас, медведи почтенные!» И «почтенные медведи» приутихли. Леонид Андреев узнав, что Чуковский прочитал лекцию про стихи Маяковского написал пародию: «надену я желтую блузу и бант завяжу до ушей. И желтого вмятую в лужу известный Чуковский Корней. Пойду я по крышам и стогам, раскрасивши рожу свою. От всюду позорно изгнан, я гимн чепухе пропою». Маяковский в эту пору шлифовал свое «Облако в штанах». И написал строку: «Гранитных строчек босой алмазник». Поэтому Корней Иванович был изумлен, что Владимир Маяковский в дачном затишке начавшейся войны написал пророчащие строчки, что «победа революции близка...»

– Вот я и расскажу сейчас, Володя, – сказала Нина, – об годах начавшейся войны:

– Чуковский сказал тогда о Маяковском: «Он поэт катастроф и конвульсий», а революция – это трагедия нашей страны России». И вот, что писал поэт Владимир Маяковский: «Кричу кирпичу, слов насупленных вонзая кинжал в небо распухшую мякоть». И это был его крик о «неблагополучии мира». Началась Первая мировая война. А об этом явлении угадал Маяковский с гениальной прозорливостью.: «Где глаз людей обрывается куций, главой голодных орд, в терновом венке революций грянет шестнадцатый год. А я у вас – его предтяга». И Маяковский стал «предтягой» революции. Владимира Владимировича пригласил Корней Иванович к себе на дачу. И вдруг к ним зашел гениальный художник Илья репин со своей дочерью. Репин был одет экстравагантно: белоснежная рубашка оттеняла его такой же блистательный костюм. Маяковский был полон боевого задора и его стихотворная фраза зависла в воздухе. Репин любезно, но сухогато, поздоровался с Чуковским и Маяковским и присел за стол. А дочь Репина шепнула Корнею Ивановичу: «Пусть лучше Маяковский не читает свои футуристические стихи. Мой отец терпеть не может футуристов, а это повлияет на папино здоровье».

А Маяковскому было тогда 23 года и он стоял на пороге

молодежного поприща новой поэзии. И стал читать строки из «Тринадцатого Апостола»: «Это опять расстрелять мятежников – грядет генерал Галифе». И дочь Репина при этих строчках напряглась, считая, что ее отец начнет возмущаться, но произошло все по-другому. Он вдруг радостно хлопнул в ладони, с восторгом произнес: «Браво, браво!» Маяковский приободрился и стал читать еще более красноречиво, а Репин после каждой строфы хлопал в ладоши, приговаривая: «Так, вот так, вот так!» Маяковский смолк, но Репин просит: «Еще, ещё!», а поэт говорит: «Через час отсюда в чистый переулочек вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, а я вам открыл столько стихов шкатулок, я – бесценных слов мот и транжир». Репин разгорается еще жарче и кричит: «Вот это темперамент!» И, к сожалению, окружающих поднабравшихся слушателей, услышавших голоса Репина и Маяковского, они слышат, как Илья Репин сравнивает Маяковского с Мусорским. Владимир Владимирович обрадован, но не смущен. А потом Илья Ефимович заявляет: «Я хочу написать ваш портрет. Приходите ко мне в мастерскую». Для многих поэтов было бы лестно услышать эту фразу Ильи Репина: «Я хочу написать ваш портрет». Ведь Илья Ефимович однажды отказался написать великого писателя Федора Михайловича Достоевского.

Нина взяла передышку и сказала:

– А теперь, Володя, рассказывай о Маяковском сам!

И я спокойно начал говорить:

– Владимир Маяковский и тут проявил дерзость, сказав Репину: «А сколько вы мне за позирование дадите?» Но и эта фраза не смутила Репина, а понравилась ему. И он, махнув рукой, произнес: «Ладно, ладно, в цене-то мы с вами сойдемся!»

И тут вся компания решила проводить Илью Репина до дома. Он по-дружески взял Владимира под руку и они тихонько о чем-то разговаривали до порога Репинского дома. Чуковский расслышал только одну фразу Ильи Ефимовича: «Уж вы на меня не сердитесь, но какой же вы к черту футурист? Вы самый матерый реалист. От природы ни шагу, и чертовски уловлен характер в стихах лирического героя».

Корней Иванович же принес в дом Репина несколько рисунков Маяковского. А Илья Ефимович тоже расхвалил и рисунок Владимира Маяковского: «Неплохо, но все же я напишу ваше портрет!»

Но Маяковский схватил со стола художника лист бумаги и сказал: «А я ваш». Сделал набросок портрета Репина и тут Илья Репин одобрил шарж Маяковского: «Какое сходство! Не сердитесь на меня, изумительный реализм».

Но все-таки Репин портрет Маяковского так и не написал. Он приготовил широкий холст, выбрал подходящие для картины краски, сообщил Владимиру, что он напишет «вдохновенные волосы» Маяковского, но... Владимир Маяковский нарочно перед сеансом позирования зашел в парикмахерскую и наголо сбрил свои густые и красивые волосы. Репин воскликнул: «Что вы наделали! О! Я хотел вас изобразить народным трибуналом, а вы?» Маяковский утешал его: «Ничего, Илья Ефимович, отрастут».

Но с книгой у Маяковского все-таки не заладилось. Ее не издали. Зато на эстраде он вел себя вызывающе, дерзко. У него была удивительная способность раздавать зрителям издевательские реплики. «Маяковский, – кричит молодой парень, – вы что полагаете будто мы все идиоты?» «Ну, что вы! – кротко удивляется Владимир, – почему же все? Пока я вижу передо мной только одного идиота!» Некто в черепаховых очках, но в измятом, изжеванном галстуке, залезает на эстраду и хриплым голосом вопит: «Маяковский – труп, и ждать от его поэзии нечего». «Вот странно, – задумчиво произносит Владимир Владимирович, – смердит он, а труп я?» Еще одна реплика: «Маяковский, вы считаете себя пролетарским поэтом, коллективистом, а всюду только и пишете: я, я, я, ...» Поэт же отвечает: «А как вы думаете, Николай Второй был коллективистом? Он то всегда писал «Мы Николай Второй...» Еще один оригинальный вопрос и ответ на него поэта: «Маяковский, каким местом вы думаете, что вы поэт революции?» А он отвечает: «Местом противоположным тому, где задавался вопрос». Следующий вопрос еще каверзнее: «Ваши стихи слишком злободневные. Они завтра умрут. А про вас все забудут. Бессмертие не ваш удел». Маяковский тут же отвечает: «А вы зайдите через тысячу лет. Вот тогда и поговорим». Поднимается еще оппонент и говорит: «Мы вчера с приятелем прочитали ваши стихи, но так ничего и не поняли!» Маяковский отвечает: «Так вы следующий раз поговорите с товарищем поумнее». А тут уже к Маяковскому обращается расфуфыренная девица-красавица: «Маяковский, зачем вы носите золотое кольцо на пальце?» И Владимир Влади-

мирович ответил: «Любезная барышня, я ношу это кольцо на пальце потому, что на носу носить это колечко неудобно!» Искусством стихотворного экспромта он владел виртуозно. И поэтому стал работать над сатирами РОСТА. Карикатуры на Врангеля, Юденича, Ллойда Джорджа набрасывает несколькими штрихами на бумагу и этими же кистями и красками за каких-то десять минут делает и подпи к карикатурам. Как-то в 1920 году Маяковский приехал в Петроград на несколько дней. Он закончил поэму «150 000 000» и приехал читать ее в Питер.

– Стоп, Володя, – сказала Нина. – Ты отдохни немного, а я продолжу рассказывать читателям о Владимире Маяковском.

И стала говорить:

– Посилился он в Доме искусств на Мойке. С утра до вечера у него толпился народ: поэты, друзья, молодежь. Он с удовольствием выслушивал каждого из поэтов, молодежи. Это не утомляло его, а радовало. Речь его была полна каламбуров, экспромтов, эпиграмм и острот. Тогда же Владимир Маяковский стал сочинять стишки и про своего друга Чуковского. Первое четверостишие было вот таким: «Что же ты в лекциях поешь, будто бы громила я? Отношение мое ж самое премилое». А второе не менее шутовское: «Скрыть сего нельзя уже, я мово Корнея тритий год люблю (в душе!) Аль того ранее». Но когда Корней Чуковский обратился к Маяковскому с «Анкетой о Некрасове», то Владимир Владимирович превратил анкету из ответов иронических и, по мнению Чуковского, несерьезных. В анкете как всегда было девять вопросов:

1. Любите ли вы стихи Некрасова? Не знаю. Подумаю до окончания гражданской войны.

2. Какие считаете лучшие? В детстве очень нравились (в лет 9) строки: «безмятежней аркадской идиллии». Нравились от непонимания этой фразы.

3. Как вы относитесь к стихотворной технике Некрасова? Сейчас нравится, что мог писать все, а главным образом водевили. Хорош был бы в «РОСТА».

4. Не было ли в вашей жизни периода, когда его поэзия была для вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова? Не сравнивал по полному не интересу к двум упомянутым.

5. Как вы относились к Некрасову в детстве? Пробовал читать во 2 классе на вечере «Размышление». Классный наставник Филатов



не позволил.

6. В юности? Эстеты меня запугали строчкой «на диво сложенный возок».

7. Не оказал ли Некрасов на ваше творчество влияние? Неизвестно.

8. Как вы относитесь к утверждению Тургенева, будто поэзия и не ночевала в стихах Некрасова? Утверждение не знаю. Не отошусь никак.

9. О народолюбии Некрасова? Дело темное.

10. Как вы относитесь к распространенному мнению будто он человек безнравственный? Очень интересовался одно время вопросам не был ли он шулером. По недостатку материалов дело прекратил. Подпись Влад. Маяковский.

Вот какие противоречивые ответы на вопросы Корнея Чуковского ответили два поэта: Маяковский Владимир и Блок Александр. Один дерзко и безответственно с усмешкой, другой – интеллигентно и вдумчиво. И тем не менее разве нельзя не полюбить стихи Владимира Маяковского: «Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам сомнения нету. К любым чертям с матерями катись, любая бумажка – но эту! Я достаю из широких штанин с дубликатом бесценного груза! Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Или хотя бы второе его стихотворение: «Сиять всегда, сиять везде, до дней великих до конца. Сиять! И никаких гвоздей! Вот лозунг мой и Солнца!» И Владимир Маяковский сияет до сих пор на поэтическом небосводе.

Тут уже я попросил Нину рассказать мне третье четверостишие Владимира Маяковского. Она согласилась, и я прочел:

– Я хочу быть понят родню стороной... А не буду понят, ну, что же: по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь».

Да, он прошел стороной как «косой дождь», но остался патриотом своей страны.

Нина спросила:

– Володя, а какое мы выберем стихотворение Корнея Чуковского, чтобы оно сочеталось с жизненными ситуациями Владимира Маяковского?

И я предложил:

– А что, Нина, ты же прекрасно понимаешь, что у Владимира

Маяковского были проблемы в отношениях с семьей Лили Брик и с ее мужем. Муж знал об интимных отношениях Владимира и Лили, но смотрел на эти маленькие шалости Лили сквозь пальцы. Но у Лили были ко всему этому любовному треугольнику встречи и на стороне. Поэтому эта жажда любвеобильности похожа на сказку Корнея Ивановича «Обжора». Это стихотворение Чуковского коротенькое и я сам все его прочитаю:

– Была у меня сестра, сидела она у костра и большого поймала она осетра. Но был осетр хитер и снова нырнул в костер: и осталась она голодна, без обеда осталась она. Три дня ничего не ела, ни крошки во рту не имела. Только и съела бедняга, что пять-десять поросят, да полсотни гусят, да десяток цыпляток, да десяток утят. да кусок пирога чуть побольше того стога. да двадцать бочонков соленых опенков, да четыре горшка молока, да тридцать вязанок баранок, да сорок четыре блина».

Тут я перестал тарыхтеть, перебирая меню голодающей сестры, и выразительно прочитал окончание этого оригинального стиха:

– И с голоду так исхудала она, что не войти ей теперь в эту дверь! А если в какую войдет, так уж ни взад, ни вперед!

## Глава: Алексей Толстой

В финляндской деревне Луханде поселился осанистый и неторопливый молодой человек – стала рассказывать Нина. – У него была мягкая рыжеватая борода, но глаза были спокойные и простодушные. зато яркий румянец был у него на обеих щеках. Соседка по даче этого молодца, пожимая перед говорливыми тетушками плечами, заинтриговала их своим сообщением: «Мне он сказал, что вроде бы он граф, а фамилия его Толстой. И она соответствует его фигуре. Очень уж крепкий мужчина.» Эту весть разнесла сразу же по окрестностям сорока на хвосте.

С этих пор и покатилась поговорка: «Он прав как граф, но граф был жулик». Но жил граф Алексей Толстой неподалеку от Козьего болота. Все соседи решили, что граф притворяется графом. «Он живет в маленькой хибарке, около болота, а у графа должны быть хоромы! – стал рассказывать я Нине об Алексее Толстом. – По соседству с графом жил известный в то время поэт Александр Степанович Рославлев. Толстому понравилось, что Рославлев писатель и печатается в газетах и в журналах, вращаясь в литературной среде. Толстой часто заходил к нему посидеть на террасе, а Александр Степанович хрипловатым баском читал гостю свои вирши: «Воскресни, зверь, и солнце возлюбя, отвергни все, что божеством казалось!» Чтобы голос его не хрипел Рославлев запивал свою декламацию пивком. но вскоре все в округе поняли, что «юный Толстой» человек покладистый, необыкновенно легкий, компанейский и веселый. Писатели все были тогда в ореоле. С Брюсовым Толстой познакомился в журнале «Весы» и с упоением слушал слова: «гранки, верстка, корректура, редакция, петит...» и эти слова были упоительные для Толстого, звучали как музыка. Толстой, познакомившись с Корнеем Чуковским показал ему свою «библиотеку не изданных книг». Все тетрадки с его размашистым почерком были пронумерованы по года: 1901, 1902, 1903 и так далее. Алексей Толстой писал эти рукописные книги почти с четырнадцати лет. «Лирика» была датирована 1907 годом. В стихах лирики они были слабенькие, беспомощными, но зерно смысла уже сверкнуло в этой «лирике». а «Посвящается матери» еще более подтвердило, что он выбрал правильный курс. Но когда Алексей Николаевич Толстой написал «Хождение по мукам», то его тетрадки

показались ему вроде прошлогоднего снега. А жажда к литературному искусству и него осталась на всю оставшуюся жизнь.

Нина после этой фразы умолкла, а я продолжил рассказ о графе Алексее Толстом:

– Хочу показать читателям – начал я свой разговор о Толстом, – какими были шаблонными стихи у него: «Мы были гонимы за то, что любили свой бедный усталый народ. За то, что в него свою душу вложили, чтоб мог он воскликнуть: «Вперед! Вперед к обновлению и к счастью России!» Да и во втором четверостишье подражательность и банальность: «Пахарь, скажи, что невесела думушка? Глянь – погляди: ишь как степь развернулася – пышная, звонкая. Что за кручинушка? С горя какого спина так согнулася?» Чувствуются перепевы поэта Кольцова. И его сверстники уже не видели в стихах Толстого притягательности и обаятельности. В ритме не было азартной силы... Кажется ничто не предвещало Алексею Толстому блестящего литературного будущего, когда он в начале 1908 года уехал из Петербурге в Париж. Из Парижа Толстой прислал письмо Чуковскому: «Дорогой Корней Иванович! Смех – ядовитая штука: припечатает человека даже в гробу. будет строить рожи. Я пользуясь случаем прошу Вашего внимания на нового поэта Николая Гумилёва. живет сейчас в Париже, много пишет и ему нужна правильная критика. Выучил французскую фразу: «Приветствую Вас!» Я не леняй и работаю над языком и много пишу. О Париже не говорю: «Ах!» Возьмите отпуск на три недели и в Париж.» Конечно же Чуковский в Париж не поехал. Хотя, наверняка, слышал фразу: «Париж – стоит мессы!» Но зато осознал, что Алексей Толстой, изучая старинную русскую речь для своих стихов, применил ее в романах о Петре Великом, Иоанне IV Грозном и о Екатерине II. Он значительно расширил и углубил свои исторические знания. Иначе бы не смог так мощно показать эпоху Петра и так далее. Слава сначала не очень то громкая, оказалась Алексею Толстому к лицу. А он подшучивал: «Любому подлецу – все к лицу». Но как граф, он не могут подличать: холодноватый и надменный с посторонними людьми, а в кругу друзей он раскрывал свою душу на распашку. Толстой уже не был Алексеем, а превращался в простого человека по имени Алеша. В доброго малого, который и позубоскалить может и громко похохотать! Но все же его настроение зависело от литературных удач. Если на литературном

поприще было не слишком хорошо, он мрачнел. Но, узнав какой-то анекдотический случай, Алексей Николаевич высказывал из-за письменного стола, чтобы посмеяться, схватившись за животик.

– Ладно, Володя, – сказала Нина, – я за животик хвататься не буду, а расскажу как Алексей Толстой встретился с Владимиром Галактионовичем Короленко.

– Я с удовольствием послушаю Нина – ответило ей. И она начала рассказывать:

– В конце 1911 года или в начале 1912 года Алексей Толстой на Старо-Невском проспекте неподалеку от Лавры, отбросив перо в сторону, нарядился в самый лучший костюм, взял с вешалки цилиндр и похвастался: «Шутка ли, Соня, иду на встречу к самому Короленко».

Владимир Галактионович гостил у писателя Анненского. Короленко встретил Толстого с прохладцей, отчужденно. Его шокировал фетоватый цилиндр гостя и монокль вставленный в левый глаз. Но речь зашла о Борисе Кустодиеве, который собрался написать портрет Николая II. Царь поразил Бориса своим блеклым видом и бесцветностью разговора. И тут Толстой разговорился и стал рассказывать Короленко о Борисе Кустодиеве. Как он встретился с Николаем II: «Представьте себе – говорил Толстой, – царь вышел к Кустодиеву не сразу. Сначала из распахнутых дверей вышли царские дочери: румяные, грудастые, мордастые. Потом араны, араны лупоглазые вот с такими усищами и вот с такими бровищами. Потом черкесы – могучие и колоссального роста, затем шталмейстеры, за ними гайдуки и, наконец, карлик». «Карлик?» – удивился Короленко, а Толстой подтвердил: «Да, карлик!» Только Борис Кустодиев сначала карлика принял за царя. Уже все знали невзрачность внешнего вида Николая II. Поэтому и карлика Борис принял за царя.

Я засмеялся, но она попросила не мешать ей говорить об Алексее Толстом. И я тут же сказал:

– Все, Нина, я не буду тебя перебивать! Рассказывай, рассказывай об Алексее Толстом и дальше.

И Нина продолжила рассказывать:

– Короленко слушал Толстого с большим интересом и от души смеялся над выдумками Алексея. Но когда он ушел, Владимир Галактионович произнес: «Яблоко отличного сорта: крупное, но еще зеленоватое. Но если созреет и в нем не заведутся черви, выйдет

отличный плод – апорт!» Алексей Толстой был веселым человеком и любителем мистификаций и забавных шуток. Он в Кисловодске в пансионате, куда заселился какой-то простак, заметил, что почти у вершины горы пасутся коровы. А простачок спросил Толстого: «Почему же на таком склоне не падают с этой крутизны в пропасть?» Алексей Николаевич стал с серьезным видом объяснять: «У здешних коров с самого рождения особые ноги: две правые ноги в два раза короче дух левых ног. Вот они и ходят вокруг самых высоких вершин и не падают вниз. Приспособились к местным условиям. По Дарвину». А чудака его спрашивает: «А если они захотят повернуть и пойти в обратном направлении?» Толстой не растерялся: «Им это делать нельзя. Тут же упадут в пропасть. Нужно идти по кругу вперед и вперед. Правда у каждого горца, который пасет коров, есть особые костыли. Пастух привинчивает к ногам коров, когда они выходят на равнину». Простодушный парень записал вздор Толстого в блокнотик и задал вопрос: «А какая гора здесь выше всех?» Алексей Николаевич не раздумывая ответил: «Алла Верды!» Но Алла Верды назывался кабачок внизу горы. Несмотря, что «вершина» внизу, все вечером совершили «восхождение вниз».

На этом великолепном эпизоде Нина замолчала, а я стал продолжать рассказ про Алексея Толстого.

– В Детском селе Алексей Николаевич – начал я свой рассказ – предупредил свою старенькую тетюшку Марию Леонтьевну: «Не говори по телефону, боже тебя сохрани. На улице ветер, мороз. Надует тебе в уши и простудишься!»

Однажды в ресторане «Арагви» перед Великой Отечественной войной, где чествовали иностранного автора, Толстой был тамадой. В конце обеда гость поднял бокал за процветание наших братских республик. И одна закавказская республика, в которой проживало не более двух тысяч человек называлась «Чехомбили». Иностранца и попросил Алексей Толстой поднять за главу этой республики бокал. Пришлось скромному чехомбильцу чокаться бокалом с иностранным гостем.

Немирович-Данченко вместе с Алексеем Толстым как-то направились из норвегии в Англию. И Данченко рассказал в своем стихотворении, чтобы случилось с Толстым если бы они столкнулись с немецкой миной: «Восплачь, Москва! Восплачь, Верея! Века несчастные пройдут. Но даже трубки Алексея здесь водолазы не

найдут. И только там, где пол, о боги, сей легковёрный Алексей одни норвежские миноги жирнее станут и вкусней». Толстой посмеялся над тем, что миноги станут жирнее и вкуснее. Нов вскоре Толстой 17 февраля на пути из Шотландии в Лондон написал вот такое четверостишие: «Здесь руку приложил Джелико и Рос, и Уэрдель, и сэр Грей! И как же подписи моей не затонуть в реке великой». Тут для читателей нужно пояснить стих Толстого: в автографе Алексея Толстого упомянуты сэр Джон Джемко – командующий великобританского флота, Рональд Рос – нобелевский лауреат, профессор; Эдуард Грей – министр иностранных дел; писатели Конан Дойл и Гурберт Уэльс. Но вернувшись на свою родину, Алексей Толстой пишет: «Возвратясь домой попробуйте поискать у меня под диваном или за книжными шкафами этих лордов и знаменитых адмиралов! Там не найдете королей, хотя и были очень горды. Придется вспомнить вам, Корней, что есть знакомые не лорды». И Толстой, чтобы все вспомнили, что он не лорд, но «Граф А.Н.Толстой». Вот так подписал Алексей Николаевич это четверостишие.

После моего рассказа стала говорить Нина:

– Как известно – сказала она – Алексей Толстой покинул Россию в 1919 году. Но уже в 1922 году Алексей Николаевич написал письмо на Родину, что эмигрантское житье ему ненавистно и ему хочется вернуться домой. Вот что писал Толстой: «Главное, что у вас, живущих в России, нет зла, на убежавших. Очень радостно, что мы станем снова одной семьей. Мне кажется, как никогда, еще на свете не было так нужно искусство в наши дни – в нем залог спасенья. Мы считали, что в эмиграции высокая культура, не угасание священного огня. Но в эмиграции была собачья тоска. Мы же русские люди. Мы не скоро прозрели, но все же стали видеть реальную жизнь, а не призраки и бесприютную тоску. Многие наложили на себя руки. А хочется иметь над головой свою крышу, свое солнце. Пускай эта крыша будет убогая, но мы будем под ней живы» Писал толстой и о газете «Накануне», куда посылали свои материалы эмигранты-«возвращенцы». А редактировал литературное приложение к «Накануне» сам Алексей Николаевич. Из Парижа он беспокоился о судьбе своей дочери Марьяны: «Я очень беспокоюсь о девочке». Посылал книги «Детство Никиты» и «Любовь, книга золотая». А в альманах «Носорог» для детей послал

рассказ об африканской жизни. Заканчивал фантастический роман «Аэлита» - место действия на Марсе. И гордился: «Аэлита – имя очень хорошенькой и странной женщины». Роман переводится на немецкий язык. «В июне, 4 числа - написал он первый день- приехал из-за рубежа в Петербург». Он был молчалив и прочитал в здании бывшей городской думы свое произведение «Рукопись, найденная в мусоре под кроватью». Слушали его мрачно и сумрачно. Но через некоторое время его походка стала уверенная, а голос решительным. Впрягся в работу, не давая себе никакой передышки. В промежутках между романами пишет множество газетных статей: о челюскинцах, о Кирове, о Валерии Чкалове и даже о Викторе Гюго. Пишет Алексей Толстой и о классиках – Лермонтове, Тарасе Шевченко, Салтыкове-щедрине. Вот таким был и стал Алексей Толстой. Писал он и для детей – книга «Золотой ключик» о деревянном мальчишке-шалунишке, которая стала для него золотой книгой и про которую никогда дети не позабудут. Ираклий Андроников, поехав с Алексеем Толстым в Ярославль так увлекся городом, что за трое суток не сомкнул глаз, а всем казалось будто он искал в Ярославле какие-то развлечения. А он собирал исторический материал о Ярославле. Он как будто чувствовал, что смерть у него уже за плечами и возвысился и просветлел, а талант раскрылся со всей его мощи. От того третья книга о Петре Великом сильнее и значительнее двух предыдущих книг. Его воображение достигло до ясновидения. В Московской квартире Алексей Николаевич репетировал диалог между царицей Елизаветой Петровной со своим приближенным. Он был таким страстным, психологически тонким и таким глубоко проникновенным в ту далекую эпоху. Толстой словно решил преодолеть земное тяготение и ощущал свой духовный взлет, воскрешая ушедшие эпохи. И строил грандиозные планы, которым, увы, уже не было суждено сбыться. Этого он не понимал, а с восторгом заявлял своим знакомым: «Мне часто снятся целые сцены то из одной, то из другой моей будущей вещи: бери перо и записывай! Прежде у меня никогда так никогда не получалось...»

Нина на мгновение приостановилась и сказал:

– У Алексея и сейчас, когда он говорил, что у него никогда так не получалось. После разговора о радости, творчестве наступило удушье, тошнота, изнеможение и боль, которая пронзила его насквозь. Но он ушел в мир иной счастливым человеком.



А я тут же предложил Нине рассказать нам сказку Корнея Чуковского, как заключительный аккорд неугомонной жизни Алексея Толстого. И она сказала:

– Мне кажется, что для неугомонного и энергичного Алексея Николаевича Толстого хорошо подошло бы стихотворение Корнея Чуковского «Ежики смеются». И Алексей Толстой никогда не унывал, посмеиваясь над персонажами своих романов и иногда больно укалывал их. И стала читать:

– У канавки две козявки продают ежам булавки. А ежи-то хохотать! Все не могут перестать: «Эх, вы, глупые козявки! Нам не надобны булавки. Мы булавками сами утыканы!»

А я добавил:

– Хорошо смеется тот – кто смеется последним». И Алексей Николаевич Толстой чаще всего при своей жизни смеялся последним.

– Я же тебе, Володя, хочу сказать – добавила Нина, – что существует еще одна поговорка: «Ты прав как граф. Да только и граф иногда бывает жуликом!»

А я ответил Нине:

– Граф Алесей Николаевич Толстой никогда не был жуликом. Подсмеиваться мог. Но чтобы жульничать...»

## Глава: Саша черный

– Мы, Ниночка, взявшись за новый персонаж, которого сотрудники «Сатирикона» называли Саша Черный, – сказал я, – должны сразу же договориться кто из нас станет первым рассказывать о поэте.

– Тогда, Володя, тебе и флаг в руки! – произнесла Нина, и я стал рассказывать:

– Сотрудники «Сатирикона» юмористического молодого журнала в одно время были неразлучны друг с другом. Даже ходили гурьбой вместе повсюду. Но первым выступал, как правило, Аркадий Аверченко. Он был круглолицый, крупный и дородный мужчина. Но не в фигуре было достоинство Аверченко, а в его неистощимых островах и плодовитый журналист полжурнала заполняли своими материалами. Но рядом шагал Рудаков – художник, хохмач и любитель богемы. Он ходил лохматым, но с широкими пушистыми бакенбардами как у Пушкина. Правда баки у Рудакова были похожими на петушиные перья. Тут же в глаза бросалась длинная фигура поэта Потемкина. Но все же над всеми возвышался Ре-Ми, или по-простому Ремизов. Он был замечательный карикатурист, с милым, но нелепым лицом из-за его курносого носа. Среди них, но как бы на отлете, в сторонке еще один сатириконец – Саша Черный. Он был совершенно не похож на всех остальных: худощавый, узкоплечий, невысокого роста и не участвовал в шумных разговорах. Грудь у него впалая, шея тонкая, на лице никогда не светилась улыбка. Даже одеждой Саша Черный не был похож на своих товарищей. У Аркадия был всегда шикарный модный костюм с брильянтом на сногшибательском галстуке и производил впечатление щеголя. А Саша Черный носил кургузый пиджак и обвислые, измятые брюки. Он был чужаком в «Сатириконе» и не раз порывался уйти из журнала. В конце концов Саша Черный ушел, но это был счастливый период в творчестве Саши.

Я решил немного передохнуть от разговора про Сашу Черного и передать эстафету Нине, а она как будто почувствовала это и стала продолжать рассказ о Саше Чёрном:

– Внутри журнала «Сатирикон» Саша Черный не пользовался популярностью. Зато читатели, получив журнал прежде всего искали стихи Саши: курсанты, студенты, врачи, адвокаты прочи-

ывали стихи в журнале, заучивали их наизусть. А он даже не знал о своей популярности, какой он замечательный поэт. Он меньше всего походил на баловня славы и чуждался публичности. Со своей седоватой женой жил в полутемной петербургской квартире. Жену звали Мария Ивановна и она была доктором философских наук, преподавала в ВУЗах логику. А Саша Черный почти не с кем не общался, изредка бывал у Куприна и Леонида Андреева. Но в своих письмах Саша Черный открывал свою душу: «Я так измотался, что мне уже иногда не хочется писать, издавать, а плюнуть на все и открыть кухмистерскую в Швейцарии». Во втором письме Саша Черный пишет: «Книжка висит над головой и мешает думать и работать. Хочется выйти из круга ее мотивов. В этом круге мне становится тесно. Нужно хотя бы иллюзия спокойствия.» Раздражало Сашу Черного его собственное имя. На Невском его приветствует знакомый журналист: «Здравствуйте, Саш!» А Саша только ворчит себе в нос: «Черт меня дернул придумать такой псевдоним! Теперь всякий олух зовет меня Сашей». Зато Саша Черный чувствовал себя комфортно .... Среди детей. Он в летний жаркий воскресный день на Крестовском острове сидел полуголый на лодке и десятки голосов ему звонко кричали: «Саша, сюда, сюда!» Обычно ребяшня околачивалась на берегу целый день и канючила: «Дяденька, прокати», а Саша Черный был для них своим. Поэтому и кричали ему в лодку: «Саша, сюда, сюда!» Он бережно высаживал ребятешек из лодки на берег, и совершал очередной рейс с ребяташками. И никто из ребятешек не знал, что Саша черный только что написал в своей тесной квартире стихи: «Так и тянет из окошка брякнуть вниз о мостовую одичалой головой!»

Тут уже Нина умолкла, и я бразда правления взял в свои руки:

– Мрачное время наступило в 1908 по 1912 годы. Правительство России одобрило столыпинский террор, когда инакомыслящих вешали на виселицах. А петли на них называли «столыпинские галстуки». А тут кроме «галстуков» стали косить людей болезни: чума или оспа. К этому добавился разгул «черносотенцев». Реакция свирепствовала и искалечило нравы даже «культурных» людей. Сначала в 1905 году, а потом обыватели запели: «Отбой, отбой – окончен бой! К тому же наступил расцвет ронографии и повышенный интерес к эротическим и к сексуальным сюжетам: «Проклятые вопросы, как дым от папиросы, рассеялись во мгле...

Пришла проблема «Пола» – румяная Фёкла, и ржет навеселе». Да половые отношения вышли на первый план, а одна дама заявила: «Отдаться мужчине легко, как выпить стакан воды». А румяная Фёкла даже радостно ржет после сладострастного соития и просит: «Еще, еще!» Зато в литературу проник целый отряд смехачей-балагурщиков и произошло оскудени «культурных людишек».

«Все мозольные операторы, прогоревшие рестораторы, остряки паспортисты, шато-куплетисты и миллиард-оптимисты валом пошли в юмористы. Сторонись!» Вот так восстал Саша Черный против этой мрачной эпохи. Он как будто одел на себя маску обычного обывателя и все стихи, якобы, рождались от этой отвратительной маски. Вот какие фразы были у Саши Черного: «Я как филин на обломках», «Я живу как темный вол», «Зачем я, сын культуры, издерганный и хмурый». Да сын культуры не должен быть хмурым. Но Саша Черный уловил еще один момент растления и написал такой шарж: «Квартирант и Фекла на диване. О, какой тожественный момент! Ты – народ, а я интеллигент – говорит он ей среди лобзаний. Наконец-то здесь, сейчас, вдвоем, я тебя, а ты меня пойдем». Вот такой потрясающей пошлостью отмечен шаг интеллигента, перерожденного столыпинской реакцией. И вот еще один стишок Саши: «Отречемся от старого мира и полезем гуськом под кровать. Будем спать и хныкать и пальцем в небо тыкать!» Владимир Маяковский и Лиля Юрьевна Брик были потрясены хлесткими стихами саши Черного. Если кто-то толкал Маяковского в трамвае, то он цитировал Черного: «Кто-то справа осчастливил – робко сел мне на плечо». Услышав от невежды разговор об искусстве цитировал Сашу: «Эта ваза, милый Филя, исторического стиля» или: «Сей факт, с сияющим лицом, вношу как ценный вклад в науку». Или пародия на одного резвого шалопа: «Но язвительный Сысой дрыгнул пяткою босой».

Я сделал передышку, а Нина тут же продолжила мою язвительную речь:

– Саша черный – сказала Нина, – был знаком с музыкантом Евренковым. И он частенько исполнял эту польку в кафе «Привал комедиантов» на стихи Саши Черного: «Левой, правой, кучерявый. Что ты ерзаешь, как черт? Угощение на славу, музыканты – первый сорт!» Любил Маяковский читать стихи Саши Черного громяющим басом: «В лакированных копытах ржут пажи и рогат гравий,

изгибаясь, как лоза, - на раскормленных досыта содержанок в модной славе, шуря сальные глаза!»

Вот так умел Саша Черный чеканить образы в своих стихах. Однажды он зашел к издателю Гржебину и увидел, что на письменном столе лежит разжиревший, дремлющий кот. Саша усмехнулся и сказал: «Толстая муфта с глазами русалки». Разве это не шикарный образ?! А разве не образ строчка поэта о черемухе: «Черемуха пеной курчавой покрыта» или Сашина фраза про куст сирени около дороги: «Измученная пыльная сирень». На острове Капри Саша Черный увидев прилив и тут же сказал: «Новые волны веселыми мчатся быками».

На выставке картин одинокие посетители бродят по залу, а поэт пишет: с видом слушающих птиц. А увидев, как дирижёр управляет оркестром он говорит: «Талантливо гребет обеими руками». Его меткость и выразительность речи удивляла всех. Взять хотя бы вот такую фразу Саши: «На улице смеркался дождь слюнявый» Или реплика про пианистку: «Безбровая сестра в облезлой кацевайке насилует простуженный рояль». Да изнасиловать простуженный рояль еще никому не удалось. Но и сама пианистка получила «преlestный» внешний вид: лиловый миф и желтый бант у бюста, безглазые глаза, как два пупка». Но Саша Черный и сам понимал, что иногда пишет и грубовато: «Словами свирепы солдатскими хочется долго и грубо ругаться».

— Ладно, Нина, — сказал я — вижу, что ты устала от слов свирепых и солдатских. Позволь мне продолжить разговор о поэте Саше Черном. Александр Михайлович после поездки в Финляндию надолго запомнил про водопад Иматре. И вот, что он написал: «Был на Иматре, так надо. Видел глупый водопад. Постоял у водопада и, озлясь, пошел назад. Мне сказала в пляске шумной сумасшедшая вода: «Если ты больной, но умный — прыгай миленький сюда!» Ладно, что вода и глупая, и шумная, но хитренькая. Она заманивает поэта в свои объятия, в которых может любой человек задохнуться и погибнуть в водной пучине. Об этом и рассказал в своем стихе Саша Черный. Но он с таким пренебрежением говорит о Васильевском острове: «Васильевский остров прекрасен, как жаба в манжетах». Но не только сам город раздражал. Даже месяц, под светом которого можно пройти по Питеру, раздражал Александра Михайловича: «Старый месяц! Твой диск искривленный мне сегодня

противен и гадок». Об этой черте характера Саши Черного мог бы сказать другой поэт Некрасов, но их пути не могли пересечься. Они жили в разных эпохах. Но вот, что писал Некрасов: «Самобичующий протест – есть русских граждан достойные». А Саша придерживался другого мнения: даже вялые чувства своих соперников столкнуться с его сильным и энергичным словом, с мускулистым кователем слов, то он их победит. Но иногда депрессия настигала и Сашу. И вот, что он пишет: «Как молью изъеден я, посыпьте меня нафталином!» Моль разъедает ткань незаметно, а потяни эту изъеденную молью тряпку, то она разъедется на кусочки. Саша Черный прочитав рассказа Куприна «Козлиная жизнь», сказал скептически: «Рассказ-то очень милый, но есть и вялость в нем: козел все топчется на одном месте точно мокрой ваты наелся». А потом добавил: «Из всех крокодилов, поживающих писательское мясо, этот самый симпатичный». В 1923 году в эмиграции Саша Черный издал в Берлине третий том книги стихотворений. В нем отметилась новая черта лирики Саши: «И встает бывшее светлым роem, словно детство в солнечной пыли». Детство в «солнечной пыли» – замечательное впечатление поэта: «Мальчишка влез на липку, качается, свистя. Спасибо за улыбку французское дитя». Каким же было нужно чувствовать себя в эмиграции, чтобы радоваться «французскому дитя» за улыбку. Это слышно даже в другом четверостишьи: «Листья желтые платков тихо падают на шляпку и летят вдоль сизых улиц по воздушному этапу». Уже реже появляются у Саши Черного прелестные стихи, как «Мой роман». Роман не книжный, а бурный и страстный с молодой парижанкой, которая приходит в его холостяцкую комнату и приносит ему мимолётное счастье: «Свою мандолину снимаю со стенки, кручу заливчатски ус... Я отдал ей все: портрет Короленки и нитку зеленых бус. Тихонько-тихонько, прижавшись к друг другу, грызем соленый миндаль. Нам ветер играет ноябрьскую вьюгу, нас греет русская шаль. Каминный кактус к нам тянет колючки и чайник ворчит как шмель... У Лизы чудесные теплые ручки и в каждом глазу – газель».

– Но оказывается-то, Володя, – сказала Нина, оборвав меня на этой фразе об интимной близости Лизы и Саши – никакого секса-то не было. Да, Саша, играл для Лизы на мандолине, закручивал лихо ус, дал ей ниточку зеленых бус и портрет Короленки и угостил Лизу соленым миндалем, поставил греться чайник, чтобы утолить

жажду после соленого угощения. Но... Лиза-то трехлетний ребенок, а Саша Черный угощает и играет. Но никак не занимается развратом. Он сам и написал в конце стиха: «Что Лизе три с половиной года... Зачем нам правду скрывать». Оказывается, стихотворение Саши Черного единственное в его наследии, которое посвящено трехлетнему ребенку. Но стихотворение певучее, лиричное, умирительно-нежное, поистине самое лучшее, которое Саша Черный создал на чужбине. Среди стихов для детей встречаются немало таких превосходных «Хрюшка», «Попка», «Гиена», «Большая кукла». Только детские стихи грели душу Саши Черного. Корней Иванович Чуковский отметил его творчество так: «История русской литературы, что как бы не сильна была темная масса мещан, но среди немногих писателей, которые противодействовали этому мещанству, был своеобразный, сильный поэт – Саша Черный.

Мы помолчали, а потом Нина спросила меня:

– Володя, а какое детское стихотворение Чуковского можно поставить нам с тобой, чтобы оно соответствовало характеру Саши Черному?

Я, не раздумывая, сказал:

– «Головастики».

И сразу же стал читать:

– Помнишь, Мурочка, на даче в нашей лужице горячей, головастики плясали, головастики плескались, головастики ныряли, баловались, кувыркались. А старая жаба, как баба, сидела на кочке, вязала чулочки и басом сказала: «Спать!» Ах, бабушка, милая бабашка, позволь нам еще поиграть.

– Да, Володя, Саша Черный сумел написать много великолепных детских стихотворений....

## Глава: Луначарский

Володя, – предложила Нина, ты как мужчина и начни рассказывать нашим читателям об Анатолии Васильевиче Луначарском, мужественном человеке и эрудированном.

Я, без промедления, начал рассказ:

– Луначарский был знаковой фигурой в Петрограде. Весь Питер его называл только «Анатолий Васильевич». Уважали его и стар, и млад. Он проживал тогда в Манежном переулке неподалеку от Литейного проспекта в маленькой и невзрачной квартирке. Но эту квартирку осаждали десятки людей, которые жаждали его помощи и совета. Они не обращали никакого внимания на бумажку, прикрепленную кнопкой на двери: «Народный комиссар просвещения принимает только по субботам от 2 до 6 часов». Бумажку эту хозяин наскоро прикрепил к двери канцелярской кнопкой и было видно, что она не строгая, да и висела косовато, без всяких претензий к Анатолию Васильевичу.

К нему шли педагоги, рабочие, изобретатели, библиотекари, цирковые эксцентрики, футуристы, художники всех направлений от кубистов до передвижников, философы и балерины, артисты бывшей императорской сцены. Все шли в квартиру Анатолия Васильевича на второй этаж по замызганной лестнице в тесную комнату, которая называлась высокопарно «Приемная».

Но вскоре эту бумажку заменила другая: «Народный комиссар просвещения А.В.Луначарский принимает в Зимнем Дворце и в Комиссариате просвещения по таким то дням и по таким то часам. Здесь приема нет.»

Но это объявление никого не пугало. Уже в девять утра приемная была заполнена народом. Сидели на диване, на табуретках, подоконниках. Но это была не толпа с улицы, а почтенные люди: Всеволод Мейерхольд, все еще похожий на юношу, Владимир Бехтерев, знаменитый психиатр, фотограф Опельбаум, говорливый в бархатной блузе, сын Чернышевского Михаил Николаевич, молчаливый с книгами в руке своего отца, академик Ольден Бург похожий на маленького мальчика в кургузой курточке, старик романист Иераним Ясинский, импозантный красавец, художник Юрий Аппенков, которого все называли Юрочка, Александр Кегель, знаток и фанатик театра. И все они к Анатолию Васильевичу за советом



и помощью. И он работал бывало даже по двадцать часов в сутки. Иногда и ночевал в «приемной» на диване.

– Володя, – сказала Нина, – ты перечислил столько знаменитых посетителей Луначарского, что не каждый наш читатель сумеет запомнить их имена и фамилии. Позволь-ка ты и мне рассказать читателям об Анатолии Васильевиче Луначарском.

Я не возражал, а Нина продолжила рассказ о нем:

– Один просил охранную грамоту для своей коллекции почтовых открыток. Другой обещал, что пожертвует в балетную школу гербарий если Луначарский прикажет Комиссариату просвещения выдать ему башмаки. Третий вылепил из гипса бюст Робесеньера и требовал, чтобы этот бюст отлили из бронзы. Притом, чтобы этот бюст установили на Дворцовой площади прямо на дворцовой площади и на Александрийском столпе. Когда Луначарский отказал ему: «Это невозможно сделать», то скульптор попросил у Анатолия Васильевича выдать ему хотя бы одну струну для балалайки.

Особенно к Луначарскому приходило маньяков, пройдох, которые предлагали фантастические планы наибо́льшего, мгновенного преобразования нищей России. Один пожилой старик принес Анатолию Васильевичу декрет, чтобы он его издал «О введении в России многоженства». И этот проект был скрупулёзно разработан, что Анатолий от души поохотал, а потом серьезно и научно объяснил «неуместность» утопий в нашей стране.

Кроме этих вопросов Анатолий Васильевич решал не только государственные, а и мировые вопросы для создания монументального строительства советской культуры. Он составил колонку полновесных слов: «Российская Федеративная Советская Республика», ниже: «Народный комиссариат имущества Республики», далее «Петербургское отделение 12 июля 1918 года» и «№1501, Петербург, Зимний Дворец». Под этой рубрикой Луначарский поставил печать: «Российская республика. Рабочего-крестьянское правительство. Комиссариат по просвещению. Отдел искусств».

Тут я попросил Нину сделать ей небольшую передышку и продолжил уже сам рассказ:

– Анатолий Васильевич, помимо государственных вопросов, мог увлекаться и сказкой, и песней, драмой и звонким стихом, лишь бы они талантливо были восприняты зрителями и слушателями.

С каким интересом он слушал Блока, читавшего «Возмездие». Заинтересовался драмой в стихах Маяковского. Даже в повороте головы Луначарского, как он выпрямлял свою сутулую спину чувствовался его интерес к выступающему поэту. В театре он одобрил пьесу «Принцесса Турандот». Он мог радоваться и негодовать от действий в пьесе. Когда артист Николай Монахов с психологической точностью сыграл короля Филиппа в «Дон Карлосе», Луначарский в восторге бросился в гримерную Монахова и поцеловал его в щеку, с которой актер не успел еще смять грим.

После гибели Маяковского, Луначарский сказал: «Не все мы похожи на Маркса, который говорил, что поэты нуждаются в большой ласке. А мы не все понимали, что Маяковский нуждается в огромной ласке!» Потом добавил: «Под его броней, в которой отражался целый мир, билось не только горячее и нежное сердце, а хрупкое и легкоранимое сердце!»

Анатолий Васильевич ездил по Питеру на автомобиле. Он ехал на Кронверкский, где жил Горький. Но на дороге его остановили обвешанные оружием матросы-балтийцы. Один из них так похожий на Сергея Есенина рассказал о каких-то неполадках в Петропавловской крепости. И он дал обещание, что заедет на обратном пути и разберется. Потом его перехватили рабочие и приглашали на открытие Дома печати. Он взял блокнот и записал время открытия.

Но нужно вспомнить каким был восемнадцатый год: гражданская война, контрреволюционные заговоры, интервенция иностранных держав, изнемогающий от голода Питер и злостный саботаж подмастерья культуры. Педагоги отказывались учить ребятшек, актеры хотели выступать, писатели чурались кабинетов в Смольном, где находилось «Издательство рабочих и крестьянских депутатов». Поэтому Анатолий Васильевич и встречался с величайшей радостью с интеллигенцией. Тем более Ленин сказал: «Привлечение к работе буржуазной интеллигенции является теперь очередной, назревшей и необходимой задачей дня». И Анатолий Луначарский это хорошо понимал. И никогда в разговоре даже голоса не повышал. Об этом говорил юрист, почетный академик Анатолий Кони: «лучший из министров просвещения каких я только видел – это Анатолий Васильевич Луначарский». А Сергей Федорович Ольденбург, ученый-востоковед, знаток Индии сказал:

«Замечательно, что народная Советская власть выдвинула на этот пост человека такой высокой культуры, как Луначарский».

Выступая на митинге «интеллигенция и революция» кто-то брюзжал враждебно, раздавались недружелюбные выкрики. Люди густо сидели на ограде сада, но Луначарский не сделал и шага вперед. Он обратился к толпе с речью. В ней была такая неутомимая сила. Он спорил, возражал и этот словесный бой продолжался около двух часов. И произошло чудо: озлобленные физиономии ступевались, на многих лицах засветилось сочувствие, начался новый период совместной работы.

Я, окончив говорить, сказал Нине:

– Теперь, Нина, твоя очередь рассказать читателям о Луначарском.

И Нина стала говорить:

– Корней Иванович Чуковский в том же 1918 году в самых первых числах января пришел к Луначарскому и притащил к нему чемодан наполненный ценным сокровищем – с целым ворохом старых бумажных листов, написанных рукой Некрасова. Эти рукописи были в ту пору никому неизвестны и не напечатаны в то время поэтом. Чуковский разложил эти драгоценные рукописи на столе перед Луначарским, на стульях и табуретках. Анатолий Васильевич трепетно, как святыню, брал каждый листочек написанных неразборчивым почерком Некрасова, стараясь близорукими глазами разобрать полустёртые строки. И прочитал вслух название поэмы «Пир на весь мир». На этом пиру царская цензура явно не присутствовала. Но Луначарский понял, что он читает подлинник «Русских женщин». тут революционные убеждения Некрасова были видны, как на ладони. Корней Иванович собирал эти листочки по крохам: тетрадку подарила ему Авдотья Панаева, родная дочь, знаменитая романистка. А вот этот листочек в Саратове у вдовы поэта Зинаиды Некрасовой, а этот (бесцензурная копия «Саши») - у Николая Анненского. А вот эту грудку рукописей мне подарил академик Кони – душеприказчик сестры поэта.

Луначарский вытащил свой двухтомник Некрасова, пролистывая страницы стал задавать вопросы собеседнику. Анатолий Васильевич тут же загорелся идеей издать стихи Некрасова в подлиннике, без царской цензуры. 24 и 31 января 1918 года Луначарский обсуждал об издании Некрасова с Блоком, Александром Бенуа, с

Натаном Альтманом, с Лебедевым, Полянским и с Керженцевым. Терпим и снисходителен был Луначарский, когда дело касалось его личности: карикатуристы могли изображать в «дружеских шаржах», поэты без боязни писали эпиграммы. Да он первым смеялся, находя в шутках что-то смешное. Но сильно ошибались те, кто забывал про его основную черту характера: сильная воля!

На юбилее Тургенева к нему подошла романистка Екатерина Леткова и сказала: «Хоть вы и большевик, но вы наш!» Но когда его стали захваливать, Анатолия Васильевича это покорило. Но он хотел отшутиться: мол, я не заслуживаю такой чести. А гости льстили, и льстили. Вот тогда Луначарский нахмурился и твердо произнес: «Нет я не с вами. Своим напрасно и лицемерно меня зовете». И все льстецы заглохли.

Как-то в Зимнем дворце профессор консерватории вышел из кабинета Луначарского и решил похвастаться Тихонову (Сереброву): «Он богема, добряк, податливый как воск!» «Как воск, – ухмыльнулся Тихонов, – нет, вернее будет – кремень!» Переехав в Москву характер Луначарского не изменился. Кремень хоть в восковой оболочке оставался таким же прочным и несокрушимым».

– Нина, – сказал я, – сделай передышку, а я про московский период Луначарского расскажу:

– Столько Анатолий Васильевич написал с восторгом страниц про Ромина Роллана, он возвеличил его творчество. И вдруг близкий по духу ему человек выступил с трагедией «Игра любви и смерти», где во имя смиренной любви к человечеству была осуждена революция. Поддержал Луначарского и Короленко. Всюду из-под мягкого воска стал выступать «кремень». Он даже с любимыми авторами стал строг. И в этой борьбе не знал никаких компромиссов. Большому театру он напомнил, что это «место роскошных дам и вычурных кавалеров» и привел фразу Владимира Ильича: «Оперный театр стал отражением барских затей и вкусов».

Кроме сложности в статьях Луначарского было и прекрасное качество: изящный ум. Когда он выступал перед Зимним дворцом при открытии памятника Радищеву, его речь понравилась многим: стройность выступлений Анатолия Васильевича придавала ему популярность. Он даже аморфному и тяжелому материалу придавал доходную и легкую форму. Он перенимал этот стиль от

Писарева. И его статьи «Фиаско», «Салтыков-Щедрин», «Маяковский – новатор», «Ревизор Гоголя – Меерхольда» дают характеристики целым эпохам. Например, литература эпохи Возрождения, литература шестидесятых годов Он вместе с Горьким отторгал любителей скудоумных ханжей, которые прикрывали свое ханжество высокими лозунгами. Луначарский занимался такой многотрудной работой в самые тяжелые годы становления Советской власти.

Нина, дослушав меня, спросила: «А что ты предложишь для завершения этой главы?»

Я, не раздумывая, сказал: «Бебяка», который не боялся на свете никого. Он был самостоятельный, как Луначарский. И я тут же стал читать этот стих:

– Взял барашек карандашек, взял и написал: «Я – Бебека, я – мемека, я – медведя забодал!» Испугались зверюги, разбежались в испуге. А лягушка у болотца заливается, смеется: «Вот так молодцы!»

Нина сказала:

– Если уж барашек, медведя напугал и забодал, то Луначарский никого не запугивал, а своей ораторской речью мог остановить возмущенных людей...»

## Глава: Собинов

Нина напомнила мне, что в прошлом рассказе я уже завершал главу, так пора и ей начать рассказывать читателям о новом персонаже нашей книге – о Собинове. И начала говорить:

– Когда Трепов в 1905 году обратился к войскам со знаменитым приказом: «Патронов не жалеть!», расстреливая восставших рабочих. В журнале «Сигнал» две буквы в слове «патронов» кто-то из наборщиков затушевал и получилась фраза, шокирующая чиновников: «Тронов не жалеть!» От такой фразы и в самом деле могли шататься царские троны! И популярность журнала резко возросла. Ведь этот выпад был направлен на Николая II на его оголтелых министров. Журнал тут же закрыли, редактора посадили в тюрьму. Но селдователь по особо важным делам Цезарь Иванович Обух-Вошатынский так и не узнал одной тайны. журнал “Сигнал” издавался на средства Леонида Витальевича Собинова. Корней Иванович встретился с Собиновым в 1905 году. Он был в офицерском кителе, с университетским значком на груди. Молодое лицо было нежного, молочно-розового цвета – кровь с молоком. Оно было изыщное, благородное с пухлыми по-детски губами. Он стоял равнодушно около сетны, а на ковре, в дальнем углу, грянула песню шумная компания кавказцев. Собинов уселся на этом ковре в самой гуще этого нескладного хора и запел с ними песню. В этой среде он чувствовал себя, как рыба в воде, кумир и собрат молодежи! А песня-то оказалась революционная. В 1905 году других песен и не пели. Егос туденты попросили продекламировать стихи. И собинов продекламировал сидя на кворе такие хлесткие и едкие стихи, которые шельмовали Трепова, Победоносцева и Витте. Одни студент с восточными черными огенными глазами порывисто обнял и поцеловал его. Это было так естественно, как похвала великому поэту. Щедрость Ленида Витальевича была легендарной. Однажды в Киевскую школу слепых он прислал в подарок рояль. Заработав на концертах сорок пять тысяч рублей золотом, Собинов отдал эти деньги в кассу взаимопомощи московских студентов. Только в 1902 году он дал пятьдесят концертов и все полученные средства поделил в другую кассу взаимопомощи. Никто из артистов не обладал таким обятельно-задушевым голосом, ка Собинов. Как только Леонид Вительевич произносил первую музыкальную фразу, все зрители

тот-час влюблялись в него. Но кроме таланта у него было и трудолюбие. Он на репетициях исполнял арии по десять-двенадцать часов. А потом валился от усталости в кресло. Он ничего не делал в полсилы. Когда Собинова спрашивали зачем он столько трудится, то Леонид Витальевич удивлялся: “Трудно? Нисколько!” И без натуги исполнял: “В уголочке отгороженном, лампой кварцевой налим, охлаждая жар мороженым, стройный, словно херуим. Сам Корней с улыбкой скромною, мне ладонию огромню машет мило в знак приветствия – предлагая тоже средство. тут же сестры милосердия в электрической клти в исцеление предсердия держат птичкой в заперти. И меня раба блаженного: знать, и впрям, я ного ценного, и французского и рейнскоговыпил в славу пола женского”. Экспромт был безпречен! Радовался Собинов: “Русский язык так богат, что рифмы для меня не доставляют затруднений. Зато Чуковский привел вот такое четверостишие: “Ждали от Собинова, пенья соловьиного. Услыхали Собинова – ничего особенного!”.

Нина окончила рассказ и передала эстафету мне. А я привел ей стихотворение Собинова на украинской мове:

– Вы Окопанасенкови леста в Москву прилали как-то раз. И я же мабуть рокив триста не бачив и не чув про вас. теперь я циро вас витаю, богатенько побажанныв шлю, а сам у Харкив уезжаю с женой, которую люблю! А ваша подружка Свитлатка, почаство вспоминая вас, читает, вставши утром рано насчет Федоры ваш рассказ.”

– Про рассказ насчет Федоры Собинов упомянул неспроста. “Федорино горе” – это сказка, посвященная дочери Светланы Леонидовны Собиновой, написано Корнеем Чуковским когда Свуеточки было пять лет. И она весело смеялась, когда отец Лонид Собинов читал это прекрасное произведение Корнея Ивановича. Поэтому, Нина, не надо ломать голову какую же нам с тобой предложить прочесть сказку для читателей. Так начнем же мы с тобой рассказывать сказку “Федорино горе”:

И я стал читать:

– Скает сито по полям, а корыто по лугам. За лопатую метла вдоль по улице пошла. Топоры-то, топоры так и сыплются с горы. Испугалася коза, растопырила глаза: “Что такое? Почему? Ничего я не пойму?”

– А что тут понимать-то? – усмехнувшись, сказала Нина. –

Отставной козы барабанщик играет марш в такт словам Корнея Иванович: “Сито по полям скачет, а корыто по лугам, а топоры взбесились и сыплются с горы, как орехи. Вот коза и растопырила свои глазища.

Но я опять набрал полную грудь воздуха и продолжил декламировать:

– Но как черная железная нога, побежала, поскакала кочерга. И помчались по улице ножи: “Эй, держи, держи, держи, держи!” И кастрюля на бегу закричала утюгу: “Я бегу, бегу, бегу, удержаться не могу!” Вот и чайник за кофейником бежит, таратори, тараторит, дребезжит”

– Я то утомился перечислять беглецов из какой-то кухни и на секундочку прекратил чтение. Этим воспользовалась нина. Она стала с радостью перечислять кто же из кухонной посуды удирает еще из кухни.

– Она мелодично стала перечислять беглецов: “Утюги бегут побрякивают, через лужи, через лужи перескакивают. А за ними блюдца, блюдца – дзынь-лял! Вдоль по улице несутся – дзынь-ля, ля! На стаканы – дзынь! натываются и стаканы – дзынь – разбиваются.

Мне стало жалко, как в истерике бьется посуда и я попросил не рвать мою душу грешную этим разбоем Нину и она согласилась со мной:

– Продолжай дальше Володя.

И вот я стал читать:

– И бежит, бренчит сковорода: “Вы куда? Куда? Куда?” А за нею вилки, рюмки да бутылки, чашки да ложки скачут по дорожке. Из окошка вывалился стол и пошел, пошел, пошел... А на нем самоварище сидит и товарищам кричит: “Уходите, бегите, спасайтесь! И в железную трубу “Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!”

И тут –то у Нины проявилась женская жалость. И она стала рассказывать, как хозяйка посуды попыталась вразумить взбунтовавшуюся кухонную утверь:

– А за ними вдоль забора скачет бабушка Федора: “Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Воротитесь домой!” Но ответило корыто: “На Федору я сердито!” И сказала кочерга: “Я Федоре не слуга!” А фарфоровые блюдца над Федорою смеются: “Никогда мы, никогда не воротимся сюда!”

Тут уж я не выдержал, зачем же издеваются барска фарфоро-



вая посуда над бедной Федоровой. Тем более за свою хозяйку вступились ее любимые домашние коты. И решил ее поддержать и прочитал:

– Тут Федорины коты расфуфырири хвосты, побежали во всю прыть, чтоб посуду воротить: “Эй вы, глупые тарелки, что вы скачите, как белки? Вам ли бегать за воротами с воробьями желторотыми? Вы в канаву упадете, вы утоните в болоте, не ходите, погодите, воротитесь домой! Но тарелки вьются, вьются, а Федоре не даются: “Лучше в поле пропадем, а к Федорое не пойдем!”

Пока я раздумывал об упертых, разозлившись на Федору тарелок, Нина стала продолжать рассказ о страданиях несчастной посуды:

– Мимо курица бежала и посуду увидела: «Куд-куда! Куд-куда! Вы откуда и куда?» И ответила посуда: «Было нам у бабы худо, не любила нас она, била, била нас она, запылила, закоптила, загубила нас она! «Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Жить вам было нелегко!»

После того, как посуда разжалобила даже домашнюю Федорину курицу, я и решил рассказать читателям об ужасной жизни посуды у Федоры. Особенно меня потрясла речь медного таза: «

– Да, – промолвил медный таз, – погляди-ка ты на нас: мы поломаны, побиты, мы помоями облиты. Загляни-ка ты в кадушку – и увидишь там лягушку. Загляни-ка ты ушат тараканы там кишат. От того-то мы от бабы убежали, как от жабы. И гуляем по полям, по болотам и лугам. А к неряхе-заморахе не воротимся!»

Тут-то Нина остановилась и сказала мне: «Почитай, Володя, дальше. Я уже от этих жалоб расстроилась. Дай-ка мне немного отдышаться.

Пришлось мне продолжить рассказ:

– И они побежали лесочком, поскакали по пням и по кочкам. А бедная баба одна и плачет, и плачет она. Села бы баба за стол – да стол за ворота ушел. Сварила бы баба щи – да кастрюлю поди поищи! И чашки ушли и стаканы, остались одни тараканы. Ой, горе Федоре, горе!

Но тут Нина решила проследить за бегством посуды и рассказать о ее заключениях и сомнениях читателям:

– А посуда вперед и вперед, по полям, по болотам идет. И чайник шепнул утюгу: «Я больше идти не могу». И заплакали блюда: «Не лучше ль вернуться?» И зарыдало корыто: «Увы, я

разбито, разбито!» Но блюдо сказало: «Гляди, кто это там позади?» И видит: за ними из темного бора идет, ковыляет Федора. Но чудо случилось с ней – стала Федора добрей. Тихо за ними идет и тихую песню поет.

Тут уж я не удержался и попросил Нину: «Разреши-ка мне самому пропеть Федорину песенку!» Она не возражала и я продолжил повествование:

– Ой вы, бедные сиротки мои, утюги и сковородки мои! Вы пойдите-ка немытые домой, я водою вас умою ключевой. Я почищу вас песочком, окачу вас кипяточком. И вы будете опять словно солнышко сиять. А поганых тараканов я повыведу, прусаков и пауков я повымету!» И сказала скалка: «Мне Федору жалко!» и Сказала чашка: «Ах, она бедняжка!» и сказали блюда: «Надо бы вернуться!» И сказали утюги: «Мы Федоре не враги!» Долго-долго целовала и ласкала их она: «Уж не буду я посуду обижать. Буду, буду я посуду и любить, и уважать!»

Потом я сказал:

– Нина, продолжай рассказ, порадууй читателей чистотой посуды и радостью Федоры.

Она восприняла этот мой порыв как должное и стала говорить:

– Засмеялися кастрюли, самовару подмигнули: «Ну, Федора, так и быть, рады мы тебе служить!» Полетели, зазвенели, да Федоре прямо в печь! Стали жарить, стали парить, стали печь. Будут-будут у Федоры и блины, и пироги! А метла-то, а метла весела – заплясала, заиграла, замела. Ни пылинки у Федоры не оставила. И обрадовались блюда: «Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля! И танцуют и смеются: «Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!»

Тут я сказал Нине:

– Под такой радостный звон посуды и мне хочется показать читателям, что «Федорино горе» окончилось, а началось Федорина радость. И стал читать:

– А на белой табуреточке, да на вышитой салфеточке самовар стоит, словно жар горит. И пыхтит и на бабу поглядывает: «Я Федорушку прощаю, сладким чаем угощаю. Кушай, кушай, Федора Егоровна!»

## Глава: Квитко

Нина, открыв главу о Льве Квитко, посмотрев на его фотографию, сказала с удивлением:

– Какой красивый и крепкий мужчина! Молодцеватый, широкоплечий, коренастый и сильный. Да такие как он мужчины больше ста лет проживут.

– Да таких мужчин в России – дополнил я – миллионы. Не ревную, но предупреждаю. Но если уж взялась описывать мужские черты Квитко, то и продолжай этот рассказ для читателей.

Нина тут же и стала рассказывать о творчестве Льва Квитко:

– Хотя Квитко был немножко медлительным и суетливости никогда в нем не было, зато от него так и веяло счастьем. А в поэтическом творчестве он был баловнем судьбы. Любой взгляд на природу, на человека превращался в поэтический образ. Любая заурядная вещь, попавшаяся ему на глаза становилась сюжетом для его стихотворения: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье». Он не умел быть несчастным и целый цикл его стихов носил название или начало стиха: «Здравствуй!» Квитко восхищался окружающим миром. Даже обычный колодец вызывал у него радость: «Колодец рад, когда берут в нем воду!» Как это здорово сказано: в колодце родниковая вода и он рад попить этой ключевой водой все село. Об этом говорит и Лев Квитко: «Опущу ведро и вода в колодце – как пойдет кругами, словно улыбнется». В стихах своих Лев Квитко любил употреблять очень часто слово «Хорошо»: «Хорошо нам под дождем, хорошо во мхах зеленых!»

Поэт часто любил восторгаться чудом, чудесами природы: «Самая огромное чудо – вечная воля природы!» Она наша матушка всегда готова и к новым зачатиям и к новым рождениям. И он с восторгом пишет: «Что это – сказка, песня или сон? Арбуз тяжеловестный из семечка рожден». Разве не сказка, когда из маленького семечка рождается огромный, сочный, замечательный на вкус, сладкий, сахарный арбуз!? Увидев, как узорный листочек морковки пронзил на грядке взрыхленную землю, поэт написал: «Ну разве не чудо, что чубчик такой пробился, прорвался сквозь слой земляной? Он землю буравил, он лез напролом, он к светлomu солнцу пробился с трудом. И разве это не чудо, когда слабенький,

худосочный росточек морковки пронзает землю грядки?! И вот как поэт показывает это гениальное чудо природы: «И я стою в молчании глубоко и думаю: «Какое это чудо – земля животворящая моя!» Вот и произошло чудо: Квитко говорил о главном: для растений нужны солнце и вода, а поэт добавил и третью силу к этим природным силам – животворящая земля!

Нина восторженно удивлялась, но я понял, что пришел и мой черед показать красоту поэзии Квитко и сказал:

– У меня, Нина, есть тоже о чем рассказать о поэзии Квитко.

А она тут же отозвалась:

– Так в чем же дело, Володя? Начинай рассказывать читателям о творчестве поэта Льва Квитко.

Мне же осталось только восторгаться поэзией Квитко и я стал говорить:

– У Льва есть ода, гимн для молодого цветочка... Картофеля: «Откуда ты, белый как снег, неожиданный как нежное чудо?» И это очарование окружающего мира и сделало детским писателем. Под именем и личиной ребенка, устами малолетних детей ему было легче излагать свое бьющее через край жизнелюбие. Однажды Лев Квитко попал под дождь и увидел как в широкой луже мальчишки зашлепали по ней босыми ногами будто собирались измазаться в грязной воде до ушей. И Квитко сказал Корнею Ивановичу с завистью в голосе: «Каждый ребенок считает, что лужи созданы специально для его удовольствия». Иногда он с детским восторгом славил горошинки, которые просыпались на пол: «Горох, рассыпавшись, приплясывает ловко и это все куда как мило мне».

Если пожилой поэт вдруг начнет писать детские стихи то реставрировать свою стареющую память не каждому удастся. А Льву Квитко реставрация была не нужна. У его с детством не существовало преграды во времени. Он, взрослый человек, мгновенно мог превратиться в ребенка. И вот Квитко пишет бурно, буйно одно свое стихотворение: «Мчатся, мчатся, мчатся с буйным ветром повстречаться, чтоб звенело, чтоб несло, чтобы щеки обожгло! Раскатиться спозаранок и на санках, и без санок. На коленях, на бревне, на коленях, на спине. Лишь бы вниз, лишь бы в снег, лишь бы съехать дальше всех!» У каждого мальчишки была заветная мечта – прокатиться с ледяной горки дальше и быстрее всех. Если это совершится, то уважение соседских ребятушки можно зара-

ботать в один миг. А гордость и радость победы будет распирает его грудь.

В стихотворении Квитко «На салазках» мальчишка хвастливо кричит: «Для меня пустое, самое простое – прокатиться стоя: «Видите – качусь!» Порою детская доверчивость казалась даже чрезмерной. Взять хотя бы стихотворение «Кисонька»: «Ее на кухне с мышками застала мама раз. Она резвилась, прыгала, каталась кувырком. А с нею мышки весело кружились рядком». Вот уж правду говорят про рассеянного человека: «Он мышей не ловит». Но человек и не должен ловить мышей. А у Льва Квитко кошка и в самом деле не собиралась ловить мышей, а играла в «кошки-мышки». Но мама-то отхлестала «Кисоньку» кухонным полотенцем, приговаривая: «Сказала мама кисоньке: «Лови у нас мышей! Не слушается кисонька: к чему мышата ей?» Единственный раз Лев Квитко написал, что эту ленивую и игривую кисочку, которая кроме молока никакую другую пищу не признает, напугали... воробушки: «Она от них, они за ней. Кричат: «Ага, попалась!» Когда мама Льва Квитко попыталась покормить «кисоньку» рыбкой, то Лев написал такую строку: «Смеется, вьется рыбка золотая».

Ну что и у Пушкина была золотая рыбка, которая помогала рыбаку-старика выполнять все желания своей вздорной старухе пока она не замахнулась, старуха эта, когда стала царицей на саму «Золотую рыбку». У Льва Квитко этот фокус не удался. Он название то стихотворению дал «Рыбка смеется». Лев Квитко в другом стихотворении добился чисто гейневкой окончание стиха. Переводчица Елена Блогинина перевела с еврейского языка на русский: «О сладостной славе ее никто не сказал еще слово свое. Но скажет когда-нибудь дерзкий поэт о сливе, которой прекраснее нет. О нежных прожилках в ее синеве, о мякоти сладкой, о гладкой щеке, о косточке спящей в сквозном холодке, как солнце проходит по ней полосой, как вечер на ней оседает росой, как тонко над ней изогнулся сучок. Так думал о сливе один червячок. Пробрался он к самому сердцу ее. И тянем, и пьет золотое питье. Ну, если так думал о славе червяк, то может быть это действительно?!

– Все, Володя, – сказала Нина, – ты слишком хорошо говорил, что я не смогла тебя вовремя остановить. Ты отдохни, а я буду продолжать разговор с читателями.

– Нельзя забывать, что Квитко пришел к оптимизму и восхище-

нию поэзией через горькие слезы. Его детство было безотрадным и нищенским, а юность – неприкаянной и мучительно трудной. Его отец и мать умерли рано от туберкулеза, а за ними его пятеро братьев и сестер. Пришлось Льву, Лева с Могилева, как дразнили его в детстве пацаны, работать с десяти лет, чтобы не умереть от голода. О школе не стоило даже мечтать. Но, как говорил Лева, что «школу он все-таки видел издали». Во внутрь школы он пытался заглянуть, но ему это не удалось сделать – вытурили на улицу вашей.

Но школу все-таки он прошел, работая на разных хозяев, в разных городах и местечках. Эта работа и стала школой его жизни. А он гордо заявлял: «Я вырос на хлебах у голода.» Эта фраза выглядела бы оптимистически, если бы не была такой болезненно-политической, горькой, как слеза, скатившаяся по щеке. Поэтому Квитко после 1917 года сказал: «Революция освободила меня, как и миллионы других людей нашей страны. Об своем сиротстве он написал: «Мы детство не видели в детские годы. По свету бродили мы, дети невзгоды... А ныне мы слышим бесценное слово: «Придите, чье детство украли враги, кто был обездолен, забыт, обворован с лихвою вам жизни возвращает долги».

И Квитко не только написал о своей горемычной судьбе, но и понял, что государство стало заботиться о своих гражданах. И он воспевал эти блага советского быта в своих стихах: «Колхозные ясли», «Анна-Ванна-бригадир», «Урожай», «Днепровская песня» и многие другие.

Стихи Квитко писал не за письменным столом, а где придется, даже на ходу. Ходит дома из комнаты в комнату и бормочет. Потом плюхнется в кресло, обхватит руками колени и, мерно раскачиваясь телом, бесшумно сочиняет поэтические образы и ритмы. Лев Квитко был молчалив и от природы. Но умел так внимательно слушать собеседников, что им казалось, что Лева беседует с ними вслух. Когда же гости уговаривали прочесть стихи, он читал: «Я из деревни недавно вернулся. Сколько там самых чудесных чудес...»

На этой фразе Нина остановилась и сказала мне:

- Володя, мирное время продлилось недолго. А когда на Советский Союз напали фашисты-гитлеровцы, то Квитко не смог примириться со зверствами этих негодяев и написал «Стихи о детях». Но эти стихи ты прочитай сам. У меня сердце разрывается,

когда сапоги гитлеровцев стали растаптывать наше святое

И я стал читать:

- Весь мир был щедр и говорил Нине: Верь! Увы, не то теперь. В стихе «Лес»: «Я прежним никогда теперь не буду». Но война закончилась победой добра над бесчеловеческой злобой. И уже в стихе «Лес» у него зазвучало: «Я тебе, как празднику, как чуду сердечно рад!» И зазвучали у Квитко излюбленные темы про жучков, о щебетании птиц, о муравье, который тащит соломинку в несколько раз больше его: «Гляди соломинка идет. Эй, встречный, берегись!» Но интересно было послушать стихи Квитко про свадебный поезд: «Бубенцы звенят, играют на первой пролетке, на первой пролетке. На пролетке пряжи-свахи, невеста в середине, невеста в середине... Ой, ой, песня льется, а невесте не поется! Ой! Только выехали в поле, как навстречу конный, как навстречу конный. Ой, как вспыхнула невеста, что костер заженный, что костер зажженный. Ой, ой, плохо дело! Все молчат, она запела! Ой! «Кони мои, кони мои, ступайте до дому! Ступайте до дому! Горе тебе, горе тебе, парню молодому! Ой, ой, смех не к месту, потерял жених невесту... Ой!» А затем Квитко написал стихотворение про елки. Он выкопал две маленькие елочки осенью. Но не посадил, забыл о своем замысле. И вспомнил о елочках зимою: «И вдруг во мне похолодело сердце, я вспомнил, что про елочки забыл. Пришла весна. Я вышел в сад пахучий и первым делом бросился к сирени. А в стороне... Да что ж это такое?! Две елочки, два кротких медвежонка. Игольчатые ветки оттопыря, стоят купаясь в солнечном деньке. Они меня, наверно, долго ждали. Их дождики отхлестывали злые. Осенний ветер маял и студил. Тогда они к земле припали низко. И крепко к ней корнями присосались. К неистребимой жажде бытия. И я стою в молчании глубоком и думаю: «Какое это чудо – Земля животворящая моя!»

Когда Лев Квитко во время войны стал во главе еврейского антифашистского комитета, он тут же вспомнил о своем друге – украинце и стал узнавать о его судьбе. И главным оружием против фашистов были его убедительные стихи. А в щедром сердце они всегда рождаются светлые стихи...

Когда я закончил рассказывать о Квитко, то Нина спросила меня:

– Володя, а какое стихотворение Чуковского мы прочитаем о судьбе поэта Квитко?

Я ответил:

– Мы узнали с тобой, что Лев Квитко всегда писал стихи для ребятшек. Так давай я прочту стихотворение Корнея Ивановича, которое называется «Поросенок». Но не подумай чего-то плохого. Маленькая девочка, а Квитко всегда писал про детей, выбрала не котеночка, не утеночка, не цыпленочка, а поросеночка. Так пусть же детская мечта исполнится, как когда-то детские стихи Квитко радовали маленьких детей:

И так «Поросенок»:  
Полосатые котята  
Ползают, пищат.  
Любит, любит наша тата  
Маленьких котят.  
Но всегда милее татеньке  
Не котенок полосатенький,  
Не утенок, не цыпленок,  
А курносый поросенок.

Нина кивнула головой и сказала:

– Детские поэты – это уникальные люди. И я с удовольствием слушала и читала стихотворения Льва Квитко. Он был великолепным поэтом для детей!



## Глава: Юрий Тынянов

Открывая главу о Юрии Тынянове Корней Чуковского, я просил Нину:

– Что же мы с тобой предложим интересенького нашим читателям?

И она тут же заговорила:

– Книжки для Тынянова соответствовали его фамилии. Он с ними был на «ты» и «ня» - «новыми». Он читал классику: русской, французской, немецкой, итальянской литературы. К тому же, где бы Тынянов ни проживал, в Петергофе или в Московской гостинице, то через день или два у него на столе само собой появлялись книжки, множество книг. Если он заходил в библиотеку, то задерживался там до вечера мысленно разговаривая с Пушкиным, Державиным, который, как сказал Пушкин на выпускном вечере в лицее: «Старик Державин нас поздравил и в гроб сходя, благословил».

Библиотекари считали Юрия Тынянова студентом, так молодежово выглядел Юрий. Иногда говорил и какой-то писательской мелкой букашке. Ведь могут иногда и бездари такую фразу произнести, что диву даешься: «Например, вот такую: Жизнь такова, какова она есть – и больше ни какова!». Он внешность каждого писателя представлял образно, словно видел вот только сейчас эту внешность: с такими же глазами, как у нас, бровями, привычками. Он словно входил в транс и под гипнозом видел бархатную курточку Николая Щербины и его желчное, оливкового цвета лицо. Или насупившись глядит на добрые армянские глаза Панаева. Юрий представлял Якова Петровича Полонского, длинноволосого с двумя костылями и любую складочку на его пиджаке. Даже обоняние Тынянова остро ощущало каждую отдельную эпоху со своим единственным и уникальным запахом. Да и старик Державин был для него таким же современником как Всеволод Иванов или Виктор Шкловский. Зато баснописец Измайлов талантливый и пьяный представал перед Тыняновым во весь свой огромный рост нетрезвым забулдыгой, у которого на носу видны синие прожилочки от чрезмерного принятия алкоголя.

– Вот это да! – воскликнул я с восторгом. – Как тут не вспомнить Пушкина, который восторгался собой: «Ай-да, Пушкин, ай-да, молодец, сукин сын!»

А Нина ответила:

– Володя, ты уже повторяешься, а мы должны показать Юрия тынянова во всей красе. Продолжай рассказывать о Юрии Тынянове. Я немного передохну.

И я стал говорить:

– Он в детстве мечтал стать актером, а потому мог мысленно преобразиться в Крылова, в Жуковского или в Воейкова. В нем не было педантизма ученого. Ум Юрия Тынянова был таким изощренным и гибким, что мог в любую минуту взрываться фейерверками экспромта: эпитаграмм, каламбуров, анекдотов, к бытовому гротеску. Он дружил с мастерами изощренного юмора как Михаил Зощенко и мастером уморительно-озорной иронии Евгения Шварца, которая воплотилась в его «Дракон» и «Голом Короле». Единственным соперником у Юрия Тынянова был Ираклий Андроников. Ираклий полностью перевоплощался, изображая Пастернака, в Качалова. В Остужева и даже в Алексея Толстого. Юрий с обаятельной легкостью изобразил скупого, но с каким-то легким обаянием Сергея Львовича Пушкина в голубом галстуке и мундире. Кроме того, Тынянов был художником, мастером живописного портрета. Но он был скромнен: все чудесные портреты писателей, написанные уверенной кистью, оставались достоянием тесного круга его знакомых, а читатели даже не подозревали о его таланте.

Однажды Юрий Николаевич прочитал лекцию об «архаисте» Кюхельбекера. Корней Чуковский, прослушав ее, спросил: «Почему же вы не рассказали перед такой аудиторией о Кюхле? Ведь такая история взволновала бы всех?» После Корней Иванович стал упрашивать Тынянова издать книгу на эту животрепещущую тему. Юрий Николаевич со скрипом согласился, а когда рукопись была готова, в ней оказалось четырнадцать лишних листов. Вот как затянула его эта идя Чуковского. Но сам Корней Иванович вспомнил Чеховский рассказ «Детвора». Там самый старший парень, услышав, что ставка в лето одни копейка, сказал: «У меня копейки нет, но есть рубль. И я ставлю рубль». Ребята загалдели: «Нет, нет... Копейку ставь. Копеечку!»

Тынянов давал издательству самобытный и талантливый роман, а оно требовало издать плюгавенькую брошюрку. И когда уже корректировали в издательстве гранки «Кюхли» Юрий Николаевич переработал главу «Петровская площадь». А для Чуковского напи-

сал экспромтом: «Накануне рождения «Кюхли» сижу бледнея над экспромтом и даже рифм не подыскать. Перед потомками потом там за все придется отвечать». Вот как заботился о потомках Юрий Николаевич Тынянов.

Тут мой рассказ остановила Нина:

– Но и на этой фразе нельзя поставить точку. Ты, Володя, отдохни, а я продолжу рассказывать читателям о Юрии Тынянове.

– Эта книга была во славу русской культуры и универсальная: ее могли читать и высококвалифицированные читатели и рядовые, академики и школьники из четвертого класса. Ей бы были рады не только Кюхельбекер, но и Рылеев с Дельвичом. Несомненно захотели бы познакомиться оба брата Бестужевых. Нет сомнения, что и Петр Вяземский был бы рад вступить в переписку с Юрием Тыняновым. В одном экспромте он упоминает о «Владыке Госиздата», который дал своему приспешнику Лейкину приказ: «Снять с работы Юрия Николаевича». А вот и экспромт: «Когда владыка Госиздата, столь незначительный когда-то, такую силу ощутил, что стал разборчив очень-очень, и мимоходом был проглочен ваш восьмилетний «крокодил». И он «Ковшам» велел остаться, а остальным ковшам убраться. И Лейкину сказал: «Умучь». То рок ли благосклонный, дух ли, но снизойдя к мученьям «Кюхле» вывели меня в «Кубуч». И там, великодушием муча, на территории «Кубуча», мне дали фабер номер два».

Это стихотворение кое-где нужно пояснить: «Крокодил – детская книга в стихах, «Ковши» – альманах, выходящий в Ленинграде, «Фабер номер два» – хорошие карандаши в Ленинграде были тогда большой редкостью.

Тынянов подарил книжку Корнею Ивановичу «Проблемы стихового языка», поставив шутливую надпись: «Пока я изучал проблему языка, ее вы разрешили в «Крокодиле». Когда же один из Пролекульта выступил на эстраде и заявил: «Горького можно считать нашим попутчиком», Тынянов записал эпиграмму: «Сатурнее кольцо сказало: «А недурно в попутчики теперь мне пригласить Сатурна». Один докучливый литератор, докучавший Тынянову своими плаксивыми жалобами на непризнание его «мнимых заслуг», Юрий Николаевич написал двестишесть: «Если же ты не согласен с эпохой – «Охай!»»

Как только Нина произнесла слово «Охай!», я попросил слово:

– Ты, Нина, отдохни, а я продолжу этот рассказ, который, к сожалению, подходит к концу.

Она кивнула головой, и я стал говорить:

– Последнюю книгу «Пушкин» Юрий Тынянов начал писать с огромным аппетитом очень бодро и радостно. Чуковский частенько спрашивал Юрия Николаевича при встрече: «Сколько сегодня Пушкину лет?» И он с виноватой улыбкой отвечал: «Вот честное слово: написал про него двести страниц, а ему все еще семь лет». Но после новой встречи Тынянов заявляет: «Вот ему уже стало четырнадцать...» Роман у него всегда был в голове: капитальная многотомная книга о Пушкине. Не зря же патриоты всегда говорили о Александре Сергеевиче: «Пушкин – наше все!» Но вдруг что-то произошло с Тыняновым, застопорилось и с его губ слетело слово «не пишется». Он теперь просиживал над двумя-тремя страницами по две-три недели и безжалостно браковал их. Писал их по-новому и снова браковал. А потом обнаружилось, что виноват-то не Юрий Тынянов, а его... болезнь. Нечеловеческим усилием он пытался брать перо и писать. Но все попытки не достигали успеха, были бесплодными. А когда он окончательно перестал писать книгу, что для него это значило... смерть.

Мне было трудно произнести такое роковое слов, но оно выдохнулось из моей груди. И я тут же предложил Нине свой вариант на каждую главу сказки Чуковского: «Топтыгин и лиса». Как точно подходит эта сказочка к спадам и взлетам его творчества Юрий Николаевич Тынянов был разносторонним поэтом и писателем. Но, как говаривал Козьма Прутков: «Не объятное – не обнимешь». А у Топтыгина было желание удлинить свой куцей хвостик. Но желанья и Топтыгина, и Юрия Тынянова не сбылись из-за их несбыточных желаний – априори... И первым читать буду я!

– Я – последняя буква в алфавите – сказала Нина. – Но если назвался груздем, то полезай в кузов. Начинай.

И я стал читать:

– Отчего же плачешь глупый ты Медведь? Как же мне, Медведю, не плакать, не реветь? Бедный я, несчастный сирота, я на свет родился без хвоста. Даже у кудлатых, глупых собачат за спиной веселые хвостики торчат. Даже озорные драные коты кверху задирают рваные хвосты. Только я несчастный сирота, по лесу гуляю без хвоста. Добрый, добрый доктор меня ты пожалей, хвостик

поскорее бедному пришей!

Не успел я закончить фразу медведя, как Нина тут же продолжила читать сказку о «Топтыгине и лисе»:

– Засмеялся добрый доктор Айболит, глупому медведю доктор говорит: «Ладно, ладно, родной, я готов, у меня сколько хочешь хвостов. Есть козлиные, есть лошадиные, есть ослиные длинные-длинные. Я тебе сирота услужу хоть четыре хвоста привяжу. Начал мишка хвосты примерять, начал мишка перед зеркальцем гулять: то кошачий, то собачий прикладывает да на Лисоньку сбоку поглядывает.

Я смолк, а Нина подхватила:

– А лисонька смеется: «Уж очень ты прост! Не такой тебе надобен хвост! Ты возьми себе лучше павлиний: золотой он, зеленый и синий. То-то Миша, ты будешь хорош, если хвост у павлина возьмешь!

Теперь уж я сказал удивленно:

– Вот лиса-Патрикеевна хитрит. Когда-то она волку посоветовала в проруби хвостом рыбу ловить, а он вмерз в лед. А я теперь буду говорить про медведя:

– А косолапый и рад: «Вот это наряд так наряд! Как пойду я павлином по горам и долинам, так и ахнет звериный народ: ну что за красавец идет. А медведи, медведи в лесу, как увидят мою красу, заболуют бедняги от завести!»

Нина сказала:

– Медведь-то на прием к доктору Айболиту пришел. И он стал советовать глуповатому мишке:

– Нос улыбкой глядит на медведя Айболит: «Ку куда тебе павлиний? Ты возьми-ка себе козлиный!» «Не желаю я хвостов от баранов и котов! Подавай-ка мне павлиний, золотой, зеленый и синий, чтоб я по лесу гулял, красотою щеголял! И вот по горам, по долинам мишка шагает павлином. И блестит у него за спиной золотой-золотой, расписной, синий-синий павлиний хвост.

– Ладно, пусть косолапый Мишка повилеет золотым и синим-синим павлиньем хвостом – сказал я. – Лучше послушай-ка теперь меня. Я расскажу про хитрую лису.

И стал читать:

– А лисица, лисица и юлит и суетиться. Вокруг Мишеньки похаживает, ему перышки поглаживает: «До чего же ты хорош, ты

павлином плывешь! Я тебя и не признала... За павлина принимала. Ах, какая красота у павлиньего хвоста!

Тут уж Нина перехватила инициативу:

– Пока медведь щеголял своим павлиньим хвостом, над ним нависла беда.

– И какая же беда могла приключиться у Медведя? – спросил я, а Нина продолжила говорить:

– Но тут по болоту охотники шли и Мишенький хвост увидели вдали. Глядите: откуда такое в болоте блестит золотое?» Поскакали по кочкам вприпрыжку и увидели глупого Мишку. Перед лужею Мишка сидит словно в зеркале в лужу глядит. Все хвостом своим, глупый любит, перед Лисонькой глупый красуется. И не видит, не слышит охотников, что бегут по болоту с собаками.

Тут уж я высказал свое мнение о глупом Мишке:

– Доигрался самовлюбленный медведь. До хвалился, доигрался с лисой. Позабыл про басню Крылова «Ворона и Лисица». Охмурила Лиса своим красноречием и попросила Ворону спеть песенку своим «ангельским» голосом. Оригинал все знают: «Ворона каркнула во все воронье горло – сыр выпал, с ним была плутовка такова». Теперь уж я доскажу эту сказочку.

И стал говорить про участь медведя глупого:

– Вот и взяли бедного голыми руками, взяли и связали кушаками. А Лисица веселится, забавляется: «Ох, недолго ты гулял, красотой щеголял! Вот уж тебе, павлину, мужики нагреют спину. Чтоб не хвастался, чтоб не важничал. Подбежала – хват да хват – стала перья вырывать. И весь хвост у бедняги повыдергивала»

Нина сказала:

– До чего же коварной оказалась Лисица. Но зато проучила глупого мишку. Будет теперь медведь в цирке выступать, под музыку приплясывать, да на велосипеде по арене цирка ездить и крутить во всю прыть педали.

## Глава: Зощенко

О Зощенко Нина начала говорить издалека:

– Когда под руководством Горького создалась организация «Всемирная литература», то не было подходящего помещения для нее. И Корней Чуковский вместе с писателем Александром Николаевичем Тихоновым случайно, прогуливаясь по Петрограду, наткнулись на несуразный дом, принадлежавший богатому графу Мурузи. Некогда в этом доме на углу Литейного и Спасской жил Мережковский. А внизу находилась знаменитая лавка Абрамова. Когда началась революция одну огромную квартиру захватили эсеры, «социал-революционеры». Когда эсеры испарились в доме появились беспризорники. Но после облавы шпана разбежалась, но успели огольцы открыть все водопроводные краны на кухне и ванной. Чуковский и Тихонов зайдя в этот многострадальный дом по загаженной лестнице, услышали бульканье воды. Увидели, что в комнатах все шевелилось, намокшая бумажная рвань и тысячи эсеровских брошюр и листовок. Корней Иванович разулся и босиком добрался до красно. Всемирный потом прекратился. Оглядевшись, Тихонов спросил Корнея Ивановича: «А не стодится ли эта квартирка для Студии». Вдвоем приняли решение: нужно высушить полы, выкинуть хлам промокшей бумаги, стереть непристойные рисунки и надписи, оставленные для истории беспризорниками.

«Вот обрадуется Горьки!» – чуть ли не хором произнесли они. Тихонов, друг и помощник Горького был и директором «Всемирной литературы». А уют и тепло в помещениях помогла наладить бывшая баронесса Мария Игнатьевна Будберг. Когда эсеровские брошюрки высохли, то ими стали топить небольшой, но изящный камин. Однажды Мария Игнатьевна, с помощью Горького принесла какую-то горячую бурую жидкость, которую Будберг называла «кофе!». Впрочем, вскоре Марию Игнатьевну заменила быстроглазая и юная Муся Алопкина. В нее один за другим влюблялись студенты.

Нина умолкла, а я продолжил рассказывать читателям как жилось в Студии переводчикам книг с иностранных языков на русский:

– Все было бы нормально, но жизнь повернула первоначальную программу по-своему. Некоторые студийцы нисколько не

интересовались переводами. они жаждали создать свои литературные ценности. И возникло через несколько месяцев «Серанионово братство»: Миша Слонимский, Лева Лунц, Володя Познер, Илья Груздев, Лиза Полонская и работник угрозыска Михаил Михайлович Зошенко. Студия стала превращаться в клуб и изменила свой профиль: они стали встречаться друг с другом и делиться своими произведениями и пылкими мыслями о своем творчестве. Зато никто из них даже не подозревал, что в литературе уже появились отличные писатели: Константин Федин, Всеволод Иванов, Вениамин Каверин и Николай Тихонов. А куда их «братство» принимали за «лунатиков» одержимых литературой. Самым молодым был из них Володя Познер, которому было лет пятнадцать: черноволосый, округлые щеки, огневые глаза, насмешливый хохмач с неистощимыми запасами веселья. он мог цитировать строки Маяковского, Гумилева, Мандельштама, Ахматовой. да и сам он писал стихи, эпиграммы, юморески, пародии.

Был в студии и другой мальчуган: голубоглазый, кудрявый, с ямочками на щеках. И звали его Леня Лунц. Ему было семнадцать лет, студент университета, а казался школьником, при том не в старших классах. Зато в университете его считали в будущем – светилом науки с феноменальными знаниями иностранных языков. Он знал пять языков, и самый любимый из них для него был испанский. Отказавшись от тургеневских и толстовских традиций, он запальчиво произносил: «Долой психологизм! Долой Чеховщину!» Это считалось кощунством, но многие восторгались его искренностью, эрудицией и его сильным и самобытным умом. Тогда еще никто не знал, что он был смертельно болен, изнуренный длительным голодом. Болезнь он переносил героически, без жалоб и хныканья, шутливо отмечая все досадные разговоры о болезни, словно это был досадный пустячок.

– Хорош, пустячок! – вступила в разговор Нина, а мне сказала:

– Ты, Володя, отдохни немного, а я продолжу рассказ для читателей:

– Третьим был Глазанов, коммунист, широкоплечий и рослый, в кожаной куртке и в сапогах до колен. Одним словом – большевик. Из студентов ему нравился Лунц. Но сблизился с Лунцем Глазанов по политической надобности: чтобы спорить с Леной и



доказывать ему, что он ошибается во внутренней политике страны. К сожалению, и к общему горю коммунист Глазанов осенью ушел воевать с белыми и погиб под Питером в боях с Юденичем. Четвертым студийцем был Миша Слонимский – нервный, худощавый, застенчивый юноша, с громадными печальными глазами. Он был «аристократом», а литература была его кровным делом. Всего его родственники были писателями: дед, отец и дядя (С.А.Венчеров) и даже тетя Венчерова. Мише Слонимскому казалось не избежать профессорской кафедры. Он собирал материалы для научной биографии Горького. Вот такими были лучшие студийцы. Но среди них не последнее место занимал и Михаил Михайлович Зоценко. Он был хоть и молодым человеком, но молчаливым и замкнутым. А внешне Михаил Зоценко был одним из самых красивых людей, которые были и жили с ним рядом. Ему тогда едва исполнилось двадцать четыре года. Смуглый и чернобровый, он был элегантным даже в изношенном своем пиджачке и в заплатанных и истоптанных щиблетах. Зоценко был уроженцем Полтавы и было всем понятно откуда у него круглые украинские брови, томное выражение лица и его насмешливые искорки в темно-карих глазах. Хотя все детство Михаила Зоценко прошло в Петербурге. Корней Иванович, увидав иллюстрации в «Ниве», небольшие картинки, нарисованные художником Михаилом Зоценко, спросил Михаила: «Оказывается вы пишете не только литературные рассказы, а и художественные комические рисунки из жизни украинских крестьян.» На что Михаил Михайлович неохотно ответил: «Это мой отец.»

Михаил Зоценко никогда не отвечал на любой вопрос сразу, а после продолжительной паузы, как будто он подирал нужные слова для такого трудного ответа.

В студии он казался нелюдимым, хмурым и как будто надменным. А садился в самом дальнем углу, чтобы никто на него не смотрел в упор. Он равнодушно вслушивался в громокипящие споры, которые велись около уютного камина. Споры были неистовы, но ни один мускул на лице Зоценко никогда даже на секунду не дрогнул. И никто не знал к какой группе спорщиков примкнет Михаил Зоценко.

Нина окончила свой рассказ и передала эстафету мне. И я начал говорить:

– Поэтесса Елизавета Полонская написала свои воспоминания о Студии. Не забыла она и о Зощенко. Написала скрупулёзно, точно до последнего штриха его характера. Да, бросалась его отчужденность от окружающих. Но он никогда не был высокомерен к его знакомым, не чуждался их. Хотя кое-кто называл Зощенко заносчивым. Полонская вспоминает в своей рукописи: «Чуковский поручил Елизавете и Зощенко рефераты о поэзии Блока. И Лиза предложила Мише взяться вместе за работу. но Михаил ответил: «Я буду писать сам. И не собираюсь с кем-то советоваться!» Полонская предложила компромисс: «Вы прочитайте мою рукопись, а я прочитаю вашу!» Зощенко опять отказался: «Читайте свой, а я свой прочитаю!» Когда Зощенко стал читать реферат всем стало понятно почему именно ему нужно было читать самому. Полонская вспоминала: «Это было так смешно, что никто из нас не мог удержаться от хохота». Ведь Зощенко написал о поэзии Блока «заядлым, вульгарным слогом пошляка Вовки Чучелова.» Физиономия Вовки и стала позже любимой маской писателя Зощенко. Тогда маска была в новинку и все приветствовали Зощенко от души. Многие в этот летний день в Студии девятнадцатого года почувствовали, что молчаливый агент уголовного розыска с таким усталым и хмурым лицом обладает присущей ему редкостной чудодействующей силой. И эта сила присуща только ему одному – сила заразительного смеха.

Корней Иванович вспоминал потом:

– Читая первое произведение Зощенко смеялся до слез, буквально в смысле этого слова. Вытирая слезы, я выразил ему свое восхищение. И Чуковский попросил посвятить свой талант юмористическим рассказам. Но он был человек своенравный и без посторонней указки выбрал свой писательский путь. Тут Корней Иванович подкинул Михаилу Михайловичу еще одну идейку написать статью о поэзии Надсона. Через несколько дней принес свою работу Зощенко: на длинных листах, вырванных из бухгалтерской книги. Он подал эти листы с еле заметной ухмылкой: «Только эта работа совсем не о Надсоне...» «О ком же?» А он, помолчав, произнес: «О вас».

Тут уже я решил передохнуть и сказал Нине:

– Расскажи читателям, как Михаил Зощенко досаждал своими своевольными поступками преподавателей Студии.

– Любишь ты, Володя, подкидывать мне парадоксальные поступки Михаила Зощенко! Но чем больше своеволен Зощенко, тем больше он этим восхищает меня – сказала она и стала рассказывать читателям:

Чуковский дома стал читать рукопись Зощенко и... вдруг захохотал как сумасшедший. Это было меткая и убийственно злая пародия на давнишнюю книжку Корнея Ивановича «От Чехова до наших дней. С сарказмом издевался Зощенко над изъянами литературной манеры Чуковского, искусно утрируя, доводя все до абсурда. Пародия заслуживала критической статьи. Но никогда самый язвительный критик не отзывался о бедных писаниях Корнея Чуковского с такой сосредоточенной злостью. Но именно этот лаконизм глумления и сказался на мастерстве молодого писателя Михаила Зощенко.

Страшно было видеть, что этой дивной способностью: властно заставлять своих ближних людей, оставаясь печальным и грустным. Но оказывается хандра душила Зощенко с самого детства. Но когда он брал в руки перо, то сразу же первые строчки в очерке «Баня» рассмешили его. Он смеется все громче и громче. Потом содрогаясь от хохота, роняет из рук карандаш и блокнот. Усилием воли он перестает смеяться, а потом хохочет снова до коликов в животе. В стену стучит сосед-бухгалтер. Ему завтра надо рано вставать. А Зощенко своим громким смехом не дает ему спать. А сосед уже стучит в стенку двумя кулаками. Тут Зощенко подбегает к стене и кричит: «Извините, Петр Алексеевич, ведь у вас такое имя и отчество, как у царя Петра Первого» Зощенко снова берется за блокнот и карандаш, но удержаться от смеха не может. Он бросается на кровать и смеется в подушку. Зато после смеха и хохота за столом Зощенко на следующее утро, придя в Студию, будет хмуро и угрюмо читать «Баню». Все слушатели будут хохотать, схватившись за животики.

Как-то в Студии Чуковский читал лекцию о натуральной гоголевской школе и приводил повести писателей, созданных под эгидой Белинского. И уже через несколько дней Зощенко принес пародийный рассказ, который так искусно пародировал, что казалось читателям будто он написан 1844 году для одного альманаха Некрасова. Зощенко ухватил характерные интонации, звучащие в ту эпоху. Написал Михаил Михайлович и «Шестую повесть Белкина»,

как проекцию на произведение Александра Сергеевича Пушкина. Не все его опыты были удачны, но он целеустремленно работал и работал.

И все-таки Михаил Зоценко начал постепенно открывать подробности своей биографии. Оказалось, что он бывший военный. С самого начала Первой Мировой войны, которую затеяли германцы, он ушел добровольцем на фронт. Командовал ротой, потом батальоном, получил четыре боевые награды за храбрость. В одном бою был ранен и отравлен химическими ядовитыми газами и получил порок сердца. После революции, опять же добровольно, вступил в Красную Армию и участвовал в боях против Булак Балоховича. Но даже до этой информации об Михаиле Зоценко его товарищи чувствовали военную выправку: поднятые плечи, четкий шаг. Но были дни, когда раны и ядовитые газы делали свое дело. В эти дни он сутулился, словно изнеможенный бессонницей, а лицо его становилось болезненно желтым. Как сердечник, он избегал порывистых движений и по улице ходил так осторожно, будто боялся сам себя расплескать.

– Вот это Зоценко! – с восхищением произнес я и сказал Нине:

– Ты так хорошо рассказала мне о Зоценко, что пора и мне начать рассказывать о Михаиле Михайловиче.

– Так в чем же дело, Володя? – спросила она, и я стал говорить:

– У Зоценко посещать дом Мунузи стало привычкой. А главные причины и цель были для Михаила: крепко поспать. В своей квартире из-за каких-то выботвых неурядиц у него не было даже угла, где можно было бы переночевать, преклонить голову. И Зоценко вечером не уходил из Студии, а засыпал под гул споров. Он был для Михаила колыбельной песней. Песни были разные: Виктор Шкловский громил и сокрушал блюстителей старой эстетики, пусть Николай Гумилев соблазнял рифмами и ритмами, а Белый плел чудесные кружева из своих творений. Любил Михаил Зоценко слушать в Студии Александра Блока. Когда Блок глуховатым голосом читал «Седое утро», «Соловьиный сад» и «Скифов» под открытым небом на балконе, Зоценко замирал и слушал, слушал внимательно. А на огромный балкон могли втиснуться еще около двадцати поэтов, которые дышали на балконе, затянутого золотисто-сиреневой дымкой петроградского летнего воздуха. Блок заканчивал

читать стихи, а на его понуром лице уже возникало выражение смертельной усталости. А Слонимский, Груздев и Зощенко слушали Александра Блока благоговейно. Зато осенью балкон пустовал. Познер даже написал об этом: «Настала осень, Студия пустела...» А через несколько строчек приписал: «Зима настала, серебрится иней и толстым слоем льда покрылся зал. На кухне был потоп, пожар в камине, никто уж больше лекций не читал.»

Корнею Ивановичу удалось создать книжную лавку и Александр Блок даже написал фразу для Чуковского: «Мы из лавки Дома искусства на Дворцовую площадь брели...» В конце 1921 или в начале 1922 года произошло событие, показавшее Михаила Зощенко в совсем другом свете. В темном дворике Дома искусства пьяный мужчина в военной длинной, кавалерийской шинели, с длинной шашкой наготове. Дворик опустел, все попрятались. В этот момент распахнулась дверь в Доме искусств и о чем-то спорили. Зощенко хватило одного мгновения: он в два прыжка, перепрыгивая через две ступеньки, подскочил к «кавалеристу» с шашкой наготове и с профессиональным искусством обезоружил разбуянившегося пьяницу. Стоило Зощенко на секунду опоздать, усомниться в правильности своего выбора, и алкаш мог бы нанести по товарищам Зощенко удары саблей. Они бы получили увечья. Михаил Михайлович совсем позабыл, что врачи предупреждали его, что он должен оберегать свое побаливавшее сердце.

На этом событии Нина остановила меня и сказала:

– Теперь мой черед, Володя, рассказывать о Михаиле Михайловиче.

Я не успел раскрыть рот, как она стала говорить:

– В середине двадцатых годов Зощенко стал самым популярным писателем. Его юмор пришелся по душе читателям. Издаваемые книги Михаила Зощенко исчезали мгновенно с прилавка – покупались нарасхват, предвкушая прочесть иронические строчки писателя. Артисты на эстраде, читали его «Баню», «Аристократку», «Историю болезни», а зрители хохотали до истерической икоты. Любое издательство старалось издать хотя бы одну книгу Зощенко. Константин Федин говорил: «Михаил Зощенко был первым из молодых литераторов. Он без малейшего усилия, как в сказке, получил признание не только в литературной среде, а в огромной, необозримой читательской массе. Как говорится,

Зощенко действительно однажды проснулся в одно прекрасное утро знаменитым. Кто бы мог подумать, что часть его рассказов напечатало издательство «Академия» в серии «Мастера современной литературы». А издательство «Прибой» - собрание его сочинений. Любая статья начиналась в этих изданиях так: «С именем Зощенко связана крупная литературная удача!» Хотя, удача была какая-то странная. Публика не понимала глубину его развлекательных произведений. Но так считали только недалекие люди. Литературное значение Зощенко понимали мэтры литературы: Алексей Толстой, Юрий Олеша, Самуил Маршак, академик Евгений Тарле. Громче всех восторгался Горький: «Хорош Зощенко, очень обрадован тем, что Зощенко написал хорошую вещь». И добавил: «Юмор я ваш ценю высоко! Ведь это же и социальная педагогика. К тому же я люблю ваши произведения читать вслух». Такие оценки Горького нужно было заслужить только задорными, озорными рассказами. И Алексей Максимович произнес еще одну характерную фразу про творчество Зощенко: «Мне нравится ваш пестрый бисер вашего лексикона». А значит эта фраза про «бисер» говорила, что смех вызывает филигранная работа писателя над каждым словечком. Откликнулся на «мелкий бисер» и профессор, а потом и академик Виноградов. Он написал целый научный трактат «Язык Зощенко». А про этот «язык» академик промолвил: «Сказ». Это слово «сказ» подхватили все критики. Например, литературная судьба Зощенко связана со сказом. А ведь в «сказе» Михаила Михайловича была злободневность, он выхвачен автором прямо из реальной жизни. Речь Зощенко не лепковская мозаика курьезных и вычурных слов. Это живая, свежая, неподдельная речь, которая звучала тогда на улицах, на базарах, в трамваях и даже в банях. Писатель жил в окружении персонажей, которые не надо было высасывать из пальца. Только в языке своего народа можно услышать множество жаргонов: воровской, крестьянский, солдатский, женский, детский...

– Нина, – сказал я, – а не пора ли тебе отдохнуть. Ты перечислила столько жаргонов, что мне сразу и не запомнить. Давай-ка я начну рассказывать читателям об оригинальном языке Михаила Зощенко.

Она кивнула головой в знак согласия, и я стал говорить:

– Об языке Зощенко писали в то время множество исследовате-

лей. Вот один пример: «Женщина нюхает цветки настурции», будто настурция не цветок, а созревший огурец. А вот еще интересная фраза: «Раздаются крики, возгласы и дамские слезы». Как будто слезы могут раздаваться! И еще: «Раз он, сволочь такая, в центре снимается, то пусть одной рукой поет, а другой свет зажигает.» Но когда Зоценко видит похоронную процессию, а один из этой массы вдруг говорит шибко и мудрено: «Музыка играет траурные вальсы», то и впрямь захочется закружиться в вихре вальса, игнорируя траурную процессию и ее колонны. Но один из перлов зоценских жаргонов много стоит: «В одной руке у него газета, в другой – почтовые открытки. В третьей руке его супруга держит талон». Если уже этот гражданин приписывает к себе третью руку супруги, то не пора ли ему не газеты и открытки покупать, а идти в больницу к психиатра. Зато другому персонажу Зоценко нужен не прием к кардиологу, а он буравит что попало: «Сердце не так аритмично бьется, как хотелось бы». Еще один умник, услышав критику, жалуется: «Ишь ты, наводит на все самокритику!» Другой собирается успокоить хамоватого соседа, а из его рта вылетает вот такая фраза: «Зачем ты нарушаешь беспорядок?» Так если уже есть беспорядок, то его уже нарушить невозможно, нужно совсем по другому, по-русски сказать можно бардка, например. Да язык Зоценко нарочито скудоумный. Одному его «герою» захотелось щегольнуть канцеляристом. И вот эта фраза: «Я не имею такого «бесчувствия» к «детскому вопросу». Даже о ребенке зоценский мещанин говорит: «Родился ребенок, как «таково». А вот одна из порабощённых эстетикой протоколов, донесений и рапортов фраза человека, которого толкнули в театральной толпе: «Кручусь, вызывая нарекания и даже толкание и пихание в грудь!» Вот этот перл: «Толкание и пихание в грудь. Совсем человек окосноязычим. Даже женский выпад звенит, как гимн канцеляриту: «Бьет его в рыло за исковерканную дамскую жизнь, плюс туфельки и пальто». Как видите, дорогие читатели, этот мужлан не только исковеркал дамскую сумочку, но даже не пожалел ее туфельки и пальто.

После реплики моей о туфельках и пальто Нина вступилась за даму и сказала:

– Все, Володя, пора и мне продолжить рассказ о творчестве Михаила Зоценко, а ты пока отдохни.

И стала говорить:

– «Уважаемые граждане» – книга у писателя очень страшная. Все взаимные отношения изображенных в этой книге построенны на «бешеной ненависти» друг к другу. Один из обывателей смачно рассказывает о коммунальной драке: «Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не только драка, а целый бой... Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилычу последнюю башку чуть не оттапали». Как будто у Гаврилыча, как у Змея Горыныча, несколько голов на длинных шеях. А «бой-то» произошел из-за «ежика» - маленькой такой щеточки для чистки закопченного примуса. Жиличка Щипцова взяла этот ежик на кухне почистить примус, а другая жиличка, чей ежик, посмотрела, что взято и отвечает: «Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим назад положите». Щипцова конечно вспыхнула от этих слов и отвечает: «Пожалуйста, Дарья Петровна, подавите своим ежиком. Мне до вашего ежика дотронуться противно, не то, что его в руки взять. Цена-то этому ежику грош в базарный день, но осатаневшие люди, пропитанные собственническими, злыми инстинктами не желают ни на минуту уступить соседке. Муж, Иван Степанович Кобылин, чей ежик, на шум является, здоровый такой мужчина, пузатый даже, но в свою очередь нервно говорит: «Я, ну ровно слон работаю в кооперации. Колбасу им отвешиваю на трудовые гроши ежики себе покупаю. И ни почему-то не разрешу постороннему, чужому персоналу ежиками воспользоваться». Тут инвалид Гаврилыч тоже является и говорит: «Что за шум, а драки нету?!» Вот тут после этих красивых слов и подтвердилась драка. Эта кровопролитная драка почти как ледовое побоище с немцами на Чудском озере под руководством Александра Невского длилась недолго. Кто-то ударяет инвалида по нужному. Сколько бы длилась эта драка неизвестно, но вмешался милиционер и сказал: «Запасайтесь, дьяволы, гробами. Сейчас стрелять буду». Только после этих слов народ маленько очухался. Бросился по комнатам. И с чего ж это мы, уважаемые граждане, разодрались?

После этой фразы, Нина сказала мне:

– Как я начала со слов «Уважаемые граждане», так и закончила. Давай-ка, Володя, и ты удиви чем-то наших читателей.

И я тут же продолжил рассказ Нины:

– Михаила Зощенко некоторые критики обвиняли в клевете на современную жизнь. А он в новелле «Апрель цветет» им напрямик



и ответил: «Вот один милый дом. Гости туда шляются. В картишки играют. И кофе со сливками жрут. А за молодой хозяйкой ухаживают. Ручки ей лобзают. И вот, конечно, арестовывают хозяина, инженера. Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не пухнет. И ни одна сволочь не заявляется. И никто ручку не лобзает. И вообще пугаются, как бы эти бывшие знакомые не кинули на них тень.». Прочитав эту фразу Михаил Зощенко спрашивает: «Ну что? Может быть это клевета? Это происходит в каждую минуту нашей жизни. А пора об этом говорить прямо в глаза. А то все, знаете, красота и величие, да звучит гордо. А как до дела дойдет, так просто, ну пустяки получают». Эта гневная отповедь несколько не утихомирила критиков: «Он видит только вероломство и корысть. Эти его сатиры – фантастика! Зато другой стишок написал: «С кого же он сатиры пишет? Где разговоры эти пишет?» Как-то, шагая с Литейного по Невскому к Зощенко подошел незнакомый субъект и набросился на него с упреками: «Где вы видели этот омерзительный быт? И такие скотские нравы? Теперь, когда моральный уровень...» Критик не успел договорить свою фразу до конца, как с четырехэтажного дома к ногам спорщиков свалилась обезглавленная тощая курица. А из окна квартиры высунулась лохматая голова с безумными от ужаса глазами, и небритый мужчина заорал отчаянно: «Не троньте мою куру! Моя!» Пришлось и спорщику, и Зощенко охранять эту тощую курицу от прохожих с голодными глазами пока этот лохматый мужичок не спустился с четвертого этажа и не запихал в авоську свою курицу. Обвинитель прекратил тут же свои обвинения и ушел не солоно хлебавши, ворча что-то себе под нос. Но Зощенко успел сказать: «Теперь я думаю, что вы сами увидели». Но в голосе Михаила Михайловича не было ни злорадства, ни торжества. Лицо Зощенко потемнело, а походка стала походить на черличенлинскую, грустная походка обиженного жизнью человека.

Зощенко написал потом в «Голубой книге» про сложную судьбу старика: «Она (судьба эта) утомляет ум, предрасполагает к меланхолии и портит характер».

– Впрочем, – сказала Нина, характер Зощенко ничуть не испортился. Так разреши мне теперь рассказать о Михаиле Михайловиче?

Я ответил: «Буду только рад!» А Нина стала говорить:

– К этому времени у Зощенко уже ничего не осталось от того

высокомерного «шершавого» и даже заносчивого, каким знали его читатели в те молодые годы. Он стал мягче в обращении с людьми, более приветлив, уравновешен и прост. Слава подействовала благотворно. И вот, что написал писатель Горькому: «Мне пришлось всегда работать по мелким журналам, воздерживался от «высокой литературы». Сейчас работаю на заводе в цеховой стенгазете и впечатной заводской. На эту работу я вызвался сам, чтобы увидеть жизнь и принести пользу художественной литературе. Хотя она сейчас мало существенно и почти никому не требуется. Наши поэты писали стишки о цветках и птичках, а рядом ходили дикие, неграмотные и даже страшные люди. Но когда от рассказов Зощенко «высокого стиля» он наотрез отказался и стал размещать в юмористическом листке «Бегемот» фельетоны на злобу дня. Выбрал себе псевдоним «Гаврилыч», а черпал информацию с разных концов государства Российского. Гаврилыч стал бодрым, приветливым, каким-то праздничным и нарядным. Его очерки становились подлинными шедеврами юмора. Его быстрота восхищала всех. Он писал всегда материалы набело, без помарок, в один присест. Но популярность не тешила его. В одном сезоне появилось пять или шесть самозванцев, которые на разных курортах выдавали себя за Зощенко. Один из «Зощенков» покорила сердце провинциальной певице, которая через несколько месяцев предъявила реальному Зощенко. Пришлось Михаилу Михайловичу выслать свою фотокарточку, что герой ее волжского романа совсем не он.

Жил тогда в Ленинграде писатель довольно сносный, но гаденький. Но стихи писал, а фамилия его была Тынянов. Как-то он повесил на шею плакат: «ПИСАТЕЛЬ» и стал на Литейном в позе стыдливого нищего интеллигента, собирая подавания и мелочь в шляпу. К вечеру его рваный портфель наполнялся медяками. Он снимал свою бесстыжую вывеску и направлялся в закусочную, где цены были недоступны для тех старушек, которые бросали в шляпу «нищего» медяки.

Тут уж я попросил Нину отдохнуть и стал продолжать рассказ о Михаиле Зощенко:

– Но вдруг к нищему интеллигенту подошел Михаил Михайлович и сурово спросил у него: «Сколько денег вы добываете в месяц при помощи этой комедии?» Тот задумался и произнес: «Сорок червонец». «Вот вам двадцать за полмесяца вперед. И сейчас уходите

отсюда! – скомандовал Зощенко- не позорьте литературу, ступайте!» Нищий взял деньги, заулыбался, закланялся, снял с шеи вывеску и деловито произнес: «За остальными я приду к вам в редакцию. Ровно через две недели». Но едва Зощенко ушел от «нищего», он натянул вывеску и вернулся на прошлое место.

Зощенко на обратном пути, увидев попрошайку на прежнем месте, потребовал уйти и никогда не возвращается на это место. Нищий неохотно покорился.

После Корней Чуковский проходя мимо летнего сада увидел Тынянова и спросил у него: «Ведь вы же обещали Михаилу Михайловичу». Нищий оборвал Корнея Ивановича: «Я обещал ему насчет Литейного. И свято держу свое слово. А на счет Летнего сада у нас разговора не было - ответил писатель с нагловатой усмешкой – к тому же я продешевил... По наивности» Но вскоре сам Михаил Михайлович убедился, что Тынянов деградирует с огромной скоростью и стоит на краю пропасти, вниз которой можно свалиться по пьянке и сломать не только ноги, руки, ребра, а разбиться внизу о камни насмерть. Попрошайка был грязен, пьян, а одежда была в лохмотьях. Космы седых волос торчали из-под шляпы. На его груди болталась картонка с надписью: «Подайте бедному поэту». Как у Кисы Воробьянинова «Подайте бывшему депутату Верховной Рады на пропитание». Но Тынянов даже такой изящной фразы не смог произнести. Он хватал прохожих за руки и грубо ругался. Брань была отборная, многоэтажная. Зощенко не мог даже понять: как до такого ужасного состояния мог опуститься бывший интеллигентный человек? Ужасное видение осталось навсегда в памяти Зощенко.

Я выдохся, а Нина, поняв мое состояние, стала продолжать рассказывать о Зощенко:

– Возможно встреча с Тыняновым и побудила Михаила Михайловича написать осенью 1930 года о Мишеле Сенягине, нищем поэте. И вот, что говорил о Мишеле Зощенко: «Он больной, старый, нищий и бродяга. Стал просить милостыню. Одежда на нем – рваная и грязная, которая висит на его костлявых плечах».

Вообще в начале тридцатых годов человек, потерявший человеческий облик, занял в творчестве центральное место. Этот образ постоянно маячит в книге «Сентиментальные повести». Чаще всего «загубленные люди» на самом деле бессмысленно погибают.

Но такая тема была не нужна обывателям. Как-то в Сестрорецке Зоценко стал читать сентиментальные повести с эстрады в парке, как тут же раздались крики: «Баню» давай. Аристократки! Чего ерунду читать!» А Михаил Михайлович ответил им в их же манере: «Может быть вы хотите, чтобы я прошел на руках по сцене или прокатился на одном колесе, балансируя, чтобы не скатиться прямо к вам в зал?» И в зале воцарилась тишина... Но травить Зоценко не переставали. Называли его творчество «Мелкобуржуазным и обывательским». Но не только беда преследовала писателя. Вскоре появилась во всей красе и Победа! Он после хамских претензий сказал: «Я думал о смехе, который был в книгах, но его не было в моем сердце. А прежде чем взять в руки перо я должен перевоспитать, переделать себя, вылечить от иронии и хандры.

А Блок сказал: «Простим угрюмство. Разве это двигатель его?» Угрюмость свою сам Зоценко не только понимал, а и вспоминал: «Вспоминая молодые годы, то поражаюсь сколько было горя, тоски и не нужных тревог. Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской».

А Горький, увидев Зоценко в первый раз, удивился: «Что вы такой хмурый и мрачный? Почему?» Удивился и Маяковский: «Я думал, что вы будете острить, шутить и балагурить... А вы...» Но вскоре хандра у Михаила Михайлович прошла. Он появился в Союзе писателей Ленинграда бодрый, на его загорелом лице не было ни тени апатии. В Союз писателей Зоценко зашел, чтобы вступить за Алексея Ивановича Пантелеева, который издал книгу «Республика Шкид». Какие-то люди решили затравить самого честнейшего писателя в то время. В ход была пущена клевета: нашли какого-то халтурщика-писаку, который заявил будто Пантелеев ограбил его, украв рассказ! Все было вздором и писатели не придали этому никакого внимания. Но дело-то было в 1937 году. И это «обвинение» могло погубить Пантелеева. Чрезвычайная тройка могла вынести и смертный приговор. Но три человека: Чуковский, Маршак, Зоценко выступили против «влиятельных деятелей», которые сфабриковали «дело».

Вскоре Михаил Михайлович задумал издать «Книгу Счастья». И мечтал: «Я должен испытывать восторг от существования. Испытать счастье, если все хорошо и бороться – если кругом плохо. Не хандрить! Ведь даже насекомое, которому дано четыре часа

жизни, ликует на солнце!» Но повесть вышла позже под другим названием «Перед восходом Солнца!» ведь Зощенко издал «Перед восходом солнца» в 1943 году, когда шла Великая Отечественная война, главным оружием в борьбе с фашизмом для него и стала его повесть.

Корней Чуковский, прочитав книгу посоветовал Михаилу кое-что «вышелушить» в книге. Но Зощенко это слово не понравилось: «Что вы сказали? – спросил он. – Вы-ше-лу-шить? То есть как это «Вы-ше-лу-шить»?»

Последний раз Михаил Михайлович приехал к Корнею Ивановичу в Переделкино в апреле 1958 года совершенно разрушенным, с потухшими глазами и остановившимся взором. Говорил он медленным, тусклым голосом и длинными паузами. Чуковский чувствовал, что писатель и великолепный юморист стоит на краю могилы. А Зощенко задавал вопросы и улыбался. Корней Иванович спросил у него о сочинениях, о новых планах. Зощенко махнул рукой и сказал: «Мои сочинения? Какие мои сочинения? Их уже никто не знает. Да и я уже их позабыл. Позабыл свои сочинения.» А через три месяца Михаила Михайловича Зощенко не стало...

Окончив рассказ о Зощенко, Нина спросила меня:

– Володя, а какое сказочное стихотворение Корнея Ивановича мы читаем читателям?

Я ответил:

– Ты и так устала, рассказывая о судьбе Михаила Зощенко. И его судьба была как скрюченная песня.

– Что-что? – уточнила Нина. – Какая скрюченная песня?

Мне пришлось объяснить:

– Это такая сказочка Чуковского «Скрюченная песня». У Михаила Зощенко жизнь и его творчество были слишком витиеватые, скрюченные такие. И сказочка «Скрюченная песня» и подойдет нам. И мне придется рассказать читателям этот стих.

– Жил на свете человек, скрюченные ножки. И гулял он целый век по скрюченной дорожке. А за скрюченной рекой в скрюченном домишке жили летом и зимой скрюченные мышки. И стояли у ворот скрюченные елки. Там гуляли без забот скрюченные волки. И была у них одна скрюченная кошка. И мяукала она, сидя у окошка. А за скрюченным мостом скрюченная баба по болоту босиком прыгала как жаба. И была в руке у ней скрюченная палка. И летела вслед за ней скрюченная галка.

## Глава: Макаренко

– Нина, – обратился я, – что ты можешь рассказать читателям о Макаренко? Ведь он сам написал о воспитании подростков, которые были хулиганами и ворами.

– Володя, – ответила она, – ты прав. Трудно сообщить читателям что-нибудь новенькое. Но я готова рассказать небольшой эпизод о встрече Макаренко и Чуковского.

– Так это же прекрасно! – с восхищением выкрикнул я. – Прошу тебя поговорить на эту тему.

Нина, как будто дожидалась этого предложения, и стала говорить:

– В 1936 году в Ирпене под Киевом Корней Иванович зашел к деду Прокопычу отведать уже созревших, сочных яблочек. В разговоре Прокопыч упомянул, что совсем рядом во-о-о-н в том белом доме, живет или отдыхает какой-то писатель.

Когда Чуковский решил узнать как зовут этого писателя, какая у него фамилия, то дед ответил: «Толи писатель, то ли комиссар».

Корней Иванович уже взялся за ручку калитки, чтобы уйти с тяжелой корзинкой яблок, как сверху, с ветки яблони девочка лет семи крикнула Чуковскому: «Писателя зовут Антон Семенович». У Чуковского в голове пронеслось: «Неужели Макаренко? А может быть и не он. Мало ли на свете Антонов Семеновичей». Девочка оказалась шустрой и доброжелательной и вызвалась проводить гостя до дома Антона Семеновича.

Когда Корней Иванович подошел к белому дому, то увидел, что домишко-то незатейливый. Больше походит на маленькую хату. Чуковский взошел на крылечко, освещенная ярким и жарким солнышком и ... дверь-то была заперта. Он хотел было развернуться назад, но к нему подбежала пятеро подростков, которые играли в лапту и в рюхи. Двое из них подбежали к Корнею Ивановичу и вежливо, с какой-то чрезвычайной любезностью, как английские лорды, попросили Чуковского немного подождать на крылечке. Один из них сказал: «Антон Семенович немного прилег отдохнуть в такую жару в холодке. Но он скоро проснется через четверть часа». Чуковский в руках с тяжелой корзиной решил присесть на ступеньку крыльца, а ребята уселись рядом на завалинку и стали

расспрашивать гостя, как будто они уселись в светской гостиной для дипломатических переговоров. Давно ли вы приехали к Потаповичу в Ирень? Бывали ли вы когда-нибудь в этих местах? Нравится ли вам наша Украина? Корней Иванович не успел насладиться такой тонкой воспитанностью ребят, как дверь в белую хату отворилась и на крыльцо вышел мужчина, в котором он узнал Макаренко. Ребят с завалинки как ветром сдуло, и они бросились к своей кампании игроков в лапту. А Корней Иванович узнал Макаренко. Да и он в самом деле был похож на комиссара эпохи гражданской войны: немногословный, строгий, уверенный в себе человек. У него не было лишних жесток и суевливых улыбок. В первую минуту этой встречи Чуковскому показалось в нем что-то непреодолимое, несокрушимое, властное. Макаренко всем видом своим напомнил ему его друга Бориса Житкова. А Макаренко держал в руках початок кукурузы. Он сильным, четким движением разломил початок пополам. И большой кусок протянул девочке, которая привела Корнея Ивановича к Макаренко. Она видимо привыкла получать от не дары. А Антон Семёнович дружелюбно и ласково взял тяжелую кошелку у Чуковского и завел его в прохладную комнату, познакомить со своими домочадцами и угостить его куском сладкой, сочной дыни. Затем бесцеремонно садится на тахту и в гордом одиночестве кушает дыню. Макаренко, услышав от Корнея Ивановича, что ему понравились два вежливых юноши, которые оберегали сон Антона Семёновича. Он ведет гостя во двор, где играют эти «вежливые юноши». А походка-то у Макаренко военная, четкая: так ходят перед строем командиры. Они сели на лавочку и наблюдают за игрой в лапту. Чуковский с радостной улыбкой говорит Макаренко: «Эти юноши напоминают мне оксфордских студентов». Макаренко соглашается с ним: «Правильно. Вот тот кучерявый – талантливейший вор – чемоданчик со станции Лозовая под Харьковым, а он был у них самый знаменитый. А вот тот, в белых брюках – всего лишь карманник, но тоже высококлассный профессионал.»

Тут я остановил нину и попросил продолжить разговор мне. Она кивнула, и я начал говорить:

– Макаренко, отбросив иронию, продолжил говорить о судьбах двух ребят: «Тот – кучерявый, стал медицинским работником. Я уверен, что из него выйдет хороший хирург. А парень в белых брюках будет выдавать такие концерты, что всем придется стоять

в очереди, чтобы приобрести билет на его выступления». Тут то и понял Корней Иванович, что они уже оба стали на ноги, а приехали к Макаренко. Ведь это он их спас от уголовной карьеры. Есть воспоминания и другого воспитанника Антона Семеновича: «У нас требовалась безукоризненная вежливость в обращении друг с другом. И особенно со старшими людьми, как с посторонними, так и с посетителями. нам Антон Семенович говорил: «Мы, советские люди, должны блистать изысканной воспитанностью и джентльменством. Нашей воспитанности должен завидовать весь мир!» Но настала пора уходить. Антон Макаренко решил проводить гостя. По дороге он стал делиться с Чуковским о своих надеждах и планах. Макаренко считает себя «новичком в литературе», «новобранцем». Но Корней Иванович чувствует, что Антон Семенович продумал свой творческий путь до конца и никаких сомнений, колебаний в своих творческих замыслах не чувствует. И уверенно пойдет своим путем. Прощаясь, Корней Иванович прочел строки его любимого поэта Некрасова: «Он чужд в сомнениях к себе, сей пытки творческого духа». Но Макаренко отвечает: «Сомнения были в прошлом. Теперь они остались позади. Я уверенно наметил себе несколько пятилеток непрерывной работы. По моему расчету нужно издать десять-двенадцать томов.»

Но вдруг Макаренко начинает сердиться. Он вспоминает о московских делах и возмущен нечистоплотностью одной из московских групп писателей, в которой он «новичок». Куда девалась его выдержка. У него скопилось множество неприглядных фактов, с которыми он столкнулся. Полон грозной решимости по приезду в Москву обличить и сокрушить эту ненавистную клику. Макаренко уверен в своей правоте, что он уже отчаянно дрался во времена его Первой коммуны с целым штабом закоренелых чиновников, гнездившихся в провинциальных наробразах. Теперь, впервые почувствовав себя в литературном братстве, понял, что может стать снова «драчуном», который будет сокрушать карьеристов и ханжей. Корней Иванович восхищался про себя его ораторским талантом, без него бы он не смог так сильно влиять на вверенных ему начинающих литераторов. Впрочем слово «оратор» совсем не подходило к Макаренко. Гораздо уместнее было назвать Антона Семеновича «мастером устной импровизированной речи». К сожалению, он писал хуже, чем рассказывал. Но немалую роль для



Макаренко играл украинский юмор.

Нан меня остановила на этой фразе и предложила мне:

– Володя, пора и мне рассказать читателям как боролся Макаренко со своими оппонентами.

Я согласился, а Нина стала говорить об экстренном совещании Союза писателей в Киеве:

– Было это заседание в знойное лето. От духоты и табачного дыма непривычно было добавлять горячность и запальчивость в прениях. Многие спорщики сомлели от этих «жарких» диспутов, что Корней Иванович очнулся в своем номере гостиницы. Какое же было удивление Чуковского, что он, потерявший сознание на экстренном совещании, вдруг увидел у изголовья... Макаренко у себя в номере. Оказывается, и Антон Семенович был на заседании заметив, что Корнею Ивановичу стало дурно, он отвез его в гостиницу «Континенталь» в снятый номер. И сидит у постели как сиделка. Сознание то появлялось у прихворнувшего Чуковского, то опять исчезало. Но он запомнил, что Макаренко считал, что Горький воплощение всего благородного, которое только бывает на нашей грешной земле. Но именно и у молчаливого Макаренко оказалось здоровье-то тоже пошатнулось. Корнею Ивановичу бросилось в глаза, что у Макаренко изнуренный вид. Тяжелая болезнь делает свое дело. Но Антон Семенович был головокружительно занят в Киеве. Он привлек на совещание Союза писателей бывших коммунаров: Ключник, Салько, Терентюк. А поэт Лев Квитко читал чудесные стихотворения. Вот так и вытянули из тяжелой болезни Корнея Чуковского.

Зато Антон Семенович на следующий год поехал на лечение в Кисловодск, в санаторий КСЦ на Крестовой горе. И вот какое совпадение: комнаты Макаренко и Чуковского оказались на одном коридоре. И оба слышали из своих номеров стрекотание пишущей машинки. Потом шутили: самый лучший отдых в санатории – это писать новую рукопись. А Антон Семенович трудился над романом, не разгибая спины. Чуковский сетовал: «Не лечит он свое сердце, а калечит. Работает с утра до вечера. И нельзя оторвать его от машинки погулять у тополей или у фонтана, или в парке». Но особая тяга у Макаренко была в общении с детьми. Он приходил в школу и, с разрешения учителя, скромно садился на заднюю парту и молчаливо осматривался как проходит урок. Ему предлагали младшие классы,

а он после них шел к старшеклассникам. Когда начиналось восхождение на Крестовую гору, Макаренко садился на скамейку у самого крутого подъема. Его сразу же окружали ребяташки и говорили о литературе, о Горьком, о Фадееве, о Алексее Толстом. Особенно спрашивали о Толстом, о его Буратино. Макаренко читал ребятам стихи. Это было неожиданно для него, что ребята увлекаются стихами Тютчева, Пушкина, баснями Крылова, а также творениями Брагинского и Тихонова.

Но тут я уже попросил Нину отдохнуть. Она согласилась и передала мне эстафету. И я продолжил рассказывать читателям:

– В письмах Макаренко жене: «Салют тебе, читаю твоих любимцев: Шекспира прочитал и взялся за Достоевского. Вот писатель, творчество которого по-настоящему еще никто не смог разобрать. Но оба и Шекспир, и Достоевский – великаны в литературе.»

Когда Макаренко прочитал книгу Корнея Ивановича «От двух до пяти», то о предисловии к этой книжке было написано автором: «Никому не советую думать, будто здесь педагогика. Я не педагог, а писатель». То Макаренко возмущенно воскликнул: «Вздор! Во-первых, всякий писатель всегда педагог. А во-вторых, вся ваша книга, хотите ли вы этого или не хотите, посвящена воспитанию детей. Пожалуйста, не притворяйтесь сторонним наблюдателем. А я наблюдая за психикой маленьких детей, вывел свое педагогическое «надо» и «нельзя».

Но работая в Кисловодске Макаренко очень соскучился по своей жене – Галине Стихивне. У нее не было возможности приехать с мужем на курорт и осталась в Москве. А он чувствовал себя сиротой. Ведь такая женщина, как его жена, всегда делила его жизненные трудности. Его благородные чувства перехлестывали через край. Может быть у человека другого склада чем Макаренко вышло бы сентиментально и фальшиво, нелепо, но у него было все естественно. Когда Чуковский уехал в Москву, друзья собирались быстро встретиться. Но на деле все обернулось иначе. Макаренко сидел, не вылезая из-за стола, под стрекотание пишущей машинки. Когда Чуковский все-таки сумел вырваться из своей бурной жизни, то ему показалось, что вся квартира Макаренко заполнена его творческими замыслами. Он радовался, что на приволье в Москве наконец-то напишет такую уникальную пьесу, которая будет в кинопрокате. Но только Чуковский вышел за дверь, то услышал неистовый стук

машинки. И в самом деле через пару месяцев Антон Семенович повез на киностудию новый сценарий. Это было первого апреля 1939 года. И ему сказали: «1 апреля – никому не верь». А он искренне верил, сев в вагон поезда, что его сценарий кинофабрика примет. но Антон Семенович Макаренко скоропостижно скончался в вагоне поезда на пятьдесят первом году от рождения.

Мы долго молчали и все же Нина спросила меня:

– Володя, какую же сказку Корнея Чуковского можно рассказать для читателей о жизни Макаренко?

– Ты знаешь, Нина, – ответил я, – у Корнея Ивановича есть оригинальная сказочка «Черепаша». Черепаша передвигается неторопливо, зато на воде она для лягушек экономия сил и надежное плавсредство. Вот я и прочитаю это стихотворение Корнея Чуковского:

– До болота идти далеко, до болота идти нелегко. Вот камень лежит у дороги. Присядем и вытянем ноги. А на камень кладут узелок «Хорошо бы на камень прилечь на часок!» Вдруг на ноги камень вскочил и за ноги их ухватил. И они закричали от страха: «Это –че! это-ре! Это-пах! Это чечере! Это папа! Папах!»

Нина после моего рассказа добавила: «Антон Семенович Макаренко много писал, но прожил пятьдесят один год. Черепаша-то живут более 300 лет!»

## Глава: Илья Репин

Я, перед тем как начать разговор об Илье Ефимовиче Репине, спросил Нину:

– С чего же нам начать говорить о великом художнике.

Она сказала:

– Думаю я начну рассказывать читателям о его внешнем виде.

И тут же заговорила:

– Когда в Третьяковке или в Русском музее разглядываешь картины «Иван Грозный», «Крестный ход», «Бурлаки на Волге», «Не ждали», уже количество картин, написанных репинской кистью, говорит о его величии. Десятки и десятки разных сюжетов рассматривают миллионы, а может быть и миллиарды посетителей музеев. На самом деле внешне он не напоминает титанов или Богов, хотя, вероятно, боженька поцеловал его в темечко. Ведь замысел художественного полотна возникает в голове живописца не сразу, а после творчества мучительно выстраданного персонажа.

Но все гости, которые побывали в доме у Ильи Репина удивлялись его неприветливости к своему внешнему виде: он невысокого роста, но с обаятельной улыбкой, лицо обветренное, правый глаз частенько прижмуривается, а левый глаз у него как ватерное – все запомнит и оценит: пейзаж или лицо. одевается в черную жилетку и накидку, а на руках не щегольские перчатки, а вязаные варежки. он кажется таким простым и застенчивым, но все то знают его: это Репин. И его заслуги – бессмертны!

Илья Ефимович жил в Куоккале зимой и летом. А дача его жены называлась «Пенаты», а жена – Наталья Борисовна. При его величии был скромен. Как-то один молодой человек спросил: «Это правда, что вы – Репин». Он, пожав плечами ответил: «Нет, у меня другая фамилия». Передвигался репин ни в каретах, и даже извозчика нанимал редко. Приехав в Петербург, он садился в трамвай или на конку. Ненавидел, когда ему угодливо подавали пальто. Всплеск гнева и уже холуйская улыбка слетает с лица швейцара. Зато у него была невообразимая жажда восхищаться людьми: «Это гениальный поэт! Это гениальная натура!» Пылкость и темперамент были даже в письмах: «Хотелось скакать, кричать, смеяться и плакать. О музыка! Она всегда пронзала меня до костей». А вот строчки о первой любви: «Я был влюблен до корней волос и пламенел от

страсти и стыда... Огонь внутри сжигал меня. Остолбенев, я горел и задыхался». Когда в Петербурге открылась выставка «левых» иностранных художников под названием «Салон Издебского», то организатор этой выставки пригласил и Репина. Издебский лично встретил Илью Ефимовича в своем кабинете учтиво в туго накрахмаленной манишке, но с разбитной ухмылкой. Мол, знай наших – Питер это не какая-то финляндская куоккала. А Репин благодарил Издебского, клялся и прижимал руки к сердцу. Но когда они зашли в выставочный зал то...

Тут Нина сделала длинную-предлинную паузу, а потом сказала мне:

– Володя, передай читателю реакцию Ильи Ефимовича так называемой «Салон Издебского».

Я, до сих пор молчаливо слушавший Нину, тут же стал рассказывать читателям о гнев Ильи Репина:

– Он подошел к одной картине, поток к другой, а потом взорвался и громко закричал: «Сволочь!», и затопал ногами. Издебский было направился к Илье Ефимовичу, но, услышал его иступленный гнев, а Репин стал выкрикивать слова: «Карлик», «Пакейская манишка», «Мазила», «Холуй». Эти гневные слова сдунули Издебского как буря, как шторм, зазевавшуюся малюсенькую букашечку.

В приступах гнева Репин мог говорить, что угодно про «мазню», в его голосе не слышалось ни притворства, ни фальши. А его оценка этих «картин» быстро приклеилась с того момента для многих посетителей, как «черная метка» капитану корабля у пиратов. После получения такой «черной метки» капитан был должен сложить свои полномочия. Такой темперамент Ильи Репин появился еще в подростковом возрасте. Ему было лет пятнадцать-шестнадцать, когда художник написал свой автопортрет. Какой-то верзила Овчинников взял без спроса у Ильи Ефимовича эту картину и понес показывать шедевр своим родным, близким, знакомым. В душе у Репина заклокотала расплавленная вулканическая лава. он помчался за Овчинниковым, быстро и решительно вырвал портрет у Алкида и трясущимися руками разорвал его на мелкие части. В таком состоянии он ничего не видел и не слышал.

Издатель Сытин, когда Репину было необходимо получить деньги, приобрел задешево его книгу мемуаров «Далекое – близкое». Потом Сытин устыдился и решил добавить еще немного денег.

Сам Сытин, вручив пачку денег Корнею Чуковскому, попросил передать эту сумму Илье Ефимовичу. Репину Чуковский вручил деньги и записку издателя: «Ознакомившись с вашим прекрасным трудом считаю приятным долгом предоставить вам дополнительное вознаграждение в сумме 500 рублей». Эта скупость издателя оскорбила Репина. Он схватил деньги, скомкал их, швырнул их на пол и стал топтать измятые банкноты ногами под свой громкий крик: «Бездарность! Хам! Бородавка! Сапоги бутылками! Вот тебе! вот! Вот!»

Слово «Бездарность» было самым страшным ругательством в его устах. Но он произносил это слово с такой безысходностью, с такой тоской, словно бездарность людей была его личной обидой.

Я вздохнул с грустью, а Нина сказала:

– Володя, отдохни немного. А я стану рассказывать читателям о характере Ильи Ефимовича. У него была особая способность преувеличивать и излишне восхищаться людьми. Но была у него и другая крайность: он умел люто ненавидеть и гневаться на них. Вот как он ненавидел Философова и Бенуа из «мира искусства»: «Филосошка! – кричал он о Философове- Сошка! Куриная головка на ходулях!» Свирепо ненавидел Репин и Бенуа. Его фотограф Булла снял в день смерти Толстого Бенуа с номером «Речи» в руках. А в «Речи» была фотография в траурной рамке. Зато Репин в каждую среду открывал в «Пенатах» двери для всех посетителей. В среду, в этот торжественный день, работал до полудня. Потом чистил палитру и одевался в праздничный светло-серый костюм и выходил в сад побродить до приезда гостей из Петербурга. А в саду были сюрпризы: башенки, мостики, лабиринты, беседки. Было «Озеро Свободы» и «Скала Прометея». Вообще, выдумка Ильи Ефимовича была неистощимая. У «Храма Изиды» были для дизайна уложены корни выкорчеванных корней деревьев бурей. Репин покрыл эти корни смолой и они стали удивительно красивы, особенно в зимнее время. Но как любой труженик Ильи Ефимович умел и отдохнуть. Да только иногда его отдых нарушали бездари. Богатые петербургские жители. И принесли ему холсты написанные якобы Репиным. Гости неторопливо раскладывают свои тяжеловесные покупки у его ног на траве. Тут и запорожец с голубыми усами, и бурлак на фиолетовом фоне, и Лев Толстой, нарисованный с какой-то жалкой открытки. А ведь это безграмотные, вульгарные

копии. Зато на каждой из этих фальшивок подпись знаменитого автора – Ильи Ефимовича Репина. Его почерк в совершенстве воспроизведен этим хамом. И каждая фальшивка – удар кулаком для Репина. И он кричит от оскорбления: «Ироды! Трогладиты! Скотинины!» репин, всхлипывая, рвется растоптать эти «произведения искусства», но Чуковский удерживает его: «Илья Ефимович – это же холсты. Они покупали без экспертов. Но не понимали, что это фальшивки». Зато импозантный и грузноватый мужчина аккуратно сворачивает в трубочку свое «произведение искусства». Подпись художника на холсте есть, так пусть себе танцуют по картине запорожцы с голубыми усами.

Но я спокойно говорю Нине:

– Не стоит тебе так волноваться. Ты как Илья Ефимович оцениваешь действие бездарных покупателей его картин, так пусть эти «любители» художественных картин гордятся своими покупками. Успокойся! А я продолжу твой рассказ о Репине:

– Как у любого художника, у Ильи Ефимовича его первоначальная реакция выплескивалась наружу. И в его душе бушевали бури и страсти. А когда человек выговорится и утихает, то он уже более взвешенно относится к своей психике.

– Хорошо – ответила Нина, – раз ты, Володя, такой неплохой психолог, то покажи художника Репина с отличной стороны.

И я стал говорить:

– Илья Ефимович жил долго в Финляндии. И финский художник Аксель Галлен скептически относился к его таланту живописца и портретиста. Более того, Галлен очернял его живопись. Сам Репин посылал в газету записочку вот с такими фразами: «Это однообразие одинокого художника. Его идеи – бред сумасшедшего, а его искусство очень близко к каракулям дикаря». Но через несколько лет Илья Репин изменил свое мнение об художнике Акселе и сказал: «Я теперь бесконечно каюсь за мои прошлые глупости, возникшие тогда. Они возникли из-за моего дикого воспитания и необузданного характера.»

Зато другая черта личности у Репина была- его неутомимая пытливость! Стоило появиться в «Пенатах» какому-нибудь астроному-механику, химику и Илья Ефимович не отходил от него весь вечер, примкнув к знаменитости, как банный лист и забрасывал гостя жадно множеством вопросов. А когда знаменитости начинали

ему рассказывать, он с почтением слушал умные речи ученых собеседников. например, академик Бехтерев рассказывал в «Петанах» теорию гипнотизма. А в восемьдесят лет взялся серьезно за французский язык, который изучал в детстве не всерьез. Но неспроста Репин взялся за французский язык. Ему понравилась соседка-француженка и он подобно немецкому поэту Гете и нашим поэтам Тютчеву и Фету, в старости был по- юношески влюбчив.

Школа не дала Илье Ефимовичу и десятой доли тех знаний, которые впоследствии он приобрел из-за своей любознательности. Но именно обладая такими колоссальными знаниями, он приобрел широкую популярность даже у таких знаменитых людей, как Стасов, Лев Толстой. Во, что написал Стасов в письме Толстому: «Репин умнее и образованнее всех наших художников». И это было именно так. В звездную ночь он удивлял своих собеседников неожиданным знанием небесных светил. А ларчик просто открывался: он давно уже проштудировал книгу Фламариона «Беседы по астрономии» и многие названия звезд и созвездий запомнил на всю жизнь с благоволением произносил имена Менделеева, Павлова, Костомарова, Тарханова, Бехтерева. И восклицал: «Ах, как я люблю ученых. В моей глуши, к сожалению, нет образованных людей. И на меня «нападает хандра и безнадежная тоска». Но происходят встречи с учеными людьми и Илья Ефимович восклицает: «Много теперь в литературе талантов. да, Россия еще жива!»

Но, имея богатую усадьбу, Илья Ефимович вел себя аскетически. он любил китайский чай, но по будням пользовался дешевым. А заваривал китайский чай в торжественные дни для гостей. Когда врачи посоветовали пригласить массажистку, то Репин произнес резко: «Я знаю анатомию не хуже ее!» И сам делал назначенный врачами массаж. Спал репин на воздухе у себя на балконе, под высоким стеклянным навесом. Пока не засыпал, изучал звездное небо. Даже в январе и феврале, когда морозы были трескучими, Илья Ефимович не обращал на холод никакого внимания.

Нина вздрогнула, когда услышала о таком пренебрежении к холоду Репина, и сказала мне:

– Володя, много странных привычек было у Ильи Ефимовича Репина. Но пришла очередь моя рассказывать об гениальном художнике. И я буду говорить не только о его величии художника, но и про капризный характер.



Я кивнул головой в знак согласия, а она начала говорить:

– У жены Репина – Натальи Борисовны Нордман-Северовой была другая привычка. она была яркой, пропагандисткой вегетарианской пищи и угощала не только мужа, а их гостей отваром из трав. Эти супы из сена приобрели огромную популярность у обывателей. Они, по приглашению, приезжали отведать «сено». Но некоторые гости привозили с собой и ветчину, чтобы втихаря плотно перекусить перед «чаепитием». Но зря уплетали перед чаепитием гости – Репинский стол был демократическим: моченые яблоки, соленые огурцы, помидоры, вареная картошка, «куропатка» из репы. Гости по средам к нему приходили тоже разношерстные: князья и рабочие, миллионеры и нищие. Чтобы не было обид, всем гостям предоставляли место за столом по жребию. В одно время под Новый год в «Пенаты» приглашались местные дворники, садовники, кухарки, а также их детвора. И так, при таком равноправии рядом с миллионерами мог сидеть и оголодавший нищий. Но никакой брезгливости никто не испытывал. Хотя и панибратства не было. И часто по предложению Репина читали гости вслух «Старосвятских помещиков» или «Кому на Руси жить хорошо». А Репин пристраивался где-нибудь сбоку у стола с альбомом и зарисовывал выразительные лица присутствовавших. Но не только красивые, а и угрюмые.

После года смерти Льва Николаевича Толстого в ноябре 1911 года в Петербургской консерватории был устроен торжественный вечер, где вспоминали о великом писателе. И на афишах в этот день было написано и имя Репина. На афишах было написано время начала торжества восемь часов. Но многие понимали, что начнется торжество где-то полдесятого, не раньше. Но самым пунктуальным из гостей был Репин. зато приходящие после восьми часов и чуть позже с удовольствием слушали рассказы Ильи Ефимовича. У Репина было много замыслов и убеждений. Как известно, что в 1864 году царское правительство подвергло Чернышевского к оскорбительному обряду: «гражданской казни». На Мытницкой площади Петербурга «палачи» возвели эшафот, привязали цепями к столбу и сломали над головой Чернышевского шпагу. Герцен был возмущен: «Неужели никто из художников не напишет картину «казни» Чернышевского? Этот обвинительный холст будет образом для будущих поколений и закрепит шельмование тупых злодеев».

Репин считал своим долгом выполнить этот завет Герцена. И с сожалением и горечью, что он не сумел реализовать свою мечту.

Зато получил нарекание от царского министра Победоносцева за его картину: «Иван Грозный, убивающий сына» Узнав об этом, Репин написал письмо Корнею Ивановичу: «Строки Победоносцева приводить не стоило: он ничтожество и полицейский. А Александр III – осел во всю натуру! Это им была подготовлена русская катастрофа. Конечно же безграмотный мужик Распутин был бы его гений. И завершил им всем достойный финал. А про черносотенцев Илья Ефимович написал: «Это отродье татарского холопства воображают, что они призваны хранить исконно русские идеи.» А о Николае II после Цусимы Илья Ефимович написал: «Теперь этот гнусный варвар корчит из себя угнетенную невинность». Также резко Репин написал Стасову о Николае “Как хорошо, что при своей гнусной, разбойничей натуре он все-таки настолько глуп, что авось попадетя в капкан. Ах, как надоело! Скоро ли рухнет это вопиющая мерзость власти, ничтожество?”

Когда Паоло Трубецкой создал скульптуру около Московского вокзала в Питере, то в народе появилась поговорка: “Стоит комод (постамент), на комод бегемот (Александр III)». Трубецкой был убежденным демократом, вот и создал памятник в виде мрачного пугала. Репин присутствовал на открытии памятника Александра III и, когда с него сняли покрывало, он закричал: «Верно! Верно! Толстозадый солдафон! тут он весь! Тут и все его царствование!» Не взирая на черносотенную прессу Илья Ефимович «прославлял» эту карикатуру на «царя миротворца». Но, конечно же, Репин никогда не был последовательным революционным бойцом. Просто он как мальчик из сказки «Новый наряд Короля» кричал: «А король-то – голый!» И в тоже время беспристрастно пишет полотна «Бурлаков», «Арест пропагандиста», «Крестный ход», «Не ждали».

Тут я спохватился и сказал Нине:

– Ты так подробно и интересно рассказывала читателям о Репине, что я и не заметил как быстро пролетело время. Теперь настал мой черед.

Нина засмеялась и сказала:

– Володя, я не мешаю тебе также интересно рассказывать.

И я стал говорить:

– В 1914 году Илья Ефимович затеял создать у себя на родине

в Чугуеве трудовую рабочую Академию художеств, основанную на демократических принципах. О своей мечте он говорил: «К черту эти рисовальные школы, плодящие бездарных карьеристов! Нам не нужны чиновники живописи, бегущие в школу за казенным дипломом, а чернорабочие и подмастерья. Мы создадим Запорожье искусств. Приходи кто хочешь и учишь чему желаешь. Принимаются люди обоих полов, всех возрастов, всех наций и званий, которым не нужны никакие проклятые дипломчики.» Но это был лебединый крик великого художника. И идея так и осталась идеей. Но на то была веская причина: в день рождения Ильи Ефимовича началась Первая мировая война! И вместо поздравления его гости вскочили из-за стола и заговорили о Кайзере, о петициях, о Сербии и Франце-Иосифе.

Репин нахмурился, вырвал из петлицы свою именную розу, встал, чтобы стремглав уйти. Пришлось Илье Ефимовичу обратиться к историческим личностям: Александру Невскому, Суворову, Пожарскому, Минину. Картина «Клич Минина Нижему Новгород» была написана, а остальные остались в эскизах. Ведь Илье Ефимовичу пошел восьмой десяток в этот роковой день. Гости его писали Репину: «Ждем полного разгрома тевтонов». Уверены, что Берлин будет наш». Наперекор этим мнениям Илья Ефимович написал: «Жду федеративной германской республики. Кайзер не нужен». И ведь каким прозорливым оказался Илья Репин. Федеративная республика Германия создавалась не после Первой мировой войны, а после Второй мировой войны.

Из всех портретов знаменитых людей не давался Илье Ефимовичу только Пушкин! В 1911 году Репин выставил в галерее портрет поэта Пушкина в день его гибели 27 февраля и сказал: «Я сам очень огорчен своим «Пушкиным». После выставки возьмусь его доводить. А 14 апреля уже добавил: «Ради Бога будет как авгуры: говорить чистую правду – хвалам моему Пушкину я не верю. Как мне хочется взяться за него еще раз». А в 1917 году он сказал Леониду Андрееву: «Прошло двадцать лет, но до сих пор злополучный холст уже обьезанный в краях, уже наслоенный красками, местами вроде барельефа, но не заброшен в темный угол. Напротив, я как маньяк часто схватываю подрамник, привязываю к чему попало, в одной руке держу длинную кисть, а возле ног лежит палитра моего идола. Но за двадцать лет я уже не надеюсь

на удачу.»

И все же Репин не бросил искусство, работал над картиной «Гонек», посвященной Модесту Петровичу Мусорскому. В моем саду никаких реформ. Скоро могилу копать буду. Жаль собственноручно не могу, не хватит моих ничтожных сил. Да и не знаю – разрешат ли мне? А место-то такое хоршее».

Вот такая ярость и напористость творчества была у Репина. Он не копировал природу, он дарил ее зрителям.

– Да, Володя, эта щедрость Репина дарить свои картины зрителям – яркая черта художника – сказала Нина. И добавила: «Теперь мой черед рассказывать читателям о многогранном таланте Ильи Ефимовича.»

И стала говорить:

– В 1915 году Репин разрешил Чуковскому перелистать свои альбомы с зарисовками, набросками. Корней Иванович спустя некоторое время написал: «Для меня вдруг открылся новый Репин, который заслонил первого Репина. В любом штрихе карандаша звенит сталь. Но, когда он описывает природу, чувствуется бархат. И он очаровал меня своей артистичностью. В любом штрихе чувствовался Репин, как будто податливый, уступчивый, неуверенный, а на самом деле несокрушимый и напористый. В его рисунке не было ни одной лаконичной линии. Все больше тоненькие слабенькие черточки. Но хватка у него была мертвая. Он был безжалостен к самому себе. Даже, Запорожцев, которые пишут письмо турецкому султану он в эскизах написал около двухсот раз. Вот какое же терпение было у Ильи Ефимовича. И какая требовательность к самому себе: «Делай хорошо, плохо само собой получится!» Но не только Корней Иванович был изумлен настойчивостью Репина. Сам Илья Ефимович написал: «На девятом десятке лет моих усилий приходит убеждение: нужно очень долго мне работать (вот такой был он трудоголик) над сюжетом. И тогда для меня открываются неожиданно бесценные клады. Я чувствую эту драгоценность, небывалую редкость!»

Иногда сама судьба дарила художнику удачу: «С артисткой Яворской у меня не было хлопот. Сразу видно волевая натура». Когда ее Репин спрашивал не устала ли она, Яворская отвечала: «Нисколечко». И на самом деле актриса сидела на стуле не шелохнувшись. Но, как и всегда, были завистники. Художник Бродский

говорил, что будто портрет Короленко за один сеанс был написан Репиным. На самом же деле Илья Ефимович три или четыре раза приглашал позировать в свою студию Короленко. Хотя до этого он намеревался написать портрет Короленко одним махом.

Так же быстро написал Репин и портрет Корнея Ивановича. Илья Ефимович взял в руку уголь и широко, размашисто, с небывалой легкостью, несколькими твердыми штрихами нарисовал меня и в профиль. Но прикоснувшись к краскам он испытывал благородное и нежное чувство. Утром от нетерпения у художника по телу пробегала дрожь от радости творчества. Но после ночного перерыва он снова принимался за палитру. Масленные краски были для Репина, как наркотик, и придавали ему много счастливых минут, а иногда от утренней и до вечерней зари.

Художник Шемякин как-то сказал о Репине: «Илья Ефимович, глядя на вычурное произведение возмущился: «Зачем это? Зачем? Это же сумасшедшие!» Но, переведа дух, он внимательно, обшарив холст, вдруг изменил свое мнение: «Нет, нет, я беру свои слова обратно. Глаза живые, живые! Нет, нет, хорошо, замечательно».

Бродский, приехав к Репину в неурочное время, громко крикнул: «Отворите мне дверь!» И художник ответил из глубины своей мастерской: «Очень рад, подождите, я быстро спущусь». Но едва он спустился в прихожую, набросился на непрошенного гостя: «Как вы смели сегодня приехать! Вы же знаете, что я принимаю посетителей только по средам! Как вы смели приехать в среду...» Но, когда гости приезжали в назначенный день они по-разному оценивали работы Репина. И все-таки она была внятной для каждого зрителя. А Илья Ефимович, слушая гостей, только улыбался: «Ведь этим и сильные его картины. В них объединены все художественные средства. В портрете Фофанова собрано десятки улик против мещанской души, симулирующую отрешенность от внешнего мира. А в портрете Писемского каждый мазок говорит: ипохондрик!

Тут уже Нина решила передохнуть и сказала мне:

– Продолжай, Володя, рассказ для читателей.

И я стал говорить:

– У художника Репина всякая самая ничтожная мелочь, всякий штрих на холсте, был властно подчинен его впечатлению для данной человеческой особы. И это особое свое впечатление живописей выражал с виртуозной легкостью первыми же мазками кисти. Кро-

ме большой мастерской у художника была и маленькая комната. Входная массивная дверь имела небольшое окошечко. И между часов и двумя в это оконце подавали Илье Ефимовичу обед. Вот так экономил время художник. Двенадцать минут, которые были бы истрачены бездарно на спуск и подъем со второго этажа на первый. Однажды Щеголев позировал ему гребца казака с голым торсом. И увидел, что Репин сидит на ступеньке стремянки неподвижно, а голова его упала на палитру. Василий выскочил и вызвал тетю Александру. Но когда они вошли с гувернанткой, художник уже сидел на ступеньке. И она по глазам поняла, что нельзя никому говорить из посторонних об его обмороке. Василий Щеголов все же вызвал из Териокова (сейчас это Зеленодольск) врача, но на среду, как бы в гости. Это подсказала Васе Наталья Борисовна. Врач сказал художнику, что напряжение сил грозит ему смертельной опасностью. Илья Ефимович выслушал врача недоверчиво, но после второго обморока смирился. А «тюремное» окошечко в двери тщательно замуровали.

Пытался Репин обучать рисовать дочь Надежду и сына Юрия. Надя, с беспомощной улыбкой, тоники штрихами срисовывала угол стола или рисунок на салфетке, а Юра молчаливо и мрачно выслушивал отца, и тут же старался скрыться от отцовских глаз. Они понимали какая огромная дистанция лежит между ними. Когда Илья Ефимович издал книгу «Далекое близкое», он написал Стасову: «О! Близорукие! Они не знают, что виртуозность кисти – это верный признак манерности в ограниченном пространстве. Я презираю эту способность». Зато о своем реализме он говорил: «Будучи реалистом по своей природе, я обожал натуру до рабства.» Но даже его кисть отказалась льстить и изображала суровую, неподслащенную правду.

Как-то Илью Ефимовича и Галкина пригласили во дворец Николая II, чтобы они написали портрет императрицы Александры Федоровны. Она, немка, была беременная, а выражение лица – змеиное, вот-вот может сделать ядовитый укус. Сидит и покусывает свои тонкие губы. Репин такой злой и написал: «Подходит к ним Министр и раздраженно спрашивает: «Что вы наделали? Посмотрите, как написал портрет императрицы художник Галкин». А на портрете-то – его голубая фея! Тут Репин вежливо говорит: «Простите, пожалуйста, я так не умею.» И смиренно, с поклонами,

попросил отпустить его домой.

Даже в детстве мама Репина сожалела о пытливости маленького Ильюши: «Ну что это за срам! Я со стыда сгорела в церкви. Все люди, как люди, стоят и молятся. А ты, как дурак, даже к иконостасу задом повернулся. И все зыркаешь на большие картины». Мать не понимала, что он сопоставлял иконостас, с реальными картинами. Недаром же Крамской называл Репина «язычником». А Репин отвечал: «Богу Богово, а косарю кесарево». А это римская поговорка.

Зато, когда Илья Ефимович писал книгу «Далекое близкое», то он давал Корнею Ивановичу почитать свои черновики. Чуковский делал замечания, а Репин отвечал: «Мне нравятся ваши замечания, если они едки и колки до обидности».

Своей ученице Веревкиной: «Приехал я в мастерскую и увидел: все мое неудачное, плохое еще хуже стало». И той же Веревкиной говорил: «Несчастливы те, у кого требования выше средств: нет гармонии – нет и счастья». Илья Ефимович был очень требователен к себе. Он не позволял себе гордиться своими успехами. А ведь так трудно критиковать самого себя любимого. А он – мог!

– Ты прав, Володя, трудно критиковать себя любимого – сказала Нина. – поэтому и помолчи, а я продолжу рассказывать читателям о Репине.

– Давно пора, Нина, - согласился я, и она стала говорить:

– Со всеми известными людьми Илья Ефимович не любил выпячивать свою значимость великого живописца. И любому знакомому его он заявлял: «Вы знаете какой я простой, обыкновенный человек, а вы ставите меня на такой высокий грандиозный пьедестал. Представьте себе если бы я влез на него, то вы расхохотались бы, увидев мою заурядную фигуру». Это словосочетание «заурядная фигура» понравилась Льву Толстому. И он с сочувственным смехом отреагировал на реплику Репина: «Неужели, вы малодаровитый труженик? Ха-ха-ха! Художник без таланта? Ха-ха! А мне это нравится. Если вы действительно так думаете о себе». Но когда Стасов осудил его картину «Царевна Софья», то Репин восстал против его приговора. Такой мягкий и уступчивой, в этот раз он не сделал ни одной уступки. «Многие говорили, что я под влиянием Стасова, но я давным-давно только под своим влиянием». У Репина с юности была присуща тайная титаническая гордость духа.

Но лучше всех понимала психологию мужа Наталья Борисовна: «Он может поддакивать вашему слову, но если он скажет «нет», тут уж вы ничего не поделаете». Когда Репин спал на холодном балконе и кушал вегетарианскую пищу, то его обыватели стали называть его аскетом. Но он на это отреагировал по-своему: «К аскетизму я не способен. Жизнь так прекрасно, широка, разнообразна. Меня так восхищает природа, дела человеческие, искусство и наука!».

Однажды на критику Репина его попросили воздержаться от ее остроты. Илья Ефимович ответил: «сколько бы не писали для меня умных назиданий, все они будут отскакивать от меня, как от стенки горох.» В этой резкости и была сила Репина. И именно сила опиралась на его несгибаемый, волевой и упорный характер. Как-то в Третьяковской галерее маньяк Балашов исполосовал ножом картину «Иван Грозный и сын Иван». Все ожидали, что художник будет раздавлен, когда его жена произнесла: «Как по телу ножом». Но он считал, что картина потеряна безвозвратно и сидел за столом и спокойно ел картошку. Он ненавидел «охи» и «Ахи» и сказал домочадцам: «Вот тарелка, нечего хныкать, садитесь и ешьте! Ведь простынет...»

А катастрофа с картиной потрясла всю Москву. Но попечитель Третьяковской галереи, знаменитый живописец Грабарь поставил себе задачу – восстановить картину в прежнем виде. Хотя всем казалось, что это невысказано сделать: раны были огромны. Но произошло чудоб Грабарь применил особые научные методы, и картина получила новую жизнь. От ее увечий и следа не осталось, а весь российский народ был рад чудесному исцелению картины.

На день рождения Репина в ресторане «Прага» праздновать пришел и Шаляпин и приветствовал Илью Ефимовича с сыновьей, почтительной любовью. Репин был восхищен: «Откуда у Шаляпина Такие гордые жесты? И такая осанка? А поступь? Просто вельможа екатерининских времен... да! А ведь пролетарий казанский сапожник. Кто бы мог подумать! Чудеса!» Высказав свое восхищение, он достал из кармана альбомчик и тут же стал набрасывать портрет Шаляпина.

На этой фразе Нина остановилась и сказала:

– Володя, я передаю тебе продолжать рассказ для читателей, а сама подожду и послушаю тебя.



Я только и ждал этого предложения и тут же стал говорить:

– Первая семья Репина из-за своей малокультурности мало проявляла интереса к его творчеству. Зато Наталья Борисовна с 1901 года – Новый век, Новый год, Новая жизнь! И стала создавать архив великого живописца. Она собирала всю литературу о нем, составляла семейные альбомы с газетными вырезками о каждой его написанной картине. Но самой главной ролью в жизни Репина была помощь жены при создании картины «Государственный Совет». Она делала фотоснимки персонажей Совета, и давала советы Илье Ефимовичу. Репин всегда уважал образованных людей, а Наталья Борисовна знала три языка, разбиралась в музыке и понимала в скульптуре и в живописи. Но главная черта характера Натальи – трудолюбие. Но мало кто знал, что жена Репина тяжело больна. Чтобы не обременять мужа своей тяжелой болезнью, она ушла из «Пенат» одна, без денег и без вещей. Удалилась в Швейцарию в больницу для бедных. Написала оттуда письмо: «Какая дивная полоса страданий. Когда я переступила порог «Пенат», то будто в бездну провалилась. Там и поняла я, что никому не нужна. Ушла не я, а принадлежность от «Пенат». Кругом все умерло. Ни звука ни от кого». Илья Ефимович прислал ей денег, но она отказалась от них. Температура подскочила до 40 градусов, а она написала, как в бреде: «Песня бреда», а потом добавила: «Однако пора». Через месяц в июне она скончалась. Был июнь 1914 года. Оставался месяц с лишним до начала Первой Мировой войны.

Репин побывал у нее на могиле в Швейцарии. После смерти жены Илья Ефимович в «Пенатах» запретил вегетарианский режим, а по совету врача стал есть и мясо. Из передней был убран плакат: «Бейте весело в тамтам!» Когда приходили к Репину гости и спрашивали на какое место сесть, он говорил: «Теперь можете садиться куда вздумается». И только на осиротелом столе еще долго стояла стеклянная копилка, куда прежде оштрафованные гости бросали медные монетки.

Вскоре друзья Репина позабыли о предназначении копилки. Теперь некому стало рассказывать гостям, как это делала Наталья Борисовна раньше, о Айвазовском, Верещагине, Васнецове, Шишкине, Сурикове, Чистякове и о других знаменитых художниках. Теперь рассказывал о своих коллегах сам Илья Ефимович отрывчато, без начала и конца. Но когда он о ком-то говорил, становился для

слушателей живым и осязаемым, будто находился здесь за чайным столом. И все с наслаждением вслушивались в глуховатый голос «восточного варвара». И рассматривали внимательно холеные «архиерейские» руки.

Зато великий художник умел покритиковать своих братьев и друзей по искусству. Вот совет Репина художнику Максиму: «Брось ты фантастические сюжеты, комические пассажи, бери все из простой народной жизни». И дальше: «Ты мало работаешь. За год написал одну картину с одной фигурой. Да тебя бить надо». Зато критиковал Стасова: «Я одного не могу понять до сих пор, как это картина Сурикова «Казнь стрельцов» не воспламенила Вас!»

Однажды один из репинских гостей, адвокат, далекий от живописи, произнес за обедом тост: «Да здравствует Иван Ефимович Репин, автор гениальной картины «Боярыня Морозова». Илья Ефимович тут же чокнулся с адвокатом, пропустив мимо ушей свое имя и язвительно сказал: «Присоединяюсь к вашему тосту всем сердцем! Я тоже считаю «Морозову» гениальной картиной и был бы горд если бы эту картину написал не Суриков, а лично я!» На лице оратора сияла радостная улыбка, а он не мог понять, чего гости захихикали в кулачок.

Однажды Репин попросил попозировать ему Чуковского. Сеть на поваленную ветром сосну. Корней Иванович старался изо всех сил. Когда работа художника была закончена, то он без всякого гнева произнес: «Натурщики делятся на два разряда: одни – хорошие, другие – плохие. Вы же совершенно особый разряд: от-врати-тельный».

Тут уж Нина взяла в свои руки бразды правления и сказала:

– Володя, ты рассказал о драматических историях в судьбе Ильин Репина. Теперь я буду рассказывать нашим читателям о судьбе Репина.

Я промолчал, а она стала говорить:

– Однажды Репин попросил в «Пенатах» бесцветную, пожилую и бессловесную женщину, которая всегда забывается после первой же встречи попозировать ему. Но она вся заколыхалась от страха: «Не надо, ради Бога, не надо!» «Почему же? Прошу вас. Я очень прошу вас.» Мольба до Репина не дошла и пришлось попозировать некрасивой женщине минут десять. Но Илья Ефимович не угадал боязливой тетеньки. Она боялась, что после написанного портрета

любого человека, этот гражданин или гражданка внезапно умирали. Мистика? Люди считали, что в его портрете таится зловещая сила. Написал портрет Мусорского – Мусорский тут же умер. Написал Писемского – Писемский умер. А Пирогов? Только Репин захотел написать портрет Тютчева, а Тютчев в этом же месяце заболел и скоропостижно скончался. Узнав о таких роковых совпадениях писатель-юморист Оршер умоляющим голоском попросил: «В таком случае, Илья Ефимович, сделайте милость, срочно напишите портрет Столыпина!» Все захохотала, а Петр Столыпин был в то время премьер-министром, но все его ненавидели за столыпинские «галстуки», веревки для повешения инакомыслящих граждан.

Прошло несколько месяцев и Репина попросили написать портрет Столыпина по заказу Саратовской думы. Илья Ефимович удивился: «Неужели Оршер будет прав?» Писал он Столыпина в кабинете внутренних дел, а после сеанса поделился со знакомыми: «Странно, портьеры в его кабинете красные, как кровь, как языки пламени при пожаре. И я пишу портрет Столыпина на этом красно-огненном фоне. А он не понимает, что это фон революции!» Едва Репин закончил портрет Столыпина, он уехал в Киев, где его и застрелили.

Сатириконцы посмеивались: «Спасибо Илье Ефимович!» Вскоре в мастерской Репина появился голубоглазый пилот авиатор Василий Каменский. Он мимоходом сообщил, что его аэроплан в Гатчине, и на нем он совершил уже тринадцать аварий. Но когда Василий Каменский сообщил, что он поэт-футурист и умеет вырезать из разноцветной бумаги разные фигурки и узоры, то про его аэроплан сразу же все позабыли. Он же был первобытно-простодушным парнем. Казалось, что и стихи свои Василий Каменский вырезает из этой же цветной и яркой бумаги. И Василий Каменский вскоре появился во всех альбомах Репина. Но истинными шедеврами Ильи Ефимовича стали портреты Виктора Шкловского, Бориса садовского и жены писателя Ялия Волина. Садовский издал сборник стихов «Самовар». И название это вызвало бунт у эстетов. В ходу тогда мелькали более помпезные названия: «Золото в лазури», «Будем, как солнце» или абстрактные: «Нечаянная робость», «Безбрежность» и «Прозрачность». Тихи «самоварный уют», провинциальная домовитость и были идеалом Бориса. Но на него надвигались Мировая война и революция. А Илью Ефимовича

он любил со своего провинциального детства и написал стихи, посвященные великому художнику: «Царевна-пленница, злодей Иван, глумливых запорожцев вольный стан. Во всем могуч, во всем великолепен. В сиянии лучистом долгих лет, над Русью встав, ты гонишь мрак и бред. Художник – солнце, благодатный Репин». Но и «художник солнца» не забыл о них. Он написал: «Они дописывались до твердых знаков и полугласных мычаний. Множество брошюр я видел лежащих на полу со следами грязных валенок среди ободранных роскошных диванов. И слышал много речей талантливых людей, разгоревшихся красным огнем свободы. А на полу библиотеки лежал целый помост из очень дорогих и ценных изданий и рукописей.»

Очень хорошо получился у Репина портрет Сергея Городецкого, который сочинял стихи с особой легкостью. Он, узнав о юбилее Ильи Ефимовича, за полчаса написал стихотворение для художника: «Какой старинной красотой удивительный сад цветет, где жизнью мудрой и простою художник радостно живет. Там куст сиреневый посажен, там брошен камень – великан... Из-под земли на много сажен студеный выеден фонтан. А посередине сада домик, как будто сказка наяву. Стоит и тянется в истоме с земли куда-то в синеву. Он весь стеклянный, весь узорный, веселый, смелый и чудной». Стихотворение Городецкого продолжается и дальше, как пушкинская сказка: «Там на невидимых дорожках, следы невидимых зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон и дверей».

– Так, Нина, – сказал я, – перестань плутать по дорожкам невиданных зверей. Ты отдохни, а я продолжу рассказ для читателей о Репине.

Нина взмахом руки дала согласие, и я стал рассказывать об Илье Ефимовиче:

– Репин сделал правдивую зарисовку в натуре. Но самого-то себя он не смог разместить на картине. И пришлось Сергею Городецкому сочинять еще одно стихотворение про Илью Ефимовича: «Выйдет в курточке зеленой, поглядит на водомет, зачерпнет воды студеной и с улыбкою попьет. Светлый весь, глаза сияют, голубую седину ветер утренний ласкает, будто легкую волну. Не устал он, не размазан, полон силы и борьбы, сада яркого хозяин, богатырь своей судьбы!» Таким Репин всем и казался. Сергей Городецкий точно подметил все благородные детали лица художника. Горо-

децкий не умел владеть кистью, но словарный портрет Репина ему удивительно удался.

Репин не только испивал холодную воду из своего водомета. Он нередко купался в студеной воде, подставляя свое стариковское тело под удар водометной струи. Каждое утро в любую погоду, прежде чем подняться в мастерскую, делал гимнастику в «Храме Изиды». К футуристам Илья Ефимович относился с иронией, а вот к поэту Владимиру Маяковскому относился хорошо. Поэт покорило художника его самобытностью. Встречался он и с Хлебниковым, Бурлюком, Кулибине и Алексеем Крученым. Особенно заинтересовался Репин Хлебниковым. Тот мог часами сидеть молча с неподвижным лицом, выражавшем какую-то думу. Однажды за чайным столом Репин предложил Хлебникову: «Надо бы написать ваш портрет». На что поэт ответил: «Меня уже рисовал Бурлюк». Немного помолчав Хлебников задумчиво добавил: «Давид Бурлюк написал мой портрет в виде треугольника». Гости чуть не прыснули от смеха, а Хлебников продолжал свою мысль: «Но мне кажется, что я очень похож на этой картине». Илья Ефимович долго не мог забыть эти несуразные слова с серьезным видом «будетлянина». Видимо Давид Бурлюк глубоко внушил Хлебникову о красоте футуризма.

Зато Владимир Маяковский рисовал живописью еще множество раз, потратив на каждый рисунок не более пяти минут. Репину больше всего понравился карикатурный портрет, написанный Маяковским. Репин не обиделся на дружеский шарж, а громко восхищался его выразительностью.

После Великой Октябрьской революции усадьба Репина, да и он сам, оказались за кордоном. Граница между Россией и Финляндией проходила по Белоострову. Жизнь на чужбине томила его. И он писал письма Корнею Ивановичу: «Теперь я здесь совсем и давно уже одинок. Припоминаю слова Достоевского о безнадежном положении человека, которому пойти некуда. Да если бы вы жили здесь, то в каждую свободную минутку я летел бы к вам». И Чуковский написал ему, что творится на его Родине, что к нему советский народ относится с благовейной любовью к его художественным произведениям. А в Русском музее открылась выставка его произведений: «этюдов, огромных картин. Репин с восхищением ответил своему товарищу: «Я восхищен Вашим описанием, что решаюсь

ехать в последний раз посмотреть великолепное торжество. Со мною едут Вера и Юрий, как только мы добьемся виз и разрешений!! Но мне ехать необходимо. Похлопочите и Вы о скорейшем исполнении моего желания. Ведь мне необходимо поехать и в Москву. Посетить Румянцевский музей, галерею Третьякова, Цветкова. Поскорей! Ответьте дорогой....» Но мечта художника не сбылась. Скоро выяснилось, что те, кто обещал Репину помочь выехать в Россию: в Ленинград и Москву, его обманули. И пришлось великому художнику, живописцу жить на чужбине до конца своих дней. Беспредельно было его одиночество среди озлобленных и одичалых эмигрантов. Ведь он прожил на вершинах культуры, в общении с творческими людьми. Попытался Илья Ефимович сблизиться с финнами. Подарил им деревянное здание театра «Прометей», которое оставила Репину Наталья Борисовна на станции Оллила. Пожертвовал художник все оставшиеся у него картины в Гельсингфорский музей. Даже отдал туда две картины Шишкина, бюст Толстого своей работы. Подарок художника был принят с благодарностью. Поэт Эйно Леко при почтеннейшей публике прочитал стихи. Две строчки, но какие гениальные:

«Илья Репин, мы любим тебя,  
Беззаветно, как русские Волгу!»

Но общих интересов с финнами у него не нашлось, и возникшая дружба быстро заглохла. Но у него осталось на веке «великое прошлое», которое никто не сможет перечеркнуть!

Он писал Чуковскому письма, и Корней Иванович спешил с ними в Третьяковскую или в Русский музей, чтобы по-новому взглянуть в ту или другую картину, о которой упоминал живописец. Корней Иванович изучал этап за этапом неутомимого творчества Репина и каждый раз происходило чудо: «беспомощный, дряхлый старик снова становился силачом, легко раскрывающий самые глубины души человеческой. Взять хотя бы картину художника «Не ждали». Ссылный прошел тысячу верст и представлял, как он войдет в комнату к своим родным близким: к семье, матери. Но только Репину удалось изобразить ту единственную секунду встречи: то лицо, готовое плакать и смеяться. Но на этом лице не одно выражение, а множество. И вся гамма чувств отразилась в единственную секунду! Вот, что мог изобразить великий живописец в ту секунду, которую он вложил не один день, месяц, а может быть

и год труда.

Все эти огромные, чрезмерные чувства он изображал без пафоса, без преувеличенных эффектов. Его Софья, в разгар ее катастрофы, которая разрушила ее жизнь, просто стоит и молчит. Молчаливый взгляд воздействует на зрителей психологически: в ее обыденной позе самое высокое напряжение отчаяния, гнева и такого воспламенения души, которое нельзя погасить даже смертью. Она не изливает проклятия, не мечется в своей келье-тюрьме. Келья не маленькая по объему, но для Софьи она тесна, как будто уже ее уложили в могилу. Но она пока молча стоит. В этой картине отразилось и национальное величие Репина.

В картине Ильи Ефимовича, изображающей смертника, который отказался от исповеди, тоже нет никакой риторики. Смертник сидит на койке, спрятав руки в рукава. А ведь движение рук сильнейшее средство художника. Зато чувствуется в глазах смертника испепеляющее чувство презрения к своему врагу и морального триумфа над тиранией и смертью. Недаром же у него столько картин и рисунков, где люди изображены со спины. Но каждой прядью волос, каждой складкой одежды, репин мог выразить любое самое сложное.

В картине «Государственный совет» не только физиономии, но даже затылки и спины сановников открывают подноготную каждого персонажа. Репинские «Запорожцы», которые пишут письмо турецкому султану – это не простая группа смеющихся казаков. Это синтез всей Запорожской Сечи, ее вольницы, где, принимая новобранца задают два вопроса: «Горилку пьешь? – Да! – В Бога веруешь? – Да! Отходи в наш курень». И так было в огромном, обширном периоде в украинской истории.

А взять картину живописца «Крестный ход в Курской губернии».

Вряд ли есть хоть у какого-то живописца такое широкое обобщение дореволюционной России. В «Крестном ходе» Илья Ефимович показал многообразие классовых и кастовых черт стареющей России. А если внимательно присмотреться в его картину «Бурлаки на Волге», то поймете, что это не просто бесприсветно несчастные люди. В них видны задатки великого будущего нашей страны. Они не только баржу вытянут к пристани, а всю нашу Матушку-Россию притянут к хорошей пристани.

Когда Илья Ефимович показывал картину «Бурлаки на Волге» своим друзьям, когда она находилась в частном собрании, то он мог рассказать о судьбе и характере и биографию каждого бурлака. И в голосе художника слышались нотки уважения к ним. И, как всегда, из группы людей кто-то выделяется ярче. И одни из них впитал в себя самое лучшее, чем силен и прекрасен наш народ. Сам Илья Ефимович восторгался этим персонажем: «Неспроста это сложное выражение лица. Какая глубина взгляда, приподнятого к бровям. А лоб большой, умный, интеллигентный лоб. Была в его лице особенная незлобивость человека, стоящего неизмеримо выше своей среды. Темперамент живописца сказывался в его рисунках, этюдах, эскизах и портретах. Когда в Третьяковской галерее и в Русском музее в тридцатых годах были устроены выставки картин Репина, то казалось зрителям невероятным, что один человек смог заполнить своим творчеством необозримые залы. И все его творчество от первой до последней картины было сделано во славу России. Русскую музыку Илья Ефимович прославил своими портретами знаменитых композиторов и музыкантов: Глинки, Мусоргского, Бородина, Глазунова, Лядова, Римского-Корсакова.

Русскую литературу – портретами Гоголя, Тургенева, Льва Толстого, Писемского, Гаршина, Фета, Стасова, Леонида Андреева, Короленко и многих других писателей.

Русская живопись в репинском творчестве целой галереей портретов: «Суриков, Шишкин, Крамской, Васнецов, Чистяков, Мясоедов, сэров, Остроухов и многие другие.

Русскую науку прославил он портретами: Сеченова, Менделеева, Павлова, Тарханова, Дехтерева.

Русскую хирургию – портретами Н.И.Пирогова и Е.В.Павлова, который изображен Репиным в хирургической палате, где врач выполняет операцию.

Одним словом, Илья Ефимович запечатлел на своих картинах самых лучших и великих людей великой России. Их создала Россия, а он запечатлел для потомства. А мы ведь уже шагнули в третье тысячелетие...

Поэтому и нам с Ниной было интересно рассказывать читателям о страсти к работе Репина, о его спартанской суровости к себе и своему дарованию, о его влюбленности в искусство, о демократичности его быта, его мыслей и чувств, то станет ясно, что



он был не только мастер замечательной живописи, но и мастером замечательной жизни.

– Володя, – сказала Нина, – так мы ставим на этой фразе жирную точку?

– Нет, нона, – ответил я. – Мне хочется написать еще об одном патриоте нашей России. О Сергее Есенине.

## Глава: Сергей Есенин

– Володя, – спросила меня Нина, – разве Сергей Есенин писал патриотические стихи? Он же писал красивые, трогательные, лирические стихотворения.

– Разумеется, Нина, Есенин – лирик, но он умел писать умело и патриотические стихотворения – ответил я и добавил:

– Он так писал от души, чтобы любой его читатель чувствовал в его стихотворениях не только лирический мотив, но и горькие слова о трагических годах нашей Родины – России. И приведу тут же один яркий пример Сергея Александровича:

Свобода взметнулась неистово!  
И в розово-смердном огне,  
Тогда над странюю калифствовал  
Керенский на белом коне!

Война до конца, до победы!  
И тут же сермяжную рать,  
Прохвосты и дармоеды  
Водили на смерть убивать!

Нет, нет, ни за что на свете  
За то, что какая-то мразь,  
Бросает солдату калеке  
Пятак или гривенник в грязь.

Но я тогда не взял шпагу...  
Под грохот и рев мортир  
Другую явил я отвагу:  
Был первый в стране дезертир!

– Ты что-то перепутал, Володя, – пожалала плечами Нина. – Разве может быть дезертир – патриотом?

– А как же, Нина, ответил я. – Когда произошла Великая Октябрьская революция, многие солдаты и некоторые офицеры были уверены, что такая же революция произойдет и в Германии. И война прекратится. Были случаи, когда обе враждебные стороны начинали братание, а не братоубийство. Вот и Есенин пишет: «Купил себе «липу» и вот с такою-то подготовкой я встретил семнадцатый год».

– Я помню – сказала Нина, – что Сергей Есенин уехал к себе на родину в Константиново, что на Рязанщине.

– Да – согласился я, - но только Есенин как-то написал, что ему невеликому поэту могут поставить памятник в Рязани. Но потом вдруг написал другую фразу: «И без меня в достатке дряни. Пускай я сдохну, только нет, не ставьте памятник в Рязани».

– Значит он не собирался почивать на лаврах? – спросила Нина и я ответил:

– Ниночка, да кто же не мечтает, что после смерти за свои труды тяжкие ему поставят памятник? Только Сергей Есенин был требователен к себе. Вот как пишет он о своих попойках в кабаках:

Я из Москвы сбегаю навсегда,  
С милицией мне с портить нет сноровки.  
За каждый мой пивной скандал  
Меня таскали в Тигулевку.  
Благодарю за помощь граждан сих,  
Но очень жестко спать мне на скамейке  
И с пьяной мордой читать стих  
О клеточной судьбе какой-то канарейки  
Но я не кенар, я поэт  
Я не чета каким-то там Демьянам  
Пускай я иногда бываю пьяным  
Зато в глазах моих прозренья дивный свет!

– Какое красивое сравнение – сказала с восхищением Нина, – прозренья дивный свет! Значит он, Сергей Есенин, понимал, что алкоголь отравляет его разум. А для стихов необходим дивный свет. Я удивилась, когда узнала, что в пятнадцать лет Сергей Есенин написал вот это стихотворение:

– Выткался над озером алый свет зари  
На бору со стонами плачут глухари  
Где-то плачет иволга, схоронясь в дупле  
Только мне не плачется, на душе светло.

Выйду за околицу, за кольцо дорог  
Сядем в копны свежие, под соседский стог  
Зацелую допьяна, изомну как цвет  
Пьяному от радости – пересуда. Нет.

Ты сама под ласками скинешь шел фаты  
Унесу я пьяную до утра в кусты.  
И пускай со звонами плачут глухари  
Есть тоска веселая в прелестях зари.

– Нина, – удивился я, – как ты тонко понимаешь поэзию Есенина. Я в четырнадцать лет поступил в техникум в Самаре. В студенческом общежитии ребята жили в комнатах на одном этаже, а девушки на другом. Но кухня и прачечная были между этими этажами для пользования и девушек, и парней. И однажды я услышал песню про алый свет зари. И не мог оторваться от такой оригинальной песни. А ведь в начале шестидесятых годов прошлого века поэта Сергея Есенина никто не знал. На его творчество было положено табу, запрет.

– Что было, то было – согласилась Нина. – Но теперь-то мы знаем каким талантливым поэтом был Есенин.

– Да – согласился я – уникальный и оригинальный поэт Сергей Есенин. И хочу рассказать тебе, как встретили земляки Есенина, вернувшись на Рязанщину:

Что нового в Питере слышно?  
С министрами, чай, был знаком?  
Недаром, едрит – твою в дышло  
Воспитан ты был кулаком.

Бывал ты и пьяным и рьяным  
Себя вынимал на испод.  
Скажи отойдут ли нам прямо,  
Без выкупа пашни господ?

– Для деревенских жителей пахотная земля была главной кормилицей для сельчан – сказала Нина. – Я на своем опыте ис-

пытала: есть кусок плодородной земли, то всегда будешь сыт – согласилась со мной Нина и спросила:

– Если земляки Есенина считали его кулаком, то как Сергей относился в самом деле к Советской власти?

Я ответил мгновенно:

– Его односельчане спрашивали о Советской власти и вот, что ответил он им:

– Качались, скрипели ступени,  
Но помню под звон головы:  
«Скажи, кто такое Ленин?»  
Я тихо ответил: «Он – вы!»

– Да, великолепный ответ – согласилась Нина. – Ленин мечтал, что социалистический строй освободит крестьян от тяжкого гнета помещиков, а крестьяне и рабочие смогут управлять и государством. Хотя пожилые люди, которые верили в Бога не очень-то радостно встретили атеизм. Об этом Есенин написал стихотворение о своем дедушке:

– Ты коммунист? – Нет!  
А сестры стали комсомолки.  
Такая гадость просто удавись.  
Вчера иконы выбросили с полки.  
На церкви коммунист снял крест,  
Теперь и Богу негде помолится...  
А я теперь хожу украдкой в лес  
Молюсь осинам – может пригодится!

– Зато – добавил я – Есенин очень трогательно относился к своей матери и написал об этом стихотворение:

Ты жива еще моя старушка?  
Жив и я, привет тебе, привет.  
Пусть струится над твоей избушкой  
Тот весенний, несказанный свет!  
Пишут мне, что ты всегда в тревоге,  
Вспоминаешь горько обо мне  
И выходишь часто на дорогу  
В старомодном, ветхом шушуне.  
Ничего родная успокойся

Это только памятная бредь  
Не такой уж больно я пропойца,  
Что б тебя не встретив, умереть!

– Вот какой он честный и порядочный сны- вздохнула Нина. – Действительно нельзя же быть беспробудным пьяницей и написать столько лирических, трогательных стихов. Хорошо, что ты совсем не пьешь и даже издал книгу о Сергее Есенине под названием «Единственная встреча».

– Да – ответил я – в этой книге я написал несколько стихов от имени Сергея Есенина.

– Как так от имени Сергея Есенина? – удивленно спросила Нина.

И я стал объяснять ей:

– Сергей Есенин влюбился в Айседору Дункан, которая приехала на гастроли в Россию обучать танцам российских девушек, да и сама выступала часто на сцене. Вскоре они официально зарегистрировали свой брак и решили уехать в Америку. Поджидая пароход, они зашли в ресторан и там Есенин надрался с офицером, который стал .... Официантом. Он написал сестре Кате: «были с Дункан в ресторане. Подрался с бывшим офицером и все»

– Что все? – спросила Нина.

Мне пришлось пояснить:

– Я решил от имени Сергея Есенина написать о драке с офицером. И вот что у меня получилось:

Яркий ситец голубого неба  
И вершины снежной седина  
Мир плеев: «Зрелища и хлеба»  
Рим – патриций: «Славы и вина!»  
Я в Париже, в шуме ресторана  
Вдруг услышал, словно как во сне:  
Улеглась во мне былая рана,  
Пьяный бред не гложет сердце мне!  
Мотыльками колыхались свечи  
Явь была туманнее, чем сон...  
Подавал мне ужин в этот вечер  
Бывший русский человек – гарсон.  
И осанка словно для примера,

И учтивость: «Да, месье, о-кей!»  
Но уже улыбку офицера  
Заменял улыбочкой лаке!  
Но бала, была еще бравада:  
«дворянин, гвардейский офицер  
Из России убежал, из ада,  
Как и вы – от страха и химер.  
И салфеткой крошки убирая,  
Обронил: «Живете как в раю!»  
Я ответил: «Мне не надо рая!  
Вы не троньте Родину мою.  
И не тычьте в морду мне дворянством.  
Я – крестьянин, жил среди осин.  
Прохрипел почти по-хулигански:  
«Поменяй бокалы, сукин сын!»  
Он опешил: боль, смятенье, пытка  
И невольно головой поник...  
Вдруг гримасой скомкана улыбка:  
«Да ты, парень, просто большевик!»  
Крик возник, он наливался злобой,  
Падал в бездну, достигал до дна...  
А любили Родину мы оба...  
И любовь как Родина – одна!

– Да, – удивилась Нина, – любовь, как Родина, только одна для патриота своей страны. Прочитал ты это стихотворение на одном дыхании. Но ведь ты сказал, что Сергей Есенин был в этом парижском ресторане с Дункан? Но в твоём стихотворении её имя не упоминается.

– Ты права, Нина, – ответил я. – Есенин во всем его творческом, стихотворном арсенале упомянул про Айседору Дункан всего один раз. Да и то, не упоминая её ни имя, на фамилию.

– Так прочти мне это упоминание – попросила Нина. И я стал читать отрывок из Есенинского стиха:

В той стране в декабре, снег до дьявола чист  
И метели заводят веселые прялки.  
Был человек тот авантюрист  
Хоть небольшой, но высокой марки.

Светловолосый, к тому же поэт,  
Хоть не большой, но ухватистой силы  
И какую-то женщину сорока с лишним лет  
Называл скверной девочкой и своею милой.

– Как я поняла – сказала Нина – это скверная девушка в сорок с лишним лет и была Айседора Дункан?

– Да! – коротко ответил я, и добавил: «Зато я написал от имени Сергея Есенина, как они познакомились с Айседорой Дункан. Она, увидев Сергея Александровича, а ему было чуть больше двадцати лет, а Айседоре сорок шесть годков, посмотрев на его светловолосые густые пряди произнесла два русских слова: «Золотая голова».

– Мне все понятно – сказала Нина. – Люби все возрасты покорны, ее порывы благотворны, сказал как-то Пушкин. Так прочти мне твое новое «старое» стихотворение о внезапной любви Есенина к Айседоре Дункан.

А я, без всякого предисловия стал читать свое новое стихотворение:

У меня лишь творческий запой...  
Научился жертвовать собою,  
Ради милой лиры золотой!

Исполняла танец Айседора...  
Объявила коротко «Апаш!»  
И играла жулика и вора,  
Как я сам, слуга покорный ваш.

Худенькую хрупкую девчонку  
Айседора шарфик заменил.  
А апаш отвел ее в сторонку  
Издевался и жестоко бил...

Долго колыхалась трепыхалась  
Девушка в безжалостных руках..  
Мое сердце кровью обливалось  
Понимая боль ее и страх

А когда апаш швырнул на землю  
Тело бездыханное ее.  
Понял я, что шум толпы ниспошлю

Гибнет в танце призрачный партнер  
Это был жестокий странный танец  
Айседора, милая моя, я в своей стране как иностранец  
А Дункан сказала: «Ах, Есенин,  
Словно листья падали слова...  
Вы такой весенний, не осенний,  
Только «Золотая голова»  
Хоть не ездил в дальние края  
Приглашаю Вас на белый танец...  
Выбор мой, мне отказать не смей  
Если б знали – шарфик точно станет  
И в моей судьбе, а и в твоей...  
Айседора я обнял колени,  
Ярки шелком льющийся хитон,  
А вокруг все так и обомлели:  
«Танцовщицу покоряет он!»

Как только я закончил декламировать, Нина медленно, словно в замедленной киносъемке, три раза хлопнула в ладоши и произнесла иронично:

– А ты, Володя, как настоящий ловелас, соблазнитель бросился к Айседоре Дункан обнимать ее нежные коленочки. Не слишком ли эротический жест?

– Ниночка не надо ревновать к Айседоре Дункан меня. Ведь стихотворение это я написал от имени Сергея Есенина. Так пусть он и отвечает за свои поступки, а не я.

Мы посмотрели серьезно и внимательно друг на друга и ... засмеялись задорно и радостно, как смеются дети. Потом Нина спросила:

– Володя, а почему ты в стихотворении Есенина о матери не дописал последнее четверостишье?

– Я не стал увиливать от ответа и сказали:

– Никакой тайны нет, всему свое время. Оно наступило сейчас, и я с удовольствием дорасскажу четверостишье написанное для матери Сергеем Есениным:

– Ничего, родная, успокойся  
Это только вежливая мрять  
Не такой уж горький я пропойца,  
Чтоб тебя, не встретив, умиреть!



Наступила тишина, а ее нарушил я:

– Сергей Александрович словно чувствовал свою трагическую гибель, но свою маму пытался успокоить. Ведь он не раз влюблялся в красивых женщин, а потом, разочаровавшись в своем выборе, также быстро уходил от ни. Вот сейчас Нина я прочитаю стихотворение Сергея Есенина. Знаю, что ты его читала много раз, но так хочется прочитать его сегодня:

Вы помните, вы все конечно помните.  
Как я стоял приблизившись к стене  
Взволнованно ходили вы по комнате  
И что-то разное в лицо бросали мне.  
Вы говорили: «Нам пора расстаться!»  
Что вам наскучила моя шальная жизнь.  
Что вам пора до дома добираться,  
А мой удел: катиться дальше вниз!  
Любимая, меня вы не любили.  
Не знали вы, что в сонмище людском,  
Я был как лошадь, загнанная в мыле,  
Пришпоренная смелым седоком.  
Лицом к лицу – лица не увидеть!  
Большое видится на расстоянии...  
Когда дрожит морская гладь,  
Корабль в плачевном состоянии  
И кто из нас на палубе большой  
Не плакал, не блевал и не ругался?  
Их мало с опытной душой,  
Кто трезвым в качке оказался...  
И вот тогда, под дикий шум,  
Но трезво знающий работу  
Спустился в корабельный трюм,  
Чтоб не смотреть людскую рвоту.  
Тот трюм был русским кабаком...  
И я, склонившись над стаканом  
Не вспоминая ни о чем, себя губить в угаре пьяном!  
Любимая, не верь уж мне.  
Я избежал паденья с кручи.  
Теперь в Советской стороне  
Я самый яростный попутчик.

Живите там, куда ведет звезда  
Под пуши обновленной сени.  
С приветом любящий всегда,  
С приветом к вам, Сергей Есенин.

– Володя, – сказал Нина, – ты кое-где в этом стихотворении переврал, а где-то сократил. И тебе не стыдно?

– Не стыдно, Нина, не стыдно. Суть и смысл этой поэмы не изменился, а если кому-то захочется перечитать стихи Есенина, то я буду только рад. Поэт Сергей Есенин писал искренне, а его красота лирической поэзии будет еще не раз радовать читателей.

– Да он радовал не только читателей, а и своих земляков – сказала Нина, – и я хочу прочитать отрывок из стихотворения Сергея Есенина.

Я радостно воскликнул:

– Так я жду, пожалуйста, прочитай!

А она стала декламировать:

Я бесконечный парень сердцем только слушать  
Ничего не надо, песни подпевать.  
Только бы струились легкая прохлада  
Только б не сгибалась молодая стать.  
Выйду за деревню, выйду за откосы  
Сколько там нарядных мужиков и баб.  
Где-то свищут грабли, где-то свищут косы  
«Эй, поэт, послушай – слаб ты иль не слаб?»  
К черту я снимаю свой пиджак английской  
Дайте-ка мне косу, я вам покажу  
Я ли вам не свойский, я ль не деревенский,  
Памятью ль деревни я ль не дорожу?!

Тут Нина смолкла, а потом сказала:

– Воспевал Есенин не только своих земляков. У него был целый цикл стихотворений «восточных». Он собирался посетить восточные страны после Америки, но не получилось. А в Америке он разочаровался и говорил: «Поэзией моей ни Айседора, ни окружающие ее люди не интересовались. Меня слушали человек шесть эмигрантов из России. При этом было двое русских и четверо евреев. А потому, вернувшись в Россию Сергей так рвался в южные, восточные страны. И даже создал целый цикл стихов с восточной тематикой.

– Здорово – согласился я, – а ты можешь Нина сразу же сейчас прочесть хотя бы одно.

– Да хоть два – ответила Нина и стала читать:

Улеглась во мне былая рана,  
Пьяный бред не гложет сердце мне  
Синими цветами Тегерана  
Я лечуся нынче в чайхане...

Сам чайханщик, с круглыми плечами,  
Чтобы славилось пред русским чайхана,  
Угощает меня крепким чаем,  
Вместо крепкой водки и вина.

Угощай, чайханщик, но не очень, Много раз цветет  
в твоём саду...

И не даром мне мигнули очи,  
Приоткинув черную чадру.

Мы в России девушек весенних,  
На цепи не держим как собак...  
Поцелуям учимся без денег,  
Без кинжальных хитростей и драк.  
Наливай чаханщик крепче чаю,  
Много раз цветет в твоём саду,  
За себя я нынче отвечаю,  
А за всех ответить не могу.

Как только Нина закончила читать стихотворение, я тут же попросил ее:

– Ты же сказала, что прочитаешь мне не одно, а два стихотворения Есенина, так выполняй свое обещание.

– Я свои слова не бросаю на ветер – улыбнулась Нина, и стала декламировать:

Ты меня не спрашивай о нем  
Я в твоих глазах увидел море  
Голубым колышущим огнем.

Молодая, с чувственным оскалом,  
Я с тобой не нежен и не груб...  
Расскажи мне сколько рук ласкало,  
Сколько рук, а сколько было губ?

Все они прошли с тобой как тени,  
Не коснувшись твоего огня.  
Многим ты садилась на колени,  
А теперь сидишь и у меня.

Никогда я не был на Босфоре,  
Ты меня не спрашивай о нем.  
Я в глазах твоих увидел море,  
голубым колышется огнем...

– Да, – сказал я, – Сергей Есенин умел притягивать своей красотой и изысканными манерами к себе красивых, да и не красивых женщин. И ни одна из них не сказала пошлых слов о нем. Резкие слова поэт слышал при расставании, но не грубые, а обидные, что он ушел из-под ее влияния к другой такой же желанной, как и предыдущая.

– Володя, – сказала Нина, да ты не только неплохой поэт, а к тому же мудрый философ. А женщины чувствуют мужчину не умом, а умами. Вот почему потом многие из них чувствую незаслуженное разочарование.

– Нина, – ответил я – мы же по складу ума и души умеем отличать настоящую любовь от нарочитой. Хотя может быть я и не прав. Как сказал Пушкин: «Меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад!»

– Часто ты обманывался? – спросила Нина.

– Об этом история умалчивает – улыбнувшись ответил я Нине. – А вот Есенин не скрывал своих эмоций. И я сейчас приведу тебе одно Есенинское стихотворение, которое совсем не ласкает слух.

– Я слушаю! – сказала Нина мне, и я стал читать:

Шум и гам в этом логове жутком,  
И всю ночь до зари  
Я читаю стихи проституткам  
И с бандитами шпарю спирт.  
Затаскали тебя, измызгали – не в терпеж!  
Что ж ты смотришь синими брызгами?  
Или в морду хошь?!  
В огород бы тебя, как чучело  
Пугать ворон.

Истаскали тебя и измучили  
Со всех сторон...

– Какое мерзопакостное стихотворение – пожалала плечами  
Нина.

А мне пришлось оправдываться:

– В этом «логове жутком» поэт показал еще одну грань раз-  
врата: «гармонист спиртом сифилис лечит, что в казацких степях  
получил».

– Что же – сказала Нина – божья кара настигла их в этом  
логове жутком. А мне после этой грязи хочется прочитать светлое,  
лучезарное стихотворение Сергея Есенина:

Отговорила роща золотая  
Березовым веселым языком.  
И журавли печально пролетая,  
Не вспоминают больше не о чем.

Чего жалеть, ведь каждый в мире странник  
Зайдет, пройдет покинув милый дом  
О чем шумит от ветра пенопляник  
За нашем покосившемся плетнем?

Нина сделала передышку, а потом сказала:

– О Сергее Есенине можно говорить долго, а прожил поэт  
очень мало. И он будто чувствовал, что вскоре уйдет в мир иной.  
И в гостинице «Англитер» он написал, как бы прощальное сти-  
хотворение:

До свидания, друг мой, до свидания  
Не печалься и не хмурь бровей...  
В этой жизни умереть не ново,  
Но и жить, конечно, не новей

А Владимир Маяковский осуждал поэта Сергея Есенина – с  
грустью произнес я. – Написал, перефразировав эти строчки:

В этой жизни умереть не ново,  
Сделать жизнь, значительно трудней!

Но только и Владимир Маяковский слишком рано ушел из  
жизни. А памятники этих великих поэтов стоят до сих пор. Память  
остаётся навсегда для этих великих поэтов.

## Глава: Александр Фадеев

– Володя, – спросила меня Нина, – что ты знаешь о начале творческого пути писателя Фадеева?

И я ответил:

– У него очень сложная судьба. Он родился в Российской глубинке 24 декабря 1901 года в селе Кимры Тверской губернии в семье бывшего политического ссыльного Александра Ивановича Фадеева. И назвали ребенка, как и отца – Александром.

– Так часто называли в крестьянских ссыльных семьях детей – продолжила разговор Нина. – Но Александр Иванович не был уроженцем Тверской губернии, а Пермской. К тому же отец Александра Александровича Фадеева был по происхождению из села Покровское Пермской губернии. И вот этот-то происхождение и подвело Александра Ивановича.

Он жаждал знаний и по совету учился в сельской школе, в которой предложили талантливому ученику поступить в Перми в гимназию. Но в гимназии начальство отнеслось к крестьянскому пареньку, который пришел в лаптях, высокомерно-пренебрежительно, сказав:

– Мы мужиков в гимназию не принимаем.

Тут-то и я вступил в разговор:

– Этот грубый отказ ошеломил Александра Ивановича и одновременно возбудил ненависть к чиновничьей бюрократии. И решил, что в царской России нет справедливости. Но он проявил упорство, а может быть и упрямство. Сдал экзамен экстерном и получил звание «Учитель сельской школы». Как тут не вспомнить строчки поэта Сергея Есенина: «Эй, вы сани мои сани, стоны горькие осин... У меня отец крестьянин, а вот я – крестьянский сын!»

Тут инициативу перехватила Нина и сказала:

– Ему недолго пришлось учительствовать и его уволили, как «политически неблагонадежного». так как он не пришелся по вкусу полицейским властям из-за самостоятельных суждений и за частые обращения с революционными речами на митингах, а может быть в его кругу были провокаторы. А после разгрома революционного народничества пошел к либералам, но тюрьма нередко была уделом и для либералов. Но в Петербурге были и прогрессивные

круги. И вот Антонина Владимировна Кунц, назвавшись невестой Фадеева-старшего, понесла в тюрьму посылку. Она увидела, что Александр Иванович был среднего роста, плечистый, с огромной огненно-рыжей бородой, с горящими как угольки глазами, сурово смотревшими из-под густых бровей. Его внешность произвела неизгладимое впечатление на Антонину Владимировну, и она стала часто приходить на свидания...

И тут я стал продолжать разговор о Александре Ивановиче Фадееве:

– Когда Фадеева-старшего отправили в ссылку в Архангельскую губернию, Антонина пошла учиться на фельдшерские курсы и тут же поехала к своему любимому человеку в Архангельскую губернию. А там они и обвенчались, став мужем и женой. Родились и дети: в 1900 году – дочь Татьяна, в 1901 году – Александр, а в 1905 году – Владимир. Но когда революционера сослали в Сибирь он заболел туберкулезом. Вернувшись домой из ссылки за год до Великой Октябрьской революции в 1916 году умер от этой страшной болезни.

А Нина продолжила говорить об Александре Александровиче Фадееве:

– Саша Фадеев своего отца помнил смутно. Антонина Владимировна вышла замуж повторно за Глеба Владиславовича Свиточа. он был членом РСДРП(б) – рабочей социал-демократической рабочей партии большевиков. Глеб привязался к детям, а они отвечали ему добром, называя ласково папой. зато Саша Фадеев был подвижным и розовощеким мальчиком. Волосы его были темно-русыми. Но главное достояние Саши Фадеева была великолепная память. После двух лет он читал небольшие стихи, в три года «Дедушку Мазая» и «Генерала Топтыгина» Некрасова. Хотя грамоте его никто не учил, он стал читать после четырех лет слушая, как его мама учила старшую дочь Татьяну. Но жить с такой оравой было трудновато. А ее старшая сестра жила в то время во Владивостоке и предложила она Антонине Владимировне приехать с семьей на Дальний Восток на берег Тихого океана. В этом далеком краю можно было устроиться запросто на фельдшерскую должность, да и получить еще в придачу участок земли в сельской местности.

– Да, Нина, – согласился я, – кусок земли в сельской местности

всегда помогал жителям жить сытной и беспечной жизнью. Но проехав через всю нашу страну, огромную Россию, у Саши остались в памяти хорошие впечатления: Западно-сибирская равнина и тайга, славное море – Священный Байкал, в окружении скалистых гор. Поезд проходил через несколько тоннелей. Дети сначала погружались во мрак тоннеля, а потом снова вырывались на дневной свет. Владивосток поразил Сашу ярким солнцем и ясной синевой неба. На покрытом зеленью плоскогорье возвышалось величественное Орлиное гнездо. Это самая высокая вершина сопки во Владивостоке.

– Володя, – сказала Нина, – сделай передышку, а я продолжу рассказ о Александре Фадееве. В августе 1910 году Саша выдержал экзамены в старший подготовительный класс коммерческого училища во Владивостоке. Для города это был знаменательный год. Владивосток праздновал тогда пятидесятилетний юбилей. В июне 1860 года в бухту Золотой Рог вошел военный корабль «Маньчжур» и бросил якорь. На песчаный берег, кое-где поросший лесом, высадилась горстка русских солдат. Вот так и возник военный форпост на берегу одной из самых живописнейших бухт в мире. А уже через год появилось и гражданское поселение. Через двадцать лет Владивосток назвали городом, а город создал для себя герб. На нем был изображен полосатый тигр и державный серебряный якорь. Земля и океан были в одной связке. А во Владивостоке он сформировался как человек и полюбил город «самый прекрасный и любимый». В романе «Последний из удэге» есть строка Фадеева Александра: «с горы открывался вид на корну, а и трубы военного порта, на залив Петра Великого и зеленый Чуркин мыс. За мысом простиралось Японское бирюзовое море...»

Тут я перебил Нину и прочитал строки стихотворения:

– Когда море горит бирюзой, опасайся дурного поступка. У нее голубые глаза и дорожная серая юбка. Увидав, что она на борту, капитан вылезает из рубки и становится с трубкой во рту против девушки в серенькой юбке...»

– Тебе, Володя, только иронизировать – усмехнулась Нина, – но лучше продолжи рассказ о Александре Фадееве.

И я не замедлил это сделать и стал рассказывать:

– Саша Фадеев часто прислушивался к разговорам и узнал, что в 1906 году Владивосток в течении целой недели находился в



руках восставших солдат и матросов и над городом реяло красное знамя революции. А уже осенью 1907 года восстал команда миноносца «Скорый». Потом он сказал: «Как большевик я воспитан в семье по меньшей мере, чем в своей собственной» Поступив в коммерческое училище на уроках русского языка познавал красоту русской речи и запоминал слова, сказанные великими писателями и поэтами России: Крыловым, Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем и Некрасовым. В одиннадцать лет он захотел стать писателем. И таясь от взрослых, написал повесть о двух мальчишках, убежавших в Америку. Только сестренка Тане он признался, что вычерпал свой «роман» из книг Майн Рида, Фенимора Купера и Джека Лондона. А на своих друзей-товарищей он рисовал карикатуры. Вот сколько талантов было у Саши Фадеева.

– Вот тут-то, Володя, передохни немного – посоветовала Нина, – а я продолжу рассказ о Александре Фадееве.

– Хорошо – согласился я, – о Фадееве можно говорить бесконечно.

И она продолжила рассказ:

– В ранней повести «Разлив» Саша Фадеев написал: «Эта земля вырастила полтора миллиона десятин гигантского строевого леса, мрачный загадочный шум плавал по таежным вершинам. А внизу, у корявых подножий стояла первобытная тишина. Она скрывала и тяжелую поступить черного медведя, и зловещую повадку полосатого тигра, и крадущуюся походку нубийца тун-по». И с малых лет мать прививала своим детям Тане, Саше и Володе любовь к труду. Фадеев вспоминал: «Мы пришивали сами оторвавшиеся пуговицы, клепали заплатки и заделывали прорехи в одежде, мыли посуду и полы в доме, сами стелили постели. А кроме этого – косили, жали, вязали снопы на поле, пололи, ухаживали за овощами в огороде... Мы всегда сами пилили и кололи дрова и топили печи. Я с детства умел сам запрячь лошадь, оседлать ее и ездить верхом. Но в 1914 году грянула первая мировая война. Отчима Фадеева как фельдшера запаса призвали в армию. И все заботы легли на плечи Антонины Владимировны. И Саша тут же сразу повзрослел. Его товарищи прозвали Д'артаньяном. Но среди друзей Саша был самым маленьким и жаловался своей сестре Тане: «Неужели я никогда не вырасту?» А потом сразу вытянулся и стал намного выше своих сверстников.

Теперь я попросил Нину передохнуть и сказал:

– Д’артаньян из Саши получился неплохой, поэтому нужно вспомнить и о трех мушкетерах. Гриша Билименко – сын крестьянина. Отец Пети Нерезова – рабочий. Бедными были и родители Сани Бородкина. Зато в училище было много детей купцов, промышленников и чиновников. Иные из них приезжали на рысаках и когда сходили из пролетки, то бросали небрежно кучеру: «Подашь экипаж к трем часам». Эти избалованные молодые люди жили в особняках, а у родителей в придачу были и дачи. Поэтому щегольски одетые барчуки свысока смотрели на Фадеева и его друзей. Но могучие плечи Нерезова и слава о силаче, который мог постоять не только за себя, но и за своих друзей, снижали пыл барчуков. Через каких-то пять лет воспитанники училища оказались на разных сторонах баррикад. Вылощенные «коммерсанты» облачились в колчаковские мундиры. А Фадеев и его друзья ушли партизанить в таежные дебри Приморья. Потом, как пелось в популярной песне: «Разгромили атаманов, разогнали воевод. И на тихом океане свой закончили поход». Прошло время и в их юные сердца постучалась любовь. Саня Фадеев хорошо сыграл роль самозванца лже Дмитрия в сценах из «Бориса Годунова» и его поздравила белокурая девушка-гимназистка. Раньше Саша не обращал на нее никакого внимания, но тут-то стрела Амура и пронзила его сердце. Но только через тридцать лет написал Фадеев Асе: «Вы были уже в сущности девушка, а я еще мальчик. И, конечно, Вам трудно было увлечься этим, тогда еще не вышедшим ростом и без всякого намека на усы умного мальчика с большими ушами. Но если бы Вы знали, какие страсти бушевали в моей душе! Я сгорал от ревности, от нежности, от постоянного желания видеть, видеть Вас, быть всегда возле Вас!»

Нина очень удивилась, когда услышала каким был робким парнем Саша Фадеев и сказала мне:

– Володя, я в восторге, но ты теперь отдохни и послушай мой рассказ.

И она стала говорить:

– Владивосток был далек от фронтов Первой мировой войны. Но и он стал ощущать ее обжигающее дыхание. Приходили похоронки на ушедших воевать солдат, приходили солдаты на костылях и раненные в голову и контуженные, ослепшие. Ходили

слухи об измене, мол Распутин и немка Царица выдают военные тайны. А армия терпела неудачи, дорожали продукты, а фронтовики рассказывали, что на фронте не хватает патронов, винтовок и артиллерийских снарядов.

Были волнения и во Владивостоке – рабочие порта требовали прибавки к зарплате. Полиция раскрыла революционную организацию «Молодая Россия». Обстановка накалялась, а в феврале 1917 года телеграф принес известие об отречении царя от престола и провозглашении буржуазной республики России и образования Временного правительства. В мае впервые свободно отпраздновали Первого мая и прошли с красными знаменами по улицам Владивостока. А семья Фадеевых получила печальное известие: Глеб Владимирович Свиточ, отчим Саши Фадеева, заразился при операциях тифом и умер.

Я попросил Нина: «Давай-ка, Ниночка, передохни. Ты историю о Первой мировой войне сумела мне рассказать за несколько минут. Позволь мне продолжить рассказ о судьбе Александра Фадеева.

Она кивнула мне головой, и я стал говорить:

– Антонину Владимировну в это время выбрали на Никольско-Уссурийский уездный крестьянский съезд, где выступали и большевики. Когда она вернулась во Владивосток, то сообщила детям и, разумеется, Александру: «Большевики правы. Они за бедных. А Временное правительство хвалят богатые люди, у которых все есть.» И вот грянул Октябрьский гром. В декабре 1917 года власть перешла в руки Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Председателем избрали коммуниста Константина Суханова. Но контрреволюция не складывала оружие. В январе 1918 года нагло и самовольно на Владивостокский рейд пришвартовался японский броненосец «Ивами». А следом потянулись английские, американские, французские суда. Их орудия были направлены на Владивосток. Вот тут-то Саша Фадеев и его друзья примкнули к большевикам. Как говорится им нечего было терять, кроме своих оков. Но свободу-то нужно было защищать. И Фадеев, и его друзья поселились в казарме и стали жить коммуной. А основателей коммуны стали называть Орлятами. И Орлята попытались научиться летать. А Саша стал сотрудничать в газете «Вести». И он опубликовал в ней сатирическую заметку: «Апачи и команчи». Так

у Фенимора Купера назывались два индейских племени, враждовавшие между собой. Сотрудничал Фадеев и в большевистской газете «Красное Знамя». А обстановка в городе накалялась. В ночь с 4 на 5 апреля 1918 года при таинственных обстоятельствах были убиты два японских подданных. Предполагалось, что это была провокация и утром 5 апреля под звуки японских горнов высадился десант для защиты жизни и имущества иностранных подданных.

– Володя, – сказала мне Нина, – отдохни. Темы интересные, но я хочу тоже рассказать об этих революционных событиях и как высказался о них Владимир Ильич Ленин.

– Хорошо, Нина, – согласился я – с удовольствием послушаю тебя о реакции Ленина на эту провокацию.

И Нина стала говорить:

– Ленин следил внимательно за событиями на Дальнем Востоке и послал директивную телеграмму: «Мы считаем положение серьезным и самым категорическим образом предупреждаем товарищей. Не делайте себе иллюзий: японцы будут наступать. Это неизбежно. Им помогут все, без изъятия, союзники. Надо готовиться без малейшего промедления, серьезно изо всех сил». Предвиденья Ленина подтвердилось. По городу шагали вооруженные патрули интервентов, была закрыта маньчжурская граница и прекратилась доставка зерна из Маньчжурии: город голодал. Белогвардейские банды пытались нападать на Владивосток и на границы Приморья. А с запада подходили эшелон за эшелон Чехословацкого корпуса, чтобы из Владивостока попасть во Францию. Провокаторы подталкивали Чехословаков на борьбу с Советами. Якобы, большевики препятствуют их отправке. А в ночь на 30 июня был совершен контрреволюционный переворот. Небольшие красноармейские отряды были вынуждены отступить до реки Уссури. И она стал преградой для интервентов. Но сквозное движение по Уссурийской железной дороге остановилось. Но белочехи захватили всю узкую полосу сибирской железнодорожной магистрали.

Нина на минуту сделала передышку, а я тут же воспользовался паузой и сказал:

– Ты отдохни, Нина, а я продолжу разговор:

– «Разгромили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане, мы закончили поход». А Саша Фадеев вспоминал: «Я уже был партийным человеком, и роль партии чувствовал. А вот сущно-

сти ее я еще не понимал. Был слишком молодым и мало знал. Но прочитал книгу Ленина «Что делать?» и понял значение партии. И Сашу Фадеева приняли в ряды Российской коммунистической партии в сентябре 1918 года, когда ему еще не исполнилось и 17 лет. Но прежде чем вступить в партийные ряды, он размышлял: «Сама история, революция с ее бушующим ветром и ревущими волнами вдруг начала нас растасовывать с такою мощною силою, что мир раскололся перед каждым юношей. И ставал вопрос «В каком стане мне сражаться?». А в ноябре 1918 года один из первых учителей Фадеева в школе большевизма, пламенный Костя Суханов стал жертвой кровавой расправы. Его убили интервенты, якобы, при попытке к бегству. И друг Кости написал взволнованные стихи:

Убийцы! Горящий костер  
Кростью гасить бесполезно!  
Где руку рабочий простер –  
Власть его воле железной.

Но злодейским убийством интервентам не удалось запугать рабочих и крестьян. Возле партийного комитета сплывались отряды трудящихся. И Фадеев уходит на подпольную работу под кличкой Булыга. Вот таким крепким орешком и был этот Булыга. Власти Колчака не смогли найти его след. А Булыга однажды сделал для связного подпольщика паспорт. Подпольщик сел на поезд в купе, где уже сидели крестьяне. Зашли в вагон белогвардейцы и стали проверять документы. У крестьян не было их, и беляки высадили их на станции, чтобы получить у властей необходимые документы. И контролер-белогвардеец попросил у подпольщика паспорт, а потом показал его крестьянам, приговаривая: «Видите, какой документы нужен вам. Идите и запомните какой паспорт нужно получить у нас!» А связной потом хвастался: «Саша работает точно. Не подведет никого под монастырь. Не будь бы конспирации, направить бы этих бедолаг прямо к Саше Булыге. И не стояли бы они так долго в очереди, чтобы получить паспорт у белых!» А подпольщики ценили Сашу Фадеева за смелость, точность в исполнении поручений.

– Великолепно, Володя, – улыбнулась Нина. – Умеешь ты показать подпольную работу Фадеева. Но и я кое-что знаю о нем. Ты отдохни, а я расскажу читателям о Александре Фадееве.

Я согласился, а Нина продолжила разговор:

– Саша не только наловчился делать «липу», но умел хорошо печатать и листовки, а потом поздней ночью расклеивал их на стенах домов и заборах. Однажды он наклеил листовку на двери чешского штаба, а охранники прозевали Сашу и потом рыскали около штаба. Неужели Фадеев бы дожидался этих ротозеев, чтобы они арестовали его? Но одно из ярких впечатлений Саши в юности – это встреча с легендарным Сергеем Лазо. Молодой офицер царской армии первым перешел на сторону социалистической революции. Он привел целую роту на площадь перед зданием Совета и передал ее новой народной власти. Фадеев сразу обратил внимание на Лазо: он двадцати трех лет, ростом выше всех на голову, лицо удивительной интеллектуальной красоты, смуглое, крылатые брови, черные, густые волосы и темно-карие поблескивающие глаза и выющаяся темная бородка. Сашу Фадеева и его товарища из Дальникова привлекли издавать газету «Партизанский вестник», а их боевой друг Костя Рослый писал заметки и даже стихи:

Дуют холодные ветры,  
Вьются над думой людской  
Носится коршун над сопкой  
Крик его полон тоской.

Здесь, среди Сучанской долины,  
Где скалы угрюмо глядят  
Смело выходит в равнину  
Наш партизанский отряд.

А этим отрядом как раз и командовал Сергей Лазо. Фадеев восторгался им и говорил: «Лазо всегда умел найти неожиданные, смелые, стремительные ходы, но в тоже время был расчетлив, распорядительным и абсолютно бесстрашен. но героическое наступление партизан не смогло остановить многочисленную армию врагов. белогвардейцы разгромили партизан. А Фадеев эту ситуацию изобразит позже в романе «Разгром». А Сергея Лазо интервенты захватили в плен и сожгли его заживо в паровозной топке.

Нина умолкла, да и мне было больно за гибель Лазо. Но все-таки я решил продолжить историю про гражданскую войну. Да все они и белые, и красные были гражданами России, но вдруг разошлись в разные стороны на баррикады. Поэтому я продолжил разговор:

– Осенью 1919 года Саша Фадеев и Игорь Сиверцев вступили в Свиягинский партизанский отряд и участвовали в тяжелых боях и сохранили в этом районе Советскую власть. Фадеев восторгался действиями отряда: «Это был самый дисциплинированный и неуловимый отряд красных партизан. Не признавал никакой партизанщины и это была настоящая сплоченная, боевая воинская часть». И командир отряда назначил Сибирцева начальником штаба, а Фадеева его заместителем. Новый 1920 год партизаны встретили в тайге, но уже шли вести о наступлении Красной Армии, освободившей Сибирь от интервентов и белогвардейцев. А в конце января партизанские отряды вступили во Владивосток. А Фадеев получил в боях серьезное ранение, и ему пришлось отлеживаться в штабном вагоне. К нему друзья заскакивали проведать, но Александр был так слаб, что не мог подняться, а только махал им рукой. Мол, выживу, не беспокойтесь. За окнами уже расцветала бурная приморская весна и Саша стал ходить. Иногда он даже спускался по ступенькам вагона и грелся на ласковом весеннем солнышке.

– Володя – сказала Нина, – ты так кратко и так емко рассказал мне о боевых действиях партизан, что и я попытаюсь продолжить эту интересную историю.

Я согласился, и она стала говорить:

– Наступил октябрь 1920 года. Началось наступление на белогвардейскую Читу. Фадеев стал начальником политотдела в 13 стрелковом Амурском полку и участвовал в бою при взятии станции Борза. А морозы были 30-40 градусные. Фадеев вспоминал: «Люди были плохо одеты и обуты, отмораживали руки, ноги и слепли от белизны снега на сверкающем солнце. Но мы прорвали восемь рядов колючей проволоки с большими потерями. Местность совершенно открытая, пришлось атаковать ночью». Саша Фадеев в 19 лет стал комиссаром полка и был принципиальным и политически зрелым. Но простота и его доступность вдохновляла бойцов. он говорил образно: «Есть два мира: мир праздный и развращенной буржуазии, подымающей в холеной руке не стакан вина, а стакан наполнен кровью рабочих. С другой стороны – мир тружеников, чьими руками создается богатство и красота для жителей дворцов».

Никто не удивился в феврале 1921 года, что Александра Фадеева избрали делегатом на X съезд партии. И вот, что он сказал на съезде: «Я познал лучшие стороны народа, из которого вышел. В

течении трех лет вместе с ним прошел тысячи километров дорог, спал под одной шинелью и ел из одного солдатского котелка. Я впервые познал, что за люди идут во главе народа и понял – они такие же все, как и мы, но это были лучшие сыновья и дочери народа. Если бы народ не нашел их в своей среде, он навсегда остался бы прозябать в нищете и бесправии». На этом съезде был и молодой комиссар Иван Конев, ставший маршалом Советского Союза.

Тут я попросил Нину остановиться:

– Про начало X с, как он начался.

Она кивнула, и я стал говорить:

– Съезд открылся 8 марта 1921 года в Кремле. Дальневосточники пришли задолго до открытия съезда и сели в кресла поближе к президиуму. зал постепенно заполнялся, а когда вошел Владимир Ильич он вспыхнул бурными аплодисментами, которые потом переросли в овацию. Владимир Ильич вышел на трибуну, но не мог долго заговорить. Наконец тишина воцарилась, а Ленин заговорил:

– Товарищи, мы в первый раз на съезде при таких условиях, когда вражеские войска поддерживают капиталисты и империалисты на территории Советской республики. Благодаря победам Красной Армии мы открыли съезд. Три с половиной года неслыханно тяжелой борьбы и вражеские войска выбиты с нашей территории».

Фадеев сначала робел, а потом осмелел, и подошел с делегатами съезда в перерыве к Ленину и осторожно прикоснулся своей рукой к его пиджачку. С юношеской непосредственностью он рассказал потом друзьям. Они завидовали: «Ты, Саня, видел живого Ленина». Прямо со съезда треть делегатов пошли штурмовать Кронштадт. Возглавлял эту группу, в которой был и Александр Фадеев, Климентий Ефремович Ворошилов. это потом была написана песня: «Веди нас в бой товарищ Ворошилов, советский маршал, боевой нарком.» Но уже по другому поводу. А на подступах к крепости наступающих заметили. Впереди от Фадеева сверкнул огонь взорвавшегося снаряда. Взрывная волна швырнула его на лед, а на него упали еще несколько бойцов. он же почувствовал, что ранен. Он то терял сознание, то вновь приходил в себя. Тела убитых защитили его от стужи и ветра. Но санитары подобрали Сашу Фадеева и отправили в петроградский госпиталь. А над Кронштадтом, взятым невиданным штурмом в истории войн, уже развевалось алое знамя. И Кронштадт снова стал оплотом сил



социалистической революции на Балтике.

– Что ж, – сказала Нина, – мы рассказали о революционном пути Александра Фадеева. И если ты, Володя, не возражаешь, я перейду к рассказу о его литературном пути.

Мне это предложение понравилось, и я согласился. А Нина стала говорить:

– Летом этого же года Александр из Петрограда поехал в Москву. Не зажившая совсем рана давала о себе знать, а он ходил, прихрамывая, опираясь на палочку. Жить было негде и Саша поочередно ночевал у дальневосточных друзей. Прочитав в газете о наборе студентов в Московскую горную академию, решил поступить в нее. Если он станет горным инженером или геологом, то вернется в родной Дальневосточный край. И он поступил в Академию. Учиться было тяжело: не хватало учебников, приборов и реактивов, но студенты умели преодолевать трудности. Хорошо, что ректор Академии Иван Михайлович Губкин был и изобретательным инженером, и талантливым ученым. Губкин открыл второе Баку в Башкирии, но Фадееву очень понравился ученый с мировым именем Владимир Афанасьевич Обруче. Он был знаменитым геологом, первопроходцем и талантливым писателем, автором юношеских книг «Плутония», «Земля Санникова». По этим романам Обручева были сняты и кинофильмы. А горную академию в Москве создали то по декрету Ленина. По зову партии съезжалась в Академию молодежь. А в помещениях общежития был холод, да и питались студенты скудно. Продовольственный паек маленький и состоял он из ржаной муки и селедки. Студенты муку обменивали в пекарнях на хлеб, а селедку если экономно, используя все, что можно было разжевать. Из селедочных голов варили суп, в шутку называя его «какие глазки» из-за плавающих в соленой воде рыбьих глаз. Но не только учились студенты, а и работали грузчиками. Но именно в таких условиях и закалялась человеческая сталь. Ведь в университете учились и партийцы, и комсомольцы, и коммунисты. А книга Николая Островского «Как закалялась сталь» и помогала студентам выжить в это трудное время. Все герои Николая Островского стали бессмертными. А Александр Фадеев стал неутомимым пропагандистом новой советской литературы. В конце 1922 года в Москву пришла радостная весть: война завершилась на Дальнем Востоке и Александр мог теперь общаться письмами с матерью. И в эти

дни Фадеев стал писать художественные произведения «Разлив» – 1922 год и рассказ «Против течения» – 1923 год. Эти рукописи были написаны буквально от руки, а не на пишущей машинке. И высокую оценку писателю Фадееву дали Юрий Лебединский и Лидия Сейфулина. И вот, что сказал Лебединский: «Нарисована необыкновенная природа: высокие кедры, горы-сопки с долинами, бурная река с сокрушительным разливом. И герои повести и рассказа под стать природе: сильные, страстные и правдивые.» Но нравилась Лебединскому, что автор-то молод, близок к народной жизни и советской современности.

Тут уже я попросил Нину передать мне эстафету, и она не возражала.

– Володя, я рассказала читателям о начале творческого пути Александра Фадеева, а ты продолжи мой рассказ.

И я стал писать:

– Фадеев жил напряженной духовной жизнью и встречался со знаменитыми людьми. Особенно запомнилась ему встреча с Михаилом Ивановичем Калинином, которого звали за глаза – Все-союзный староста. И он был неофициальным шефом МГА. И в день четырехлетнего юбилея Академии Калинина избрали почетным студентов.

Но вот наступил январь 1924 года. С зимней стужей, холодными ветрами и морозами в ночь с 21 на 22 января все заводы и фабрики, учреждения и учебные заведения и в жилые дома граждан пришла горькая весть о кончине вождя партии и основателя советского государства Владимира Ильича Ленина. В траурные дни был среди этой процессии и Фадеев. Он прошел молчаливо через колонный зал Дома Союзов, где и стоял гроб с телом вождя.

Окончить Академию Александру Фадееву не пришлось. Центральный Комитет партии в февраля 1924 года направил его на партийную работу на Северный Кавказ Краснодар. А там работала и землячка. Там-то и замыслил новый роман «Провинция» Фадеев. Он был очарован пестротой и раздольем кубанских степей и говорил: «Как-то мы зашли в степи на старый, старый курган. При заходе солнце стало большим, красным и жгучим. И можно было на него смотреть не прищурившись. А кругом простиралась только степь. Я совершенно ясно представил Илью Муромца или Святогора, стоявшего по пояс в густом тумане, а грива его коня сливается с

белыми клубами и они оба плывут по степному «море». Но ведь через это «море» степи катились гунны, обросшие волосами, на ней дрались и умирали печенеги, татары и... красноармейцы. Поэтому эта степь кажется такой мудрой и вечной».

А вскоре Александр Александрович стал в Ростове-на-Дону заведовать отделом партийной жизни в газете «Советский Юг» по предложению Анастася Микояна. Сотрудничал Фадеев и с литературно-художественным журналом «Лава».

Я окончил говорить и передал Нине эстафету, сказав ей:

– Продолжай тернистый рассказ об Александре Фадееве. Про его путь в литературу.

А Нина мне сказала:

– Володя, у Александра Фадеева путь в литературу был и не такой уж тернистый, а типичный для многих советских писателей. Как раз об этом и говорил сам Фадеев: «Фурманов написал книгу «Чапаев», а кинематографисты тут же ухватились за интересный роман и создали кинофильм о Чапаеве. Пусть молодого, но очень талантливого писателя Шолохова, который стал позже Нобелевским лауреатом. Великим подвигом был путь и Николая Островского. Павла Корчагина запомнили молодые читатели на всю оставшуюся жизнь. Но ведь и при типичном пути рождались искромётные писатели. А про Фадеева могу сказать, что он был не только талантлив, но и скромн. В газетных своих статьях Фадеев ставил подпись: «Ал.Булыго», вспоминая свою молодость, когда он скрывался от интервентов под этим псевдонимом. Фадеев был в стилевом отношении близок ко Льву Николаевичу Толстому. Но идейным его учителем, мне кажется, был для Александра Александровича Максим Горький. Когда Фадеев писал в романе «Разгром» про бой партизан у трясины, то он показал, как появляется Левинсон с зажжённым факелом в руках и спасает красноармейцев. Так похожа эта сцена из рассказа «Старуха Изергиль» у Максима Горького. Образ Данко, который вывел из болот к светлому будущему. Поэтому первым из советских писателей Александр Фадеев достиг высокого мастерства в изображении революционной борьбы и созданием образов героев революции.

– Нина, ты совершенно правильно подчеркнула умение писателей России создавать художественные романы фундаментально, основательно, на реальных фактах и на трагических или лириче-

ских событиях. Не все золото, что блестит. Но никто не может и заявить, что я любую беду руками отведу. Но русские классики умели освещать и комические стороны жизни, как и трагические. А поэтому, Нина, я продолжу рассказ о писателе и коммунисте Александре Фадееве.

Нина согласилась, и я продолжил рассказ о его творчестве:

– Переехав в Москву Фадеев стал работать в РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей. И в ряды РАПП потянулись новые и новые члены из среды молодых рабочих. Молодые литераторы потянулись к Фадееву, а он помогал им «поставить перо». За его поддержку и искренность молодежь привязалась к мэтру, полюбила Александра Александровича.

Борис Горбатов вспоминал в декабре 1951 года: «25 лет тому назад ты появился в Кавказской рубашке с набором ремешков и в сапогах в РАПП и все мы единодушно, молча и не сговариваясь признали тебя нашим вожаком нашего поколения молодых- писателей. Мы отдали тебе не свои голоса, а наши горячие сердца». В эту организацию вошли известные писатели: Серафимович, Демьян Бедный, Дмитрий Фурманов. Позднее Михаил Шолохов, Маяковский, Луговской и Багрицкий. Особенно потряс их роман Шолохова «Тихий Дон». Он был совсем не тихим, а клокочущий страстями реальной жизни. Где за белых и красных воевали два брата против друг друга. Но вскоре на сторону Советской власти перешли и дореволюционные писатели и открылся путь для создания единого Союза писателей СССР. А через пять лет весной 1928 года вернулся в Москву из Италии Максим Горький. Фадеев приветствовал его и вспоминал: «Помню миг торжественного молчания, когда высокая фигура Горького появилась в глубине эстрады в нашем невысоком зале заседаний по улице Воровского. Когда Горький приблизился к столу, накрытому красной бархатной скатертью, писатели встали прозвучала овация. Рукоплескал и весь зал. Горький сделал знак – мол, я благодарю вас и тронут такой встречей, но давайте, дорогие товарищи, приступим к делу!»

Когда Горький начал выступать, то Фадеев смотрел на него не отрывая глаз, словно впитывая в себя каждое слово Горького. Когда Фадеева спросили: «Ну, как?!», он тихо ответил: «Сегодняшний вечер, конечно же, никто не забудет».

На этой фразе я остановился и попросил Нину продолжить

мой рассказ. И она тут же начала говорить:

– Когда Горький издал книгу «Жизнь Клима Самгина» Фадеев сказал: «Роман значительный и бесподобный, в нем такая исключительная мощь, темперамент и глубокий ум».

Вскоре Фадеев стал организационным секретарем оргкомитета, который возглавлял Горький. Писатель Юрий Лебединский вспоминал о прогулках с Александром Фадеевым по Замоскворечью: «Рядом с заводами, перед которыми мы благоговели, как классовой энергией пролетариата, еще высились монастыри... А Москва-река еще текла мимо зеленых берегов. Петухи горланили их «ку-ка-реку» и звучала над Москвой, где зеленая тавка пробивалась через щели плит тротуара, сложенного из белого московского камня. Не зря же на Руси говорил: «Белокаменная столица. А Красная Пресня? Так тут каждый переулочек мог рассказать о революционной борьбе».

Когда Лебединского оклеветали и хотели устроить ему судилище, то Фадеев заявил: «Бывают в жизни коммунисты, когда убедительнее всего не документы, а слова его товарища по партии. И вот я, знающий Юрия Лебединского на протяжении нескольких лет, отвечаю за него партийным билетом и своей головой, что он честный коммунист». И Александр Александрович отстоял своего товарища.

Затем Фадеев познакомился с режиссёром Довженко и выехал с ним на родной Дальний Восток. Там Фадеев дал интервью: «Кровь героических сынов этого края была пролита не даром. Край расцвел и стал жемчужиной нашей Советской Родины, форпостом коммунизма на Тихом океане». Выступил Александр Фадеев и в Комсомольске-на-Амуре и вот, что он сказал: «Это героический город ваш Комсомольск. У него большое будущее. И этот город будет любить не только дальневосточник, каждый гражданин Советского Союза. А мы будем помогать этому новому городу». И тут Фадеев не покривил душой. Он и его друзья взяли шефство над ним, помогли открыть библиотеку, рабфак, вечерний техникум, курсы, прислали радиоприемники и спортивные принадлежности. Фадеев был избран на партийной конференции делегатом на XVII съезд. Он вернулся в Москву и участвовал в подготовке Первого Всесоюзного съезда советских писателей. Первым выступил на нем Максим Горький: «Мы выступаем, как судьбы мира, обреченного

на гибель. И как люди, утверждающие подлинный гуманизм революционного пролетариата, гуманизма силы, призванной историей освободить весь мир трудящихся от зависти, подкупа, от всех удобств, которые на протяжении веков искажали людей труда».

Окончив фразу Нина сказала мне:

– А теперь, Володя, ты продолжи повествование.

И я стал говорить:

– Выступил на съезде и Фадеев. Он говорил о новаторстве и мировом значении Советской литературы и необходимости мону-ментальных форм в ней: «В литературе должна быть отлита вековая мечта трудящегося человека. Нужно создавать в романах яркие характеры советских людей». Эти слова слушал и молодой поэт Александр Твардовский. И у него родилась идея написать поэму «Страна Муравия». Фадеев не только подсказал своему тезке Твардовскому сюжет произведения, но и саму форму – условную и сказочную. А затем Фадеев в середине мая 1936 года отправился навестить больного Николая Алексеевича Островского, и они поговорили о писательском мастерстве и романе «Как закалялась сталь». И Фадеев пишет ему небольшое письмо: «Я был рад познакомиться с тобой. Радостно сознавать, что большинство уже нашего с тобой поколения, то есть молодого поколения, дают образцы такого величавого и простого мужества и преданности в выполнении своего долга перед Родиной».

Столица встретила его Александра потоком машин и людей на улицах, объятиями и поцелуями друзей. А талант Фадеева получил новое признание. Как ему хотелось поговорить с Алексеем Максимовичем Горьким, но он тяжело был болен. А 18 июня 1936 года великий писатель умер... Тысячи людей прощались в Колонном зале Дома Союзов. Менялись караулы и вместе с другими писателями стоял Александр Фадеев. Потом он написал Николаю Островскому: «Как это часто бывает, истинные размеры этого человека стали видны после его смерти. И только сейчас я понял полностью, что это ушел целый кусок мира». Фадеев в этом же письме по-товарищески высказал и другие замечания: «В романе «Как закалялась сталь» главным образом ты смог показать правдиво выраженный главный образ героя – Павки Корчагина».

Александр Александрович возлагал большие надежды на другой роман Островского «Рожденные бурей». Одно название стало сутью

произведений: когда закаляют сталь, то она становится только прочнее, а название «Рожденные бурей» показывала пассионарность комсомольской молодежи.

Вскоре состоялось заседание президиума, но не в комнате Островского, где он лежал недвижим, а в светлой и большой столовой, где кровать стояла у стены. Все, кто приходил подходили к Николаю и пожимали ему руку, а потом рассаживались вокруг него на стульях и на большом диване. За маленьким столиком сидели Серафимович, Фадеев, Ставиский и секретари ЦК ВЛКСМ. Повисло молчание, и Островский сказал: «Предлагаю вам открыть артиллерийский огонь критики по моей рукописи. Я знаю, что он будет для меня не губительным, а животворным. Тогда мои творческие силы и желания окрепнут, и я смогу завершить печатное слово и дело». В течении нескольких месяцев Николай подготовил рукопись свою к изданию и вышла книга «Рожденные бурей». Но прогрессирующая болезнь сотворила свое злое дело и 22 декабря 1936 года Островский умер. 26 декабря 1936 года Александр Фадеев открыл митинг на Новодевичьем кладбище. А герои романов Николая Островского и до сих пор несут черты нового общества: волю и трудолюбие, скромность и чувство собственного достоинства, бесстрашие и холодный ум в момент опасности. И это заслуга Островского как художника слова.

Я подвел итог размышлениям писателя Александра Фадеева. Но Нина решила продолжить повествование о нем и стала говорить:

– В середине тридцатых годов стало ощущаться дыхание приближающейся войны. Фашистская Италия напала на Эфиопию, а летом 1936 года вспыхнул фашистский мятеж и началась война в Испании. Советские люди и все прогрессивное человечество были на стороне испанского народа. Призыв «Но пасса ран!» – «они не пройдут!» звучал во многих странах. Выступил и Фадеев со своим возмущением: «Вы хотите знать, что такое фашизм, его подлинное лицо? Спросите об этом сони и тысячи граждан, трудящихся Испании, томящихся в застенках городов и сел. Пусть взвесь мир знает, что фашизм – этой война! И угроза любому демократическому порядку. Фашизм – это порабощение слабых наций, фашизм – это гибель культуры и возрождение инквизиции.» И эту речь произнес Александр Фадеев в Москве на Красной площади в

августе 1936 года. А год спустя Фадеев встретился лицом к лицу с фашизмом на многострадальной испанской земле.

Так получилось, что очередной Второй конгресс Международной ассоциации писателей для защиты культуры должен был проходить в Испании в июле 1937 года. В ее состав входили Кольцов, Толстой, Фадеев, Ставский, Вишневецкий, Барто, Микитенко, Финк и Эринбург. Из Парижа поезд доставил делегацию на границу с Испанией, к подножию Пиренеев. И в этой горе был проложен длинный и узкий тоннель. И фадеев увидел, что из него выполз поезд, похожий на старую понку вагончиков без стен и крыши. Делегация села на этот «тарантас», а поезд юркнул обратно в дыру тоннеля и оказался на другой стороне Пиренеев на станции Порт-Буконин. На вокзале было пустынно, стекла в нем были выбиты, а в конце перрона стоял одиноко парень в кепке и с винтовкой в руке.

Эта картина похожа на наш восемнадцатый год в России – подумал Фадеев. Но эта встреча происходила в Испании, опустошенной гражданской войной. Но делегатов России доставили в Барселону. И в это время налетели фашистские бомбардировщики. После другой воздушной тревоги делегаты двинулись дальше и встретились с делегатами 23 стран. Провели заседание и пережили опять полет, теперь итальянских бомбардировщиков и выехали в Мадрид.

Вот как говорил там Фадеев: «Героический Мадрид под обстрелом.» Писатели, книги которых знает и читает весь мир, заседают вместе с бойцами не успевшими стряхнуть пыль со своих одежд. На трибунах мелькают лица испанской молодежи. Гремят аплодисменты, они с удовольствием смотрят фильмы «Чапаев», «Мы из Кронштадта». Многие испанцы читали книгу Фадеева и выражают ему свои симпатии. Но встреча с Долорес Ибаррури поразила всех. В зал внесли знамена, отнятые в боях с фашистами. И женщина в черной одежде с глубокими и скорбными глазами благодарила писателей России за помощь советского народа.

И тут вмешался я, сказав:

– Нина, встреча нашей делегации в Мадриде с Долорес Ибаррури очень взволновала меня. И я, с твоего позволения, продолжу рассказ.

Нина не возражала, и я стал говорить:



– Конгрессу писателей пришлось провести последнее заседание во Франции в Париже. В Мадриде оставаться было уже опасно, а во Франции проходила Всемирная выставка. Но огромное впечатление произвела на Фадеева встреча в Париже с великим французским писателем Ременом Романом. Он был худощавым, огромного роста, слегка сутуловатым, с ясными, умными и добрыми глазами, глядящими из-под нависших бровей. Он встретил нас на пороге своего дома и произвел неотразимое впечатление. Светлое обаяние и моральная сила исходила от него.

Париж подарил Фадееву еще одно событие. Он встретился там с Ангелиной Иосифовной Степановой, артисткой Московского художественного театра и влюбился в нее. Приехав в Москву, они поженились. И он, окрыленный, стал редактировать журнал «Красная Новь» и принимал участие в издании «Литературной газеты». А международная обстановка накалялась. Фашизм перекочевал из Испании и Эфиопии в восточную Европу. Гитлеровская Германия проглотила Австрию, а над Чехословакией также нависла угроза порабощения. А захватив ее они пойдут и на Советский Союз.

В 1935 году Фадеев приезжал в Чехословакию и ему понравилась братская славянская страна и ее народ. В Чехословакии он встретил немало бывших легионеров, которых империалисты Антанты бросили в 1918 году на войну с Советской властью на Дальнем Востоке. И хорошо знали русский язык. Тогда они сражались на разных сторонах баррикад. А теперь они говорили: «Это была историческая ошибка. Когда мы покидали Россию, мы были уже другими людьми. А сейчас самые большие друзья вашей страны.»

Сюрпризом для Фадеева стала встреча со своим преподавателем гимнастики Иваном Ивановичем Мойжинь, по национальности чехом. А Фадеев говорил про братский народ: «Вращаясь в этом кипении народа, я гордился тем, что – русский! В те дни двери каждого сельского домика открывались передо мной.» И они пригласили Фадеева на национальный праздник великого чешского патриота Яна Гуса, сожженного реакционерами. Когда Фадеев сел в поезд в Праге, то грянули песни, да какие: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с бою взять Приморье – белой армии оплот». А потом песня о Родине, а напоследок у него даже мурашки побежали по телу: «Если завтра война...»

Тут-то Нина и подхватила мою тему: «Если завтра в поход!»

– Все, Володя, я продолжу нашу тему.

И она стала говорить:

– В конце 1938 года Фадеев и писатель Никулин совместно работали над сценарием кинофильма «Перекоп» о разгроме врангелевских войск. Главным героем этого фильма был Михаил Васильевич Фрунзе. Он руководил штурмом Перекопа и киносценарий был опубликован в 1940 году.

Анна Караваяева вспоминала: «К нему можно было прийти в дни горя, неудачи, сомнения в своих силах и недовольства собой, получить как разумнее поступить в сложившейся ситуации». «Да, он не был кабинетным человеком, - писал про него Марк Колосов – меня привлекало в нем чувство глубокого уважения к человеческому достоинству».

У Фадеева же всплывали в этом 1940 году воспоминания о местах его героев Петра Суркова, Алексея Чуркина и семени Кудрявого. Они мечтали о будущем и открывающимися возможностями решения атомной энергии и даже организации межпланетных перелетов. И Фадеев привел несколько примеров этих мечтателей. Алексей Чуркин сказал: «Старому строю многое недоступно. Возьми к примеру уголь. Сколько человеческого труда кладется, чтобы его из-под земли достать? А ведь его можно под землей жечь, а энергию использовать». «Сказки... – отвечает Петр Сурков.

– Сегодня сказки, а завтра уже живое дело, да и сказки пойдут новые. Каким путем нам до других планет добрать?

А Алеша добавил: «А темную энергию надо использовать, силица-то какая! Об этом даже подумать страшно. А ведь когда-нибудь атомная энергия будет использоваться».

Но роман Фадеева «Последний из удега» не был закончен. В теплое солнечное утро 22 июня 1941 года Киев бомбили, нам объявили, что началась война.

Фадеев выступал на митинге в Москве: «От нас требуется величайшая организованность, хладнокровие и дисциплина. Наглый враг преступно разрушил мирный договор без объявления войны и напал на мирные города. Но мы знаем силу советского народа и не сомневаемся, что победа будет за нами».

А писатели надели военную форму и вступили в действующую армию. У них было свое особое оружие. Алексей Сурков написал песню: «Вьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола как

слеза. И поет мне в замене гармонь про улыбку твою и глаза. До тебя мне дойти нелегко: между нами снега и снега... Ты теперь от меня далеко, а до смерти четыре шага».

А Василий Лебедев-Кумач написал: «Пусть ярость благородная вскипает как волна. Идет война народная, священная война!» И с этими песнями шли красноармейцы в бой. А писатели воевали с врагом своим хлестким словом. Слова иногда бывали сильнее пули или снаряда. Но и писатели не отсиживались в землянках и окопах. Двести семьдесят пять писателей пали смертью храбрых в боях за Родину. В конце августа 1941 года Александр Фадеев вместе с Михаилом Шолоховым и Евгением Петровым, который вместе с Ильей Ильфом написали два романа про проходимца Остапа Бендера под названием «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» поехали на западный фронт. И на фронте Фадеев встретился с боевым товарищем, генералом армии Иваном Степановичем Коневым, с которым он дружил на Дальнем Востоке.

Фадеев привез с фронта два очерка «Штурм немецкой обороны» и «Артиллерийская подготовка». Их опубликовали в газете «Правда». Но фронт приближался к Москве. Немецкие генералы в бинокль уже видели Кремль. Они уже хвастались, что блиц-криг осуществится. И в годовщину 7 ноября Гитлер собирался провести парад на Красной площади. А провел-то этот парад не Гитлер, а Сталин.

В январе 1942 года Фадеев, как корреспондент «Правды» был выслан на фронт под Ржевом. Его стали отговаривать, мол можно попасть под бомбежку, а он ответил, обезоружив своих начальников: «А вы полагаете, что бомбы падающие на Москву, приятнее?» Он считал, что, не побыв на фронте, не может писать о боях на передовой. И вот несколько фраз: «Неуютное местечко. С утра до вечера в беленом январском небе, будто прицелившись к нему, висят двух фузеляжные немецкие корректировщики, именуемые по-солдатски «фриц с оглоблями» или «очки». Стоит машине выбраться на дорогу, как неприятельские артиллеристы тотчас же кладут сзади и спереди аккуратнейшую вилку со своим прославленным педантизмом и начинают ее сужать. тут уж бросай все. Тут все бросай и закапывайся в снег.

Фадееву не сидится, ходит только по лесу, но и весь лес посечен осколками. В эти дни в штаб доставлен пленный фашист.

При обыске у него под мундиром обнаружена брезентовая лента, обмотанная вокруг тела со множеством карманчиков, в которых он прятал награбленную в других странах валюту: золотые монеты, коронки, сорванные с зубов его жертв и золотые сережки, вырванные из ушей фашистом своих жертв. Этот рыжий эссесоровец, грязный и промокший потом вызвал у Фадеева омерзение. Но он отложился в памяти писателя и был использован как персонаж - Петер Фенбонг.

Я не мог оторваться от разговора Нины, а она вдруг поняла, что увлеклась и сказала мне:

– Все, все я окончила рассказ и передаю эстафетную палочку тебе.

И я стал говорить:

– В апреле 1942 года Фадеев вместе с поэтом Николаем Тихоновым вылетели в Ленинград. Фадеев с трепетом вспоминал его: «Ленинград! Каким я его увижу?» С аэродрома в город ехали на грузовике. Дул холодный, пронизывающий ветер, доносившиеся раскаты артиллерийских орудий. А набережные, каналы, громада Исакия, Адмиралтейство и Петропавловская крепость. Это все дорого сердцу. Они поехали на квартиру Тихонова. В ней было холодно и темно. Стекла вылетели от разрывов снарядов и заменены фанерой. Зажгли самодельные коптилки и затопили печку-буржуйку. Жена поэта Мария Константиновна рассказала об ужасах блокады: «Из нормальных здоровых людей прежде всего умирали, кто был слаб характером, кто морально опускался и утрачивал волю к труду и слишком много обращал внимания только на свой желудок. Я видела, если человек перестает мыть шею и уши, перестает ходить на работу и с разу съедает свой паек, лежа под одеялом – это нежилец на этом белом свете. Но мы, русские люди, трехжильные. О ленинградцах можно сказать одно – оно выжили на зло врагу».

Утром Фадеев прошелся по городу и увидел следы разрушений, но на улицах и площадях было чисто. Пережили ленинградцы самое страшное – холодную и голодную зиму 1941-1942 года. Про проложенную прямо по льду Ладожского озера Дорогу жизни Фадеев писали: «В памяти человечества навеки сохранится прекрасный и величественный облик женщины-матери, как символ великой и бессмертной всечеловеческой любви, которой придет

время. Будет господствовать над всем миром».

А когда в концертном зале исполнялась седьмая симфония Шостаковича, созданная им в самые тяжёлые месяцы блокады, достать билет было почти невозможно. Зато девчонки и мальчишки блокадного Ленинграда потушили тысячи зажигалок, сброшенных фашистами с самолетов. Они потушили не один пожар в городе, носили воду из проруби по Неве и стояли в очередях за хлебом. И все-таки самый великий подвиг школьников Ленинграда, что они учились. Но ведь были у учеников и учителя. И они стоили один другого – ученики и учителя. В декабре 1942 года Фадеев выехал на Центральный фронт и как раз в 1942-1943 годах началось наше зимнее наступление под Сталинградом и окружение немецко-фашистских войск. Побывал Фадеев и в авиасоединении Героя Советского Союза Байдукова и в «Правде» напечатали очерк Александра Александровича «Летный день». День был не летний, а именно лётный. И эти летчики и перебросили писателя на Калининский фронт под Великие Луки. Именно там пролегал кровавой бороздой рубеж войны. Битва за старинный русский город Великие Луки была тяжелой, освобождали дом за домом, улицу за улицей.

Военных корреспондентов, в том числе и Фадеева, разместили в здании школы. тут же ютилась старая учительница и несколько семей с малыми детьми. По инициативе Фадеева решили организовать елку для детворы. Собрали у корреспондентов всю снедь, а для украшения ее в ход пошли бритвенные лезвия, стаканчики для бритья, пробки от одеколонных пузырьков, форменные пуговицы и вата из индивидуальных пакетов. даже Деда Мороза соорудили из шапок-ушанок. Началось веселье, а Фадеев плясал вместе со всеми.

Он возвратился в Москву. Фашистам нанесли удар под Ленинградом, а после освобождения Орла и Белгорода в Москве прозвучал первый праздничный салют. А летом 1943 года Центральный Комитет ВЛКСМ передал писателю три тома материалов и документов, собранных комиссией ЦК в освобожденном Краснодоне. И Фадееву предложили написать книгу о подпольной организации «Молодая гвардия».

Когда я произнес слово «молодая гвардия», то Нина тут же сказала мне:

А вот с этого момента буду, Володя, рассказывать сама!  
Я не возражал, и она начала повествование:

– Прочитав три тома документов Фадеев понял, что эти три книги могли бы расплавить даже камень. И горячо взялся за работу. Ему вспомнилась юношеская мечта написать «книгу жизни». А эту книгу он уже держит в руках. 14 и 15 сентября 1943 года «Правда» опубликовала Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении посмертно звания Героя Советского Союза Олегу Кошевому, Ивану Земнову, Сергею Тюленину, Ульяне Громовой и Любове Шевцовой и о награждении Орденами Отечественной войны 35 членам «Молодой гвардии», Орденами Красной звезды 6 оставшимся в живых молодогвардейцам. В «Правде» было написано: «Пройдут годы, исчезнет с земли гитлеровская погань, будут залечены раны, утихнут боль и скорбь, но никогда не забудут советские люди бессмертный подвиг организаторов, руководителей и членов подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». К их могилам никогда не зарастет народная тропа.»

А Фадеев писал: «Во время страшных пыток молодогвардейцев озверевшие враги не смогли сломить их волю. Молодая гвардия не одиночное исключительное явление на территории, захваченной немецкими оккупантами. Везде и повсюду борется гордый советский человек. И хотя члены «Молодой гвардии» погибли – они бессмертны». Александр Александрович вылетел в Ростов и на попутке добрался до Краснодона. Он вышел на берег Каменки и задумчиво постоял у шурфа шахты № 5, склонив голову у могилы казненных героев в городском парке, заходил в скромные домики, в которых недавно еще жили молодогвардейцы. Он пробыл в Краснодоне около месяца и его уже все жители Краснодона знали в лицо. Поэтому приносили ему реликвии, уцелевшие в буре войны: фотографии погибших, их школьные тетради и дневники. Образы будущих героев стали оживать в его сознании. Почти два года работал над романом в дачном поселке Переделкино под Москвой. он хотел встретиться с молодогвардейцем, который остался в живых, Иваном Туркевичем, но он находился в действующей армии. С болью в сердце Фадеев узнал, что Туркевич погиб в боях за Вислу в Польше. Как в песне: «В боях за Вислой сонной, лежат в земле сырой, Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой».

А Фадеев более двух лет работал над романом. Потом он сказала: «Многие страницы романа «Молодая гвардия» написаны кровью моего сердца». Не в силах сдержать своего волнения Александр Александрович читал пометки на полях листов, собранных материалов. Вот запись Вали Борц о Любе Шевцовой: «Никогда не унывающая Люба получила в тюрьме передачу от своей мамы, поставила между ног корзину и стала извлекать из нее содержимое. Покачивая головой, смеялась и пела, но мотив известной песни немного переиначивала слова: «Люба, Любушка, Любушка-голубушка. Я тебя не в силах прокормить.» Полицаяу, который принес корзинку, она крикнула вслед: «Скажите моей маме, чтобы она побольше передавала мне борща». Прочитав эту фразу Фадеев пометил на полях: «Милая! Прелесть моя!»

А мама Фадеева жила в это время в Переделкино, а потом рассказала, что не раз слышала через дверь кабинета сына его глухие рыдания. А писатель Федин написал, прочитав «Молодую гвардию»: «Я не помню в истории литературы, чтобы романист шел в такой близости за действительными событиями». Михаил Шолохов тоже отметил мастерство Фадеева: «Пожалуй, никто из нас-прозаиков не обладает чудесной особенностью глубоко и взволнованно писать о молодежи. У Фадеева в «Молодой гвардии» в полную меру раскрылась черта его огромного таланта». А сам Фадеев не считал роман законченным: «Для меня это еще не остывший кусок металла, до которого нельзя дотронуться рукой. Многое я еще не вижу. Мне нужно еще некоторое время для осмысления, чтобы объективным глазом посмотреть на все прошедшие события. Через несколько лет некоторые вещи мне придется постепенно поправлять, дополнять и вычеркивать». Так и получилось. После окончания Великой Отечественной войны Фадеев, учитывая критические замечания, возвратился к работе над романом. он дописал семь глав заново и дополнил еще двадцать пять глав. В новой редакции роман вышел из печати в 1951 году.

Нина, волнуясь, остановила чтение, а я, поняв ее с полуслова продолжил повествование:

– Среди списка героев «Молодой гвардии» отсутствует один из ее организаторов – Виктор Третьякович. Теперь известно, что в 1943 году враги очернили отважного комсомольца. Только в 1959 году

на одном из судебных процессов над фашистскими пособниками было установлено, что Виктор Третьякович был оклеветан врагами из-за ненависти к нему, за его стойкость и преданность Родине. Третьякович был посмертно награжден Орденом Отечественной войны 1 степени. Когда открылась правда о мужественном комсомольце, Фадеева уже не было в живых. Но роман-то «Молодая гвардия» никогда не уйдет в небытие. Он выстроен Фадеевым по принципу антитезы: прекрасному, светлому миру социализма, которому противостоит мир злой и черной ненависти – мир фашизма. Галерея образов весьма разнообразна: от фашистских генералов Венцена и Кляра, до эсэсовца Фенбонга, который был тупой и грязной скотиной и кровавым палачом. И эта скотина имела свое мнение: «Придет время, и я тоже вымоюсь и буду вполне опрятным человеком. Стану обыкновенным промышленником или торговцем. И вы станете покупать у меня для своего столового стола вполне доброкачественные сосиски».

Послевоенная жизнь подтвердила правильность прогноза данного Фадеевым. Десятки тысяч уцелевших фенбонгов, нашли приют и убежище в Западной Германии и в других капиталистических странах. Стали бизнесменами и «почетными джентльменами».

Фадеев еще хлеще заявляет: «Эта язва людоедства более страшна, чем чума. она будет разъедать мир до тех пор, пока в их руках будет неограниченная власть над людьми и все богатства мира.»

Александр Александрович был близок по духу с Юлиусом Фучиком, который в книге «Репортаж с петлей на шее» сказал: «Люди, я любил вас, будьте бдительны!»

Фадеев не скрывал, что и в нашей среде нашлись подлые люди, перешедшие на службу фашистам и он выносит приговор этим отщепенцам.

У Фадеева были большие творческие планы, но он не смог их реализовать. Тяжелая болезнь прогрессировала и отрывала его от работы. Месяцами заставляла лежать в больнице, лечиться в санаториях. Время шло и уходило здоровье и силы. «Сердце уже подкачало, да и печень стала хандрить – говорил писатель друзьям. – А в этом году приобрел неизлечимую болезнь – полиневрит, болезнь нервных окончаний, ударившая меня по ногам и рукам. Но она мне мешает не только жить, а надолго вы-



рывает меня из работы. Мне приходится с утроенной силой на-верстывать упущенное время, латать дыры и вновь заворачивать дела. В итоге и получился такой безвыходный круг.

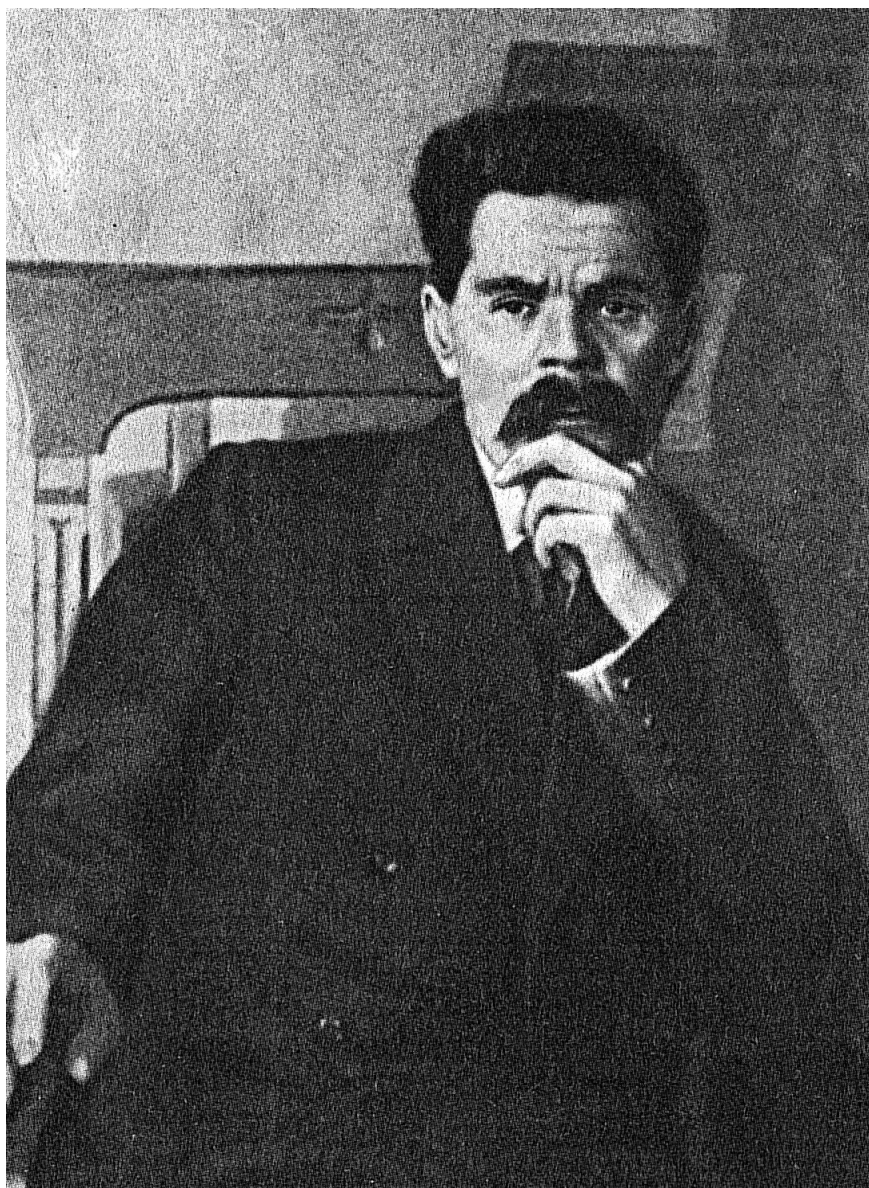
В 1953 году он не может из-за болезни участвовать в работе XX съезда КПСС и его освобождают от обязанностей первого секретаря Президиума правления Союза писателей СССР. Ударом для не была и смерть матери 8 марта 1954 года. Его болезнь друзья восприняли как несчастье. Маргарита Шагинян пишет: «Дорогой мой друг, Саша! Не болей!» Вторит ей Исаковский: «Узнал, что ты в больнице. Я огорчен и переживаю за тебя. держись – ты дорог стране». Передал записку и Маршак: «У тебя столько искренних друзей – неизвестных и известных! И все они от души радуются, что ты родился на белый свет и существуешь».

Фадеев ценит литературу и пишет: «Советская литература вслед за великим Горьким утверждает: «Человек – это звучит гордо!»

Жизнь Фадеева оборвалась 13 мая 1956 года. это была тяжелая утрата для литературы, для народа и для всего мира. 16 мая 1956 года после полудня печальная процессия двинулась к Новодевичьему кладбищу – к месту выдающихся русских и советских писателей. Десятки тысяч людей провожали Фадеева в последний путь

Идут года, а память о нем живет..





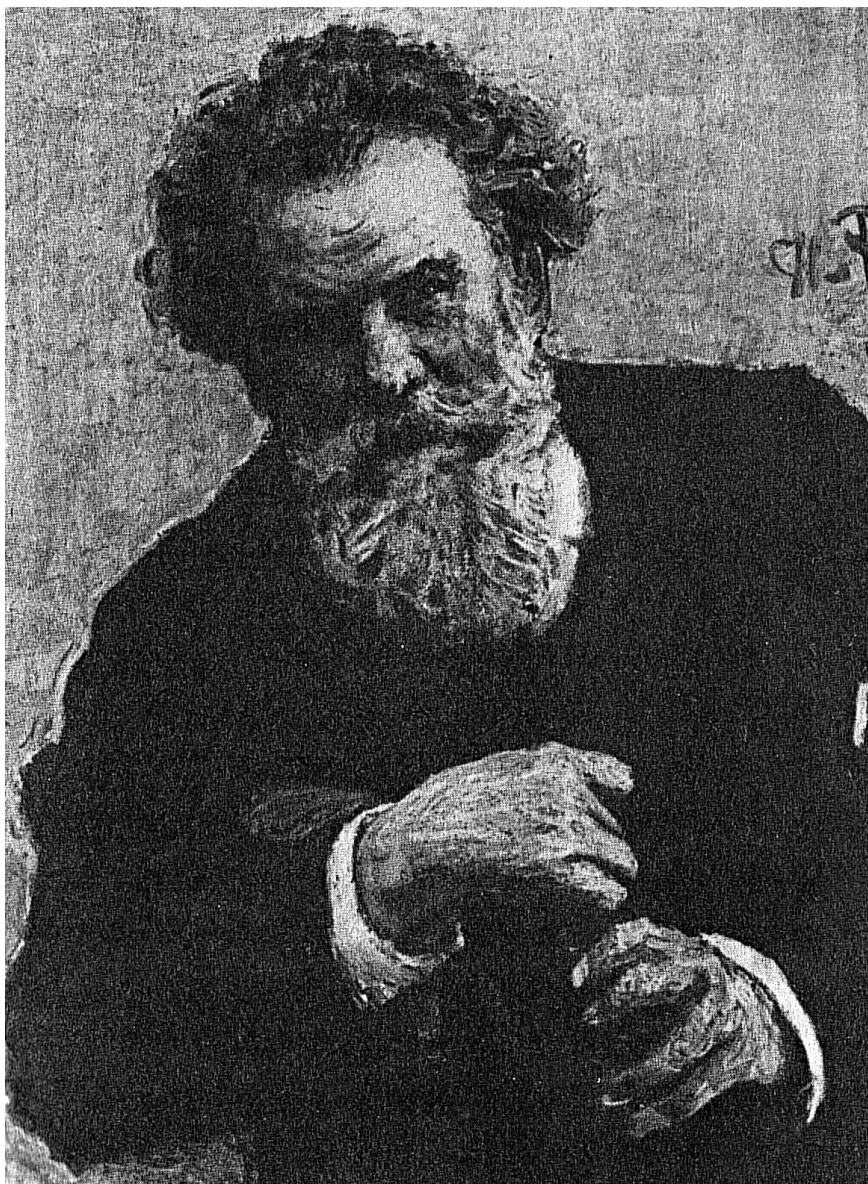
Максим Горький





А.П. Чехов





В.Г. Короленко  
Портрет работы И.Е. Репина





Леонид Андреев





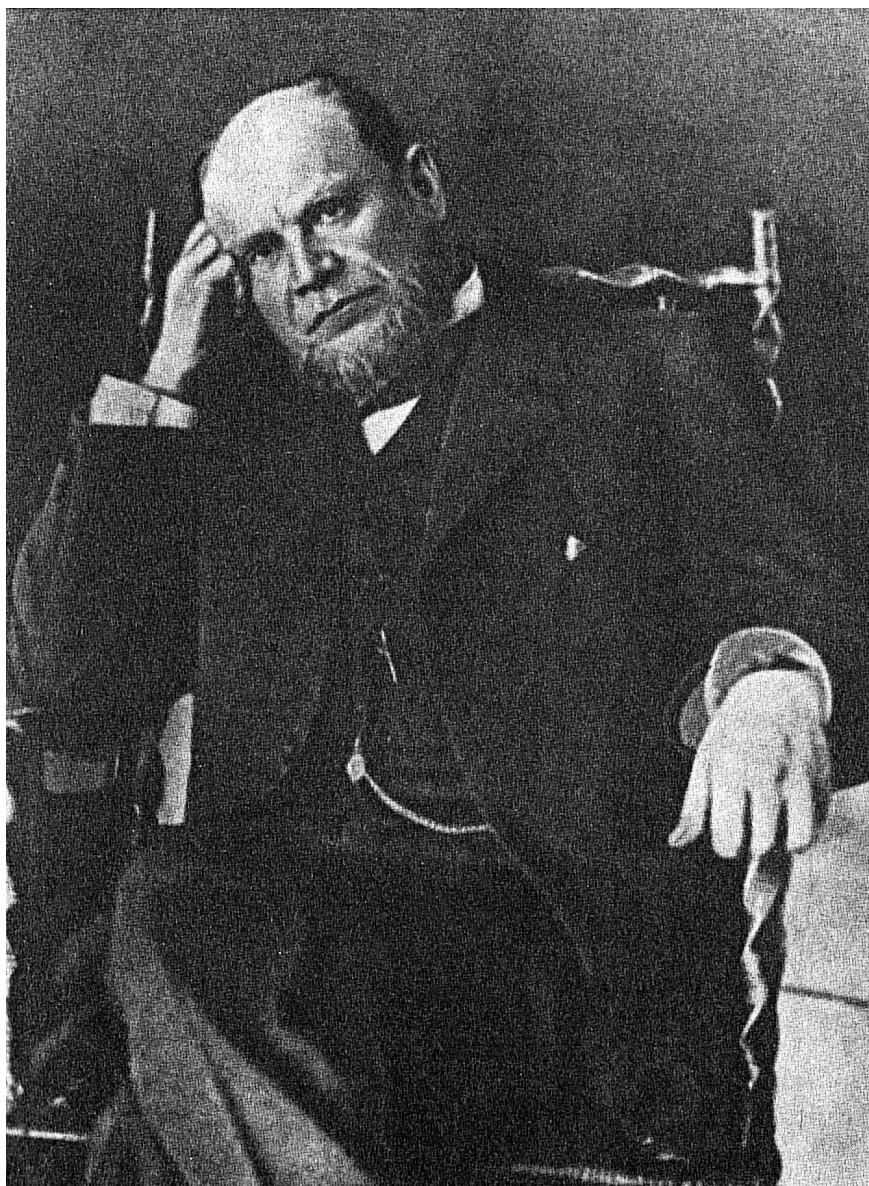
Л.Н. Андреев на моторной яхте  
Рядом Н.И.Кульбин и К.И. Чуковский





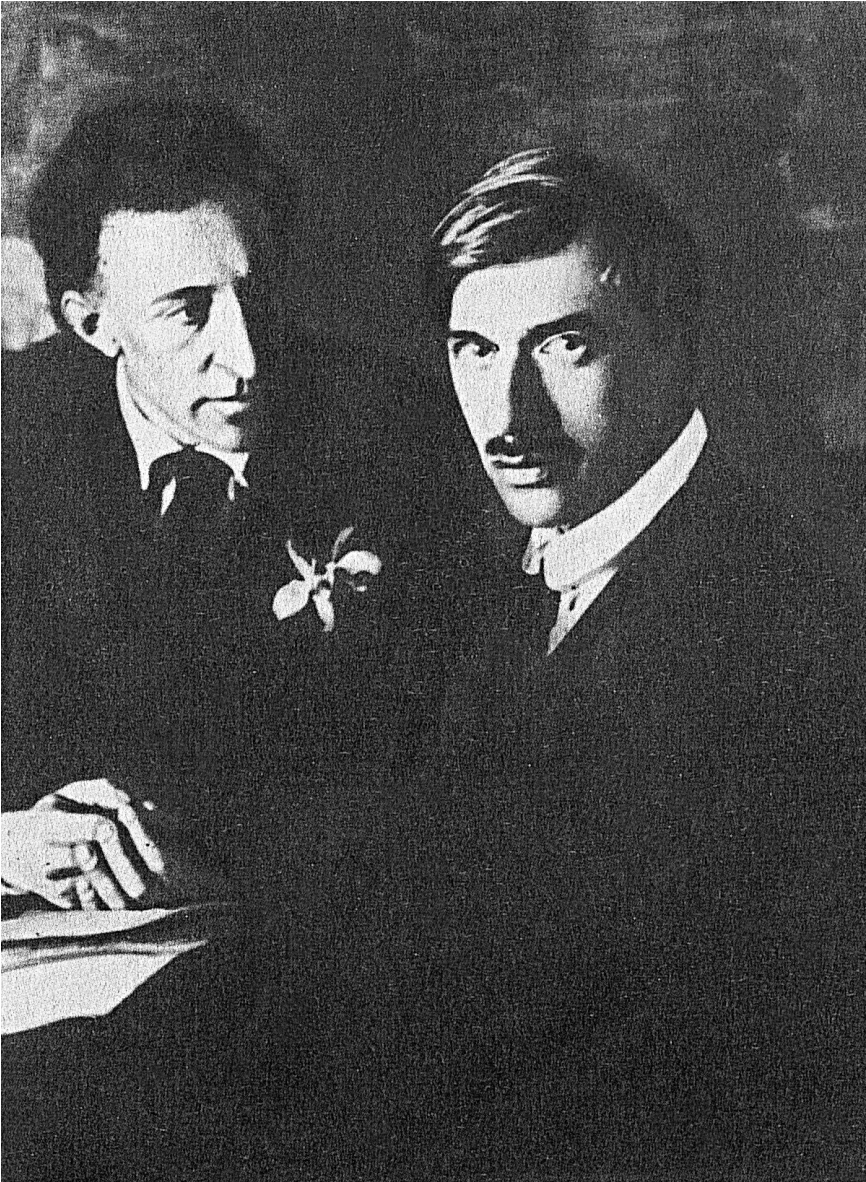
Ф.И. Шаляпин и А.И. Куприн





А.Ф. Кони





А. Блок и К. Чуковский  
Фото М. Напельбаума





Анна Ахматова

На обороте фото дарственная надпись:  
«Корнею Ивановичу Чуковскому в его День Анна Ахматова  
(это я читаю в 1946 году) 2 апреля 1964 г. Москва».



Владимир Маяковский и Корней Чуковский с сыном Борисом  
в Куоккале (1915)





Владимир Маяковский в группе писателей



А.Н. Толстой





Саша Черный





А.В. Луначарский





Л.В. Собинов





Л,М. КВИТКО



Ю.Н. Тынянов





М.М. Зоценко





А.С. Макаренко





И.Е. Репин





И.Е. Репин в студии



Б.С. ЖИТКОВ

## Содержание

Глава: Одесситы и одноклассники-однолетки...	3
Предисловие .....	3
Глава: От Алексея Пешкова до Максима Горького .....	17
Глава: Антоша Чехонте и великий Чехов .....	30
Глава: Умелый рассказчик Владимир Короленко в кругу друзей .....	39
Глава: Леонид Андреев .....	49
Глава: Куприн .....	56
Глава: Гарин .....	68
Глава: Ф.А.Кони .....	73
Глава: Александр Блок .....	80
Глава: Анна Ахматова .....	93
Глава: Маяковский .....	102
Глава: Алексей Толстой .....	111
Глава: Саша черный .....	118
Глава: Луначарский .....	124
Глава: Собинов .....	130
Глава: Квитко .....	135
Глава: Юрий Тынянов .....	141
Глава: Зощенко .....	147
Глава: Макаренко .....	162
Глава: Илья Репин .....	168
Глава: Сергей Есенин .....	189
Глава: Александр Фадеев .....	202

*Отпечатано в авторской редакции с готового оригинал-макета заказчика*

Подписано в печать 10.06.2021 г.

Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать цифровая. Заказ №861.

Уч.-изд. л. 15,87. Печ. л. 15,87. Тираж 25 экз.

ТИПОГРАФИЯ ООО «ГАЛАНИКА»

г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 15.

Тел.: (812) 670-56-88, [galanika@list.ru](mailto:galanika@list.ru), [www.galanika.com](http://www.galanika.com)